

ГОЛОСА СИБИРИ

Выпуск пятый



Кемерово
Кузбассвузиздат
2007

ББК 84-44
Г61

Издание подготовлено при участии:

Омского регионального отделения Союза российских писателей, Кемеровского регионального представительства Союза российских писателей, Румынского общества Ф.М. Достоевского (Бухарест), Государственного мемориального и природного заповедника «Музей-усадьба Л.Н. Толстого в Ясной Поляне», Института литературы и искусства им. М.О. Ауэзова (Алматы), Новосибирского государственного университета, Бухарестского университета (Румыния), Крайовского университета (Румыния), Ясского университета (Румыния), Белорусского государственного педагогического университета (Минск), Университета «Ла Сапьенца» (Рим), Сектора истории социально-политического развития Института истории Сибирского отделения Российской академии наук, кафедры истории и психологии Кемеровской государственной медицинской академии, Российского издания из Кузбасса «Наша газета», Кемеровского областного отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры, Румынского общественного фонда культуры «Восток-Запад», кемеровского регионального общественного фонда «Исторические исследования», Кузбасского регионального отделения Союза правых сил

Составители:

Мэри Кушникова (Кемерово), Вячеслав Тогулев (Кемерово)

Редакционная коллегия номера:

Эльвира Абрамова (Ясная Поляна), Светлана Ананьева (Казахстан), Виктор Вайнерман (Омск), Светлана Василенко (Москва), Сеит Каскабасов (Казахстан), Виктория Кинг (США), Александр Лейфер (Омск), Елена Логиновская (Румыния), Мирослава Метляева (Молдова), Сергей Папков (Новосибирск), Дмитрий Шагиахметов (Кемерово)

Адрес альманаха в сети Интернет: <http://www.golosasibiri.narod.ru>

Г61 **Голоса Сибири:** литературный альманах. - Вып. пятый. - Кемерово: Кузбассвузиздат, 2007. - 1246 с. с илл.

Выход пятого выпуска литературного альманаха «Голоса Сибири» приурочен к 150-летию венчания Ф.М. Достоевского в Сибири.

ISBN

© Коллектив авторов. 2006
© Брагин А.В. - компьютерная верстка. 2007
© Издательство «Кузбассвузиздат». 2007

Слово к читателю



Глубокоуважаемому Сергею Николаевичу Прокопьеву посвящают составители эту книгу, с благодарностью за многолетнюю поддержку литераторов и за постоянный бесценный вклад в культуру Сибири.

Открывающее этот номер интервью с первым секретарем Союза российских писателей как нельзя лучше объясняет, почему два года назад мы приступили к нашему скромному, малоизвестному даже в Сибири, литературному проекту. Касаясь обстоятельств появления Союза российских писателей, отпочковавшегося в 1991 году от Союза писателей СССР, *Светлана Василенко* пишет: «Секретариат Союза писателей СССР поддержал ГКЧП, писателей во многих городах России это возмутило, они создавали свои самостоятельные писательские организации, и сначала это происходило стихийно... пока не вылилось в учредительный съезд Союза российских писателей... Просто эту советскую проржавевшую плотину прорвало: река нашла своё естественное русло и потекла и течёт до сих пор».

Всё так! С небольшим уточнением: перемены произошли, в основном, в столицах, крупных «продвинутых» городах, в забытых же уголках Сибири, в глубокой провинции (в Кузбассе, где первое упоминание о Союзе российских писателей в главной областной газете вообще появилось только в 2006 году!) «проржавевшая плотина» (признаемся честно!) как стояла, так и стоит. Естественный путь для литераторов таких неблагополучных «медвежьих» мест – выходить за рамки региона, строить свои издания на принципах диалога, поисках сомыслия и сомыслящих в других областях и даже странах, расширять культурную и «национальную» составляющую.

В каждом слове бездна пространства, каждое слово необъятно...

Николай Гоголь



Вот почему, получив приглашение представлять в Бухаресте на VIII международном симпозиуме «Европейская цивилизация: единство – своеобразие – открытость», «Голоса Сибири» в октябре 2006г. приняли участие в его работе. Завязались контакты по линии *Румынского общества Ф.М. Достоевского* (вспомним: в Омске великий писатель отбывал каторгу, а в 2007г. отмечается 150-летний юбилей со дня его венчания в Кузнецке; в нашем альманахе рубрика, посвященная *Достоевскому*, продолжается из номера в номер).

«Голоса Сибири» в Бухаресте представляла обаятельнейшая *Виктория Кинг*. Она «навела» нас на переводы румынских авторов. Сибиряки, кстати, о многих уже слышаны. Скоропостижно скончавшийся несколько месяцев назад замечательный иркутский писатель *Анатолий Кобенков* (председатель тамошнего отделения СРП) в октябре 2004г. делился в «*Восточно-Сибирской Правде*» впечатлениями о встрече в Бухаресте с поэтом-авангардистом *Мирчей Динеску*, которому мы отводим немало страниц этого выпуска: «Самый громкий из румынских поэтов минувшего столетия – *Мирча Динеску*. Во время правления страшного *Чаушеску* он был самым шумным из диссидентствующих, в дни революции – первым бунтовщиком. После расстрела *Чаушеску* Мирчу посадили под домашний арест – в течение десяти месяцев он не имел права удаляться от дома более чем на пятьдесят метров; Лена (это *Елена Васильевна Логиновская*, член редколлегии «ГС», – авт.) бегала к нему через шпицрутены охраны, забирала у него только что им написанное – передавала на Запад...».

«*Парламентская газета*» добавляет ещё несколько штрихов: «Поэт диссидент *Мирча Динеску*, который въехал на бронетранспортере и “захватил” вместе с большой группой демонстрантов здание телевидения, до последнего момента сидел под домашним арестом.



Помимо непосредственной “охраны” напротив его дома, рассказал он, на улице находилась еще одна машина “секуритате”, экипаж которой тоже контролировал поэта, а также следил за своими же сотрудниками».

Сегодня *Мирча Динеску* по-прежнему – в самой гуще российско-румынских литературных связей. Недавно канал «Культура», например, сообщал о презентации в Румынии книги *Евгения Евтушенко* «Поздний мед», в творческом вечере принимал участие и *Мирча Динеску*, сотрудничество с ним для «Голосов Сибири» – большая честь.

Иркутянин *Анатолий Кобенков* вспоминал также о том, как познакомился с видным писателем и приметным общественным деятелем румынской русскоязычной диаспоры *Никитой Даниловым*, сегодня мы ему посвящаем особую юбилейную рубрику: «*Никита Данилов* красив и мудр: с окладистой бородой, широкий в кости, с голубыми глазами, он именно таков, каким и должен быть упрямый носитель негаснущих упрямств великого *Аввакума*» (кстати: новые сведения о «сибирском» *Аввакуме* см. материал *Татьяны Таяновой* из Магнитогорска).

В рамках симпозиума был проведен микрокинофестиваль. Все находились под впечатлением от фильма «*Капустин Яр*» (сценарий *Светланы Василенко*). «Он не навязывает зрителю новомодные “русские идеи”, – пишет *Виктория Кинг*, – а правдиво рассказывает о постсоветском “межвременье”. Ещё колеблются тени былого величия державы в Капустином Яре, местечке, где была запущена первая космическая ракета. Убогий, слабоумный мальчик тащит кусок металлолома через поле, через осень, как символ – всё в этом мире проходит. И через черно-белые кадры прорывается иногда цвет: когда запускается новая ракета, или ещё в сцене с застольем старух, вспоминающих прошлое. Таков он, всегдашний “выбор” народа: нищие, зато с ракетами и бомбами!» (см. наст. изд., с.665-666).

Отрадно, что к нашему «сибирскому» проекту проявляют интерес и писатели Молдовы (один из авторов «ГС», драматург *Дмитрий Круду*, получил там недавно премию фонда *Сороса*), а также литературоведы Казахстана, о чём свидетельствует приведённый ниже доклад ведущего научного сотрудника Института литературы и искусства им. М.О. Ауэзова *Светланы Ананьевой* на пятом международном евразийском форуме, по крайней мере наполовину посвящённый литературным связям Казахстана с Сибирью; сотрудничество с упомянутым Институтом, который возглавляет член нашей редколлегии, академик АН Казахстана, доктор филологических наук глубокоуважаемый *Сеит Аскаревич Каскабасов*, оказалось взаимноинтересным и многообещающим.

По-прежнему значительное место в альманахе уделено «великим старцам» – вниманию читателя представлены материалы, посвящённые экспозициям сибирских музеев *Достоевского*, равно и новые исследования известных достоевсковедов *Светланы Ананьевой* и *Корнелии Кырстя*. А в разработке темы «Лев Толстой и Сибирь» большую помощь нам оказали сотрудники государственного мемориального и природного заповедника «Музей-усадьба *Л.Н. Толстого* в Ясной Поляне», и, в частности, его главный хранитель *Элеонора Петровна Абрамова*, под её руководством подготовлена к печати рукопись воспоминаний одного из основателей толстовской коммуны под Новокузнецком, *Бориса Васильевича Мазурина*, равно и фотографии 1930-х годов, ставших для коммунаров трагическими.

Рок преследует и посмертную их биографию. Из очередной статьи корреспондента «Нашей газеты» *Марины Борисовой* читатель узнает, что в деле создания музея друзей и последователей *Л.Н. Толстого* в Сибири, как и следовало ожидать, за прошедшие полгода почти ничего не сдвинулось с места. Пока не занятые музейные площади в Новокузнецке имеются, но сказать «Да!» культурные власти не отваживаются. Говорят, что для

открытия музея, по инструкциям, нужно не меньше 4000 экспонатов.

Звучит, по крайней мере, странно. Уничтожив коммуны в 1930-е, расправившись с коммунарами, и, по сути, почти истребив вещественную и документальную среду, которая могла бы стать основой музея, власти сегодня требуют найти достаточное количество экспонатов, которые сама же семь десятилетий назад, а то и позже, на корню изничтожила (можно представить, сколько писем и рукописей полетело в огонь, чтобы не стать компроматом против товарищей по несчастью, сколько из них не сохранилось только потому, что своевременно не было проявлено интереса к «опасной» теме со стороны государственных архивов!).

Потомки коммунаров, регулярно собирающиеся на съезды в Новокузнецке, настроены, однако, решительно. Ведь речь может идти и об организации филиала городского музея – для этого не нужно иметь в наличии многие тысячи единиц хранения (впрочем, по оценкам нашего автора, *Бориса Гросбейна*, таковых уже собралось около 2000). В конце концов, доброхотные граждане согласны пожертвовать под музей даже один из частных домов!

Возможно, читатель отнесётся благосклонно и к другим публикациям нашего «исторического» блока, к рубрикам «Памятки истории», «Анатомия мифа», «К 130-летию полковника белой армии *Ивана Филипповича Левашова*», документальным эссе *Сергея Папкова* и *Алексея Теплякова*. Профессор *Иван Кузнецов*, как бы в продолжение наших предыдущих материалов («ГС» №№2 и 3), обращается к теме диссидентства в новосибирском Академгородке, а доктор наук *Леонид Лопатин* развенчивает миф о «самом лучшем в мире» советском образовании; приводим также текст одной из глав «Кузнецкой летописи» *Ивана Конюхова* (1867г.), посвящённой монахам *Зосиме* и *Василиску*, которые проживали под Кузнецком около четверти века, «в глухом лесу, в черне».

(Существует мнение, что упомянутый «сибирский» Зосима был прототипом одноимённого героя в «Братьях Карамазовых» Ф.М. Достоевского).

Повесть «О чём умолчал Иосиф Флавий», а также глава из книги Валериу Бабански «Понтий Пилат» (рубрика «Земля обетованная») кажутся тесно связанными с «Апокрифической повестью», опубликованной в №3, где главными действующими лицами выступают Иисус Христос, Иуда Искариот (от слова «сикарий», то есть «вне закона»), и, опять же, Понтий Пилат. Иуда, который в повести об Иосифе Флавии обозначен как «книжник» и «военноначальник» Кумранской общины, возмущён порабощением Иудеи римлянами и владычеством Понтия Пилата, и не согласен даже с самим Христом, носителем сверхидеи: объединения одухотворённости древнего Востока с милитаристской цивилизованной мощью Запада, то есть Рима, через силу Слова, а не силу оружия. Хотя – и оружия тоже: «Я принёс вам не мир, но меч».

Объединение Востока и Запада силой Слова и было тем чудом, которое олицетворял Христос, пришедший к этой идее. Она уже давно вдохновляла Романо-эллинический мир, но вряд ли кем была сформулирована так явно, ибо единственным политическим аргументом Рима являлось всё же подавление, а не слияние.

Проходят столетия, меняется мир, новые сведения вводит в оборот наука, и многие из них – сперва удивляют и даже возмущают апологетов устоявшихся знаний. И «триада» Христос – Понтий Пилат – Иуда Искариот, похоже, навсегда объединены в памяти человечества, как бы они ни были истолкованы...

Итак, наш альманах-диалог, альманах-перекрёсток, возникший благодаря усилиям Омской организации СРП, продолжает набирать обороты, «река нашла своё естественное русло, и потекла, и течёт до сих пор»...

Февраль 2007г.
г. Кемерово

**Из первых уст
(литературная гостиная
«Нашей газеты»)**



СОЮЗ СОВЕСТЛИВЫХ
(интервью со Светланой Василенко)

Нет пророка в своем Отечестве» – так говорят, когда сталкиваются с непониманием, вернее, с тотальным нежеланием понять и принять для общего блага нечто полезное. В то же время «Срочно требуется национальная идея!» – восклицают беспомощные правители.

А пророков спросить не пробовали? Они рядом: писатели – необыкновенно прозорливые, обладающие способностью приподняться над обыденностью, более того, смотрящие далеко вперед.

Писатель – это не профессия, да и законодательно она в России никак не закреплена. Писатель – категория нравственная. Ярко это проявлялось в разные исторические эпохи. Проявляется и теперь. Иначе никто бы не тянулся за Достоевским, Толстым, Ахматовой, Солженицыным. Никто бы не сверял себя и время с писателями, живущими рядом.

Светлана Василенко, современная нам писательница, первый секретарь Союза российских писателей, член жюри недавно завершившегося национального конкурса на лучшую книгу «Большая книга» отвечает на вопросы «Нашей газеты».

– Союз российских писателей отпочковался, как известно, в начале 90-х прошлого века от официального писательского Союза и существует до сих пор. Это удивительно, поскольку множество появившихся тогда альтернативных творческих организаций мало помалу исчезло. Почему, на Ваш взгляд, это произошло?

– Думаю, потому, что наш Союз был создан в 1991 году, «снизу», то есть, самими писателями, – естественно, – в отличие от Союза писателей СССР, который был создан в тридцатые годы искусственно, «сверху», для идеологического давления на писателей. Я помню, какая атмосфера

Будь хозяином своей воли и слугой своей совести.
Мария фон Эбнер-Эшенбах

царила в Союзе писателей СССР в конце восьмидесятых годов: в здание на улице Воровского, где сидели секретари, страшно было зайти, как будто ты заходишь не к своим же товарищам, таким же, как и ты писателям, а к недоступным чиновникам, бонзам. И в 91-ом, когда секретариат Союза писателей СССР поддержал ГКЧП, писателей во многих городах России, мысливших уже по-новому, демократически, это возмутило, они создавали свои самостоятельные писательские организации, и сначала это происходило стихийно, без всякого руководства этим процессом из центра (с августа до октября все это бурлило, пока не вылилось в учредительный съезд Союза российских писателей, состоявшийся в Москве). Просто эту советскую прожравевшую плотину прорвало: река нашла свое естественное русло и потекла и течет до сих пор.

– **Кто ушел в новый Союз вместе с Вами, кто пришел сегодня?**

– Прежде всего, это так называемые «шестидесятники», то есть писатели, чье творчество и деятельность и подготовили «перестройку»: Евгений Евтушенко, Андрей Вознесенский, Белла Ахмадулина, Булат Окуджава... Фронтовики Григорий Бакланов, Андрей Турков, Александр Ревич... Репрессированные писатели: Дмитрий Лихачев, Анатолий Жигулин, Феликс Светов... «Деревенщики»: Виктор Астафьев, Сергей Залыгин... «Городские» писатели: Владимир Маканин, Анатолий Курчаткин... «Дети подземелья», то есть писатели андеграунда, которых многие годы не печатали, не издавали, не ставили: Евгений Попов, Андрей Битов, Людмила Петрушевская... Я всегда повторяю, что наш Союз писателей – это союз интеллигентов. То есть людей образованных, совестливых, думающих и неравнодушных. И пополняется он по этому же принципу.

– **Недавно на телеканале «Культура» показывали встречу Тимура Зульфикарова с читателями. И он сказал следующее: настоящая культура (золотые россыпи) могут появиться только в условиях тоталитарного**

режима, как только появляется свобода – исчезают таланты. В качестве подкрепления этой своей мысли он привел высказывание Иосифа Бродского, который якобы говорил, что литература – при тоталитаризме, при демократии – макулатура. Что Вы думаете по этому поводу? У нас в стране 15 лет действительно не было хороших писателей и поэтов, а сейчас, когда мы почти возвратились в 1975 год, они появятся, уже появились?

– Не согласна, что шедевры создаются людьми несвободными. А как же весь наш Золотой век? Ведь Пушкин, Лермонтов, Толстой, Тургенев, Достоевский были людьми относительно свободными. То же самое и с веком Серебряным: в начале 20-го века от обилия первоклассных поэтов аж зашкаливает. Да и русскую монархию я считаю системой, далекой от тоталитарного режима. Или взять французскую, немецкую, английскую литературу? Чем свободней становилась там система, тем интересней, значительнее, разнообразнее становилась там литература. А Древняя Греция? Между прочим, ей правили демократы. И это не помешало древнегреческим поэтам, художникам, скульпторам, архитекторам, которые являлись в этом демократическом государстве свободными гражданами, вдохновенно творить и выдавать шедевр за шедевром. А вот в тоталитарном Древнем Риме на смену вдохновенному творчеству античных художников и поэтов пришло унылое и скованное подражательство да эзопов язык. Да, в годы тоталитаризма в России возникла литература стоицизма и сопротивления режиму, связанная с именами Андрея Платонова, Анны Ахматовой, Осипа Мандельштама, Александра Солженицына и многих-многих других прекрасных писателей. Это говорит только о том, что дух дышит там, где хочет, и что во все времена литература, как и человек, стремится к свободе. Настоящая литература, возникшая при тоталитаризме, создана на крови, и потому свята и бесценна. Она говорит о жизни и смерти напрямую, с места казни, расстрела, тюрьмы, и поэтому сильнее всех выдумок. Но что из этого следует? Что тоталитаризм лучше, продуктивнее,

полезнее для человечества? Мысль опасная. Но если же это непременно так, то все же лучше жить в свободные времена, и не читать вовсе. Потому что выше и самоценней литературы жизнь человека. Это, во-первых. А во-вторых, действительно, когда смотришь на книжные прилавки, заваленные детективной литературой, фэнтэзи, любовными романами, хочется немедленно согласиться с Зульфикаровым. А тем более с Бродским. Но я знаю, сколько прекрасных рукописей талантливых писателей не находят издателей, потому что настоящая литература – не коммерческий продукт. В условиях относительной свободы, без цензуры мы прожили всего 15 лет. Маловато для того, чтобы делать такие глобальные выводы. Давайте подождем.

– **Современная литература – живая литература, живая словесность, поскольку существует рядом с нами. Это мой взгляд. Или все-таки правильнее говорить о хорошей и плохой литературе?**

– Во времена всеобщей грамотности очень многие научились довольно-таки хорошо писать. Уже не встретишь откровенной графомании. Поэтому критерий сместился. Я предпочитаю говорить о живой и мертвой литературе. Посмотрите, ведь действительно, уклад всей жизни за последние пятнадцать лет перевернулся, обществом были пересмотрены многие ценности: духовные, мировоззренческие, материальные, открылись архивы и границы, жизнь строилась с места и несется неизвестно куда, – а многие писатели этой новой жизни просто не знают, и, закрывшись в своих кабинетах, пытаются писать по-прежнему, как будто ничего не произошло. Я выскиваю книги, пусть написанные неуклюже, но зато говорящие о сегодняшнем дне, правдиво, вздох, это такая первооткрывательская литература.

Они открывают наше время и современную Россию, как когда-то открывали Америку. Если писатели об этой жизни не пишут, то начинают писать о ней сами персонажи. В Подмоскowie живет и работает писательница Раиса Белоусова. Она ночью подрабатывает извозом (этим она зарабатывает

на жизнь), и потом описывает разговоры с попутчиками в своих книгах. Это такая многоголосая книга о сегодняшней жизни, где героем может стать каждый, кто поднимет руку, чтобы тормознуть проезжающую машину, в которой за рулем сидит сама писательница. Или недавно в Союз писателей пришла бабушка из Саратова с изданными за свой счет, на собранную пенсию, четырьмя томами прозы о своей жизни. Безумно интересно! Её в Саратове ни в один из Союзов писателей не приняли, а читать интересно. Это так называемая непридуманная, создаваемая самим народом, литература. Как раньше народ создавал народные песни и сказки, так сейчас пишет народные романы. Люди чувствуют, что они прожили уникальную жизнь.

– **Не из этой ли серии другое явление: женская литература?**

– Проза, написанная женщинами, молчавшими тысячи лет, тоже любопытное явление. В этой прозе жизнь увидена женским глазом, почувствована женским сердцем, проанализирована женским умом. Женский взгляд – новый взгляд в литературе, и поэтому иногда вещь написана слабее, если бы ее написал мужчина, но читать опять же интересно. Это новое. Как сказал один из героев детской книжки о светлячке: он живой и светится. Вот я такую литературу предпочитаю, чтобы она была живая и светила. Потому что мастерству можно научиться, а чувству любви и сострадания к человеку никогда.

Конечно, если попадается действительно высокохудожественная вещь, написанная мощно, смело, новым языком, если у писателя есть свой, ни на кого не похожий стиль, если это произведение говорит о нашем времени, то эта вещь захватывает. Как захватила недавно меня неизданная еще книга «Ай-Петри» молодого писателя, неоромантика, последователя Паустовского – Александра Иличевского.

– **Честно признаюсь, я бы никогда не дочитала до конца Ваш роман «Дурочка» (из-за названия), если бы не первые строки: «Скрып, скрып. Скрып-скрып...»**

Еще не зная, что Надька качается на качелях, я эти качели (на веревках, с дощечкой-сиденьем) увидела. Потому что они скрипели правильно: не скрип-скрип, а скрып-скрып... Почему Вы отказались от литературно правильного скрипа?

– Я писала «неправильный» роман, про «неправильную» немую девочку, которая живет в «неправильном» времени (она и в тридцатые и в шестидесятые года остается маленькой девочкой, не меняется), девочку-дурочку, которая становится святой и спасает мир от ядерной войны. Поэтому в романе много «неправильного», мир увиден глазами (и услышан ушами) не совсем обыкновенной девочки. Этот прием в прозе открыл еще в двадцатых годах Виктор Шкловский и назвал его «остранением». Самое важное в нем, чтобы главный герой современной прозы смотрел на мир «странным» зрением, видел то, что другие не видят. Потому что современный читатель устал от «правильного» объективного, скучного (как все) взгляда. Поэтому и моя героиня слышит неправильное «скрып-скрып». Видите, и вы были пойманы: ваш взгляд и ваш слух эта неправильность остановила, заставила читать дальше.

Но это не все. Помимо того, что я пишу прозу, я еще работаю в кино. И вот я заметила, что на стыке этих двух жанров, или даже шире – видов искусств: прозы и кино, – происходят интересные вещи. Как в химии: когда соединяешь различные химические соединения, то происходит диффузия, проникновение частиц друг в друга, и на стыке двух элементов появляется новый сплав, так и в искусстве: например, при соединении разных приемов прозы и кино, появляется новое качество прозы. Можно применить в прозе, скажем, метод монтажа, и твои герои сольются в многоголосии, можно убыстрить время, а можно «озвучить», как в кино, дать вещи свой, ни на что другое не похожий голос: «скрып-скрып».

– **Какая она, хорошая книга сегодня?**

– Мне нравятся книги, где как раз и достигается переплетение жанров. Я недавно работала в жюри конкурса на

лучшую книгу года, который так и называется «Большая книга», прочитала большое количество романов, повестей и рассказов и для себя определила, какая книга меня, что называется, «держит» (естественно, я говорю сейчас не о развлекательной литературе, а художественной в буквальном значении этого слова). Так вот, книга, которая привлекла мое внимание, называется «Быть Босхом». Автор – бывший пермяк, ныне столичный житель – Анатолий Королев. Книга о том, как молодой человек отправляется после университета служить в армию, причем попадает на самое дно армии – в дисциплинарный батальон – и пишет там роман о средневековом художнике Босхе. Вот это переплетение и сопоставление, казалось бы, непохожих, не имеющих отношения друг к другу, двух миров, времен, двух народов, где все же есть главная точка соединения – серьезный и страстный, без дураков, разговор о добре и зле, существующих во все века, – и держит в напряжении до самого конца. Если же автор играл бы со временем просто так, ради самой игры, – это сейчас после Борхеса стало среди молодых писателей занятием модным, то, наверное, я отложила бы эту книгу на середине.

Понравился роман Александра Кабакова «Всё поправимо» (читатели должны помнить «Невозвращенца» этого автора). Понравился своей угрюмой музыкой, которую слышала, читая, от первой страницы до последней. Это большая редкость: написать словами ноты музыки и тут же ее исполнить. Видимо, этот автор знает тайные приемы, как соединить прозу и музыку, как я соединяю прозу и кино, а Анатолий Королев – прозу и живопись. Кабаков мне нравится еще тем, что описывает мой родной город Капустин Яр, город ракетчиков, где служил его и мой отец в разное время. В романе я не узнаю свой городок, Саша Кабаков жил в нем на десять лет раньше, но чувствую и слышу музыку своего родного города. Понравился мне исторический роман Алексея Иванова «Золото бунта». Но так не хватало книг авторов, которые пишут о непридуманной жизни сегодняшнего «маленького» человека с его радостями и горестями, с его убогой «шинелишкой» (из которой мы все

вышли): Нины Горлановой и Вячеслава Букура, Олега Павлова, Алексея Варламова, Владислава Отрошенко, Михаила Тарковского, Александра Яковлева, – той натуральной школы русской литературы, которая есть ее кровь и плоть. Вообще хотелось бы, чтобы «Большая книга» стала национальной премией, объединяющей все направления и школы современной русской литературы, а не премией одной «тусовки».

– **Сейчас много говорят о книге Владимира Сорокина «День опричника». Успели ли Вы прочесть это произведение? Насколько Вам близка мысль, там ярко выраженная: без работы культуры во всех без исключения областях мы не будем двигаться вперед, будем ходить по одному и тому же историческому пространству, по одной и той же исторической парадигме?**

– Нет, не читала. Я не читаю Сорокина. Он мне претит. Что-то в нем есть от Чикатило, глубоко болезненное и преступное одновременно. Я однажды присутствовала в Литературном музее при чтении им рассказа о человеке, который, лежа в ванной, испражняется и играет со своими фекалиями, приделывая к ним парус. Я видела, как восторженно внимали ему чистенькие мальчики и девочки, студенты филфака, какую устроили ему овацию, – и поняла, что такое чтение и такая литература есть растление малолетних. Поддерживая такую литературу, «понимая» ее, исследуя и изучая, – мы растлеваем своих детей. Мы внушаем им, что в литературе можно все. Что все позволено! Помните, откуда это? Из «Преступления и наказания», где герой мочит старушек и беременных женщин, укачивая свою совесть этой фразой: «все позволено...» Нет, в литературе, как и культуре в целом есть система запретов, табу, убирая которые, мы оказываемся в том же диком состоянии, как и были в самый начальный период своего развития. Потому что культура, как ни странно это звучит, и есть выработанная веками всем человечеством система запретов, система табу. Как в этике: если убиваешь заповедь «не убий», то становишься убийцей. Уж лучше ходить по кругу, знаете ли...

– **Читают ли теперь в России книги? Или верить социологам, которые утверждают следующее: читают лишь 17% россиян, еще 17% покупают по одной книге в год? Впрочем, «читают» и «покупают» – разные вещи?**

– Я верю не социологам, а своим глазам: читать стали больше. В московском метро все сидят с книжками. Но вопрос, что читают? В моем родном городе Капустин Яр раньше было два прекрасных книжных магазина: «Военная книга» (поскольку городок был военным), и «Астраханская книга», где продавались книги всех жанров, направлений и родов, от классики до «Кройки и шитья». В близлежащем селе был также прекрасный книжный магазин, где я, помню, купила маленький стихотворный сборничек Току Боку и всю дорогу, шагая по щиколотку в белой пыли, проплакала, прочитав одно из его стихотворений. Сейчас все три магазина закрыты. Книги, а вернее детективное чтение, в котором так поднаторели современные писатели и читатели, продаются в киоске, наряду с другими товарами. И это я говорю о городке, в котором живет военная элита, военные интеллектуалы – ракетчики! Офицеры моего детства читали очень много, обсуждая книги в застолье. А теперь хорошие книги даже негде купить. К сожалению, разрушена вся российская книготорговая сеть и почему-то не поддается восстановлению. Мне кажется, что нужны не только государственные издательства и государственные издательские программы, нужна (и срочно) государственная программа по книготорговле и государственная поддержка по распространению художественной современной литературы. Это делается во всем мире. Там министерства культуры занимаются культуртрегерской работой, а не распределением денег неизвестно на что.

– **Верно ли утверждение, что современных авторов потому мало знают, что ими никто не занимается, их никто не возвращает и не воспитывает?**

– Действительно, их по телевизору не показывают, сделать из них звезд не обещают. Но все-таки возьмется. Не как раньше. Но все же... Союзы писателей (оба союза) раз в

пять лет собирают совещания молодых писателей, и по их итогам принимают в союз. Очень много проводится семинаров и мастер-классов по регионам. Не так давно проводился такой семинар в Нижнем Тагиле, где Уральская писательская ассоциация двух союзов (СРП и СПР) собрала молодых писателей из 14 регионов Урала и Сибири. С ними проводили мастер-классы известные мастера. Есть всероссийский конкурс «Дебют». Есть Литературный институт им. А.М. Горького. Есть Интернет-конкурсы, например, Волошинский конкурс, где я имею честь быть председателем жюри по прозаическим номинациям, и где подведение итогов происходит в «волошинском» месте – Коктебеле, куда съезжаются молодые писатели России и Украины и для них проводятся мастер-классы такими известными поэтами как Юрий Кублановский и Евгений Рейн. Но конечно, этого недостаточно. Нужен и даже необходим журнал молодых для молодых (как раньше, если помните, таким журналом для молодых была «Юность»), вокруг которого и клубилась бы молодая писательская поросль, где создавались бы (и низвергались) молодежные кумиры. Но журнал на бумажных носителях кажется молодежи несовременным, и потому, думаю, что если он и возникнет, то это будет, скорее всего, Интернет-журнал. Под каким-нибудь таким модным кибернетическим названием. Например, «Флэшка»...

– **Один из моментов, который подвиг меня на общение с Вами. В официальной (читай: властной) газете публикуется список претендентов на региональные творческие премии, в том числе в области литературы. И что мы видим? Член Союза писателей РФ Иванов выдвигает на премию члена Союза писателей Петрова, Петров рекомендует Иванова и Сидорова, а тот – Иванова и Петрова. Кажется, писателям не до литературы...**

– Премии, даже если они даются за творческие достижения, – это деньги. Или иначе – кормушка, а к кормушке чужих не подпускают, – только своих. Мой любимый писатель Владимир Маканин однажды шутливо заметил, что премии – это доплата к тем нищенским гонорарам, которые

существуют сейчас, а потому надо-де просто выстроиться в очередь за получением надбавки. И выстраиваются и получают. Для многих критиков, даже известных, распределение премий стало одним из главных занятий. Они уже не пишут о произведениях писателей, а ставят им, как учителя нерадивым ученикам, баллы. Приятно властвовать. Часто премиальное поле становится полем боя именно критиков из разных станов. Писателей, прежде друживших, разводят по разным критическим лагерям. «Кто не с нами, тот против нас»... Возникают смертельные обиды, вражда на пустом вроде месте: этому не дали, этой не дали, а этому дали... Картина неприятная. И небезобидная. Ведь читатель прислушивается к словам критиков, узнает из средств массовой информации, кому дали премию. Идет и покупает книгу этого автора. А книга плохая. Премия часто еще служит компромиссом между критиками: чтобы не давать премию двум ярким писателям, которые находятся в разных лагерях, дают премию третьему – середнячку. Все это идет не на пользу литературе. Постмодернисты не любят слово «иерархия». Но она существует в литературе. И когда дают премию писателю за слабое произведение, а сильное игнорируется, то в мире что-то важное нарушается, принцип справедливости что ли, как будто надламывается мировое дерево вселенского порядка.

Но в мире справедливого мало, так что простим им и премии, несправедливо и субъективно выданные. Все равно есть высшая справедливость, и то, что действительно талантливо, остается на земле в виде книг надолго.

– **Еще одно наблюдение местного значения (хотя говорят, что так на всем российском пространстве): толпы писателей осаждают со своими рукописями областные, городские администрации, представительства президента: «Помогите издаться, не дайте погибнуть литературе». Мне как налогоплательщику это не очень нравится. Во-первых, потому что используют, не спросив меня, мои деньги; во-вторых, издают в итоге то, что в силу бездарности (иногда – элементарной безграмотности и**

необразованности) издавать не следует. Ваше отношение к этой, на мой взгляд, однозначно порочной тенденции? Или это хорошо, что помогают писателям и «писателям», ведь проголосуют в конечном итоге читатели?

– Мне кажется, что налогоплательщики, коими мы все являемся, должны приветствовать все культурные программы, которые финансирует правительство. Знаете почему? Потому что денег на культуру выделяется очень мало, кажется, меньше одного процента. А в один год дошло до того, что министерство культуры вернуло даже эти мизерные деньги. Не смогло их потратить. И вот из этих денег министерство культуры не может потратить на литературу ни одной копейки, так как литература не прописана у них в министерском бюджете ни одной копеечкой. Раньше Союз писателей СССР был государством в государстве, десять процентов отчислений от всех изданий шло на поддержание и деятельность Союза писателей. Поэтому министерство культуры и не закладывало никогда в бюджет затраты на издание книг, проведение конференций, совещаний молодых писателей, творческих семинаров и т.д. Когда же СССР рухнул, союзы писателей уже не смогли ни издавать, ни содержать самих себя, – отчисления на поддержку союза писателей теперь целенаправленно не соберешь. А министерство культуры «ушло в несознанку», притворилось не знающим о проблеме и якобы непонимающим: закона-то деньги давать общественным организациям, в которые из творческих союзов превратились союзы писателей, – нет. Вот и ходят бедолаги-писатели вокруг бастионов власти со своими рукописями, которые они, конечно, считают не графоманскими. А гениальными. И смешат и злят одновременно налогоплательщиков. Хотя во всех европейских странах каждый писатель может подать заявку на издание книги и получить его, если так решит экспертный совет. Знаю это от своей подруги, писательницы Ларисы Ванеевой, которая живет в Эстонии. На грант Культурного фонда министерства культуры Эстонии (а фонд этот как правило складывается не только и не столько из бюджетных денег – денег

налогоплательщиков – а из частных пожертвований, министерство их только распределяет) она недавно издала свою книгу прозы. Так что просто надо навести элементарный порядок в своем доме, чтобы и налогоплательщики были спокойны, что их деньги идут не на графоманские книжки, на книги, из которых складывается культурная атмосфера государства, и писатели, у которых отняли буквально все. Даже статус. Поясняю: профессии писатель в нашем законодательстве нет, потому что президентом не подписан и возвращен на доработку в Государственную Думу Закон о творческом работнике и творческих союзах. Именно поэтому у писателей (и не только у них, но и у художников, композиторов, кинематографистов, артистов и остальных творческих работников) нет ни творческого стажа, а значит и достойной пенсии, не говоря уже о бюллетенях, санаториях и прочих радостях остальных налогоплательщиков. В то же время писатели, как и остальные налогоплательщики, исправно платят налоги со своих гонораров... Сейчас писатели получают пенсию размером в восемьсот рублей в месяц. Это происходит потому, что им не засчитывается творческий стаж. По сути, они приравнены к тунеядцам, никогда не работавшим. Известно, что Иосиф Бродский был осужден за тунеядство. Если бы он жил в России и дожил бы до наших дней, то его пенсия и составляла бы 800 рублей. То есть он был бы повторно осужден за тунеядство своим же государством уже в виде пенсии, хотя и получил за все свои творческие достижения (а значит, за труд) Нобелевскую премию. Вот такой заколдованный круг. Вот такая забота государства о своей культуре и людях культуры. Поэтому призываю налогоплательщиков сжалиться над бедными писателями и не сердиться. Сердитесь на государство, которое сознательно сделало из писателей отряд нищих, вырывающих из рук чиновников куски даже не хлеба для своего пропитания, а денег на книжку, которую вы или ваши дети будете читать.

– **Есть серьезные (качественные) СМИ, и есть желтая пресса; есть серьезная музыка, и есть попса. По каким критериям Вы оцениваете, взяв в руки книгу,**

полистав ее, может быть, почитав немножко, что это попса литературная?

– К сожалению, в силу своей службы на посту первого секретаря Правления Союза российских писателей, я знаю, кто какую книгу написал. И попсу в том числе. Как говорится, от многого знания, многия печали... Часто происходит так: днем писатель пишет, чтобы прокормиться и прокормить свою семью, книгу на заказ (попсу, детектив, любовный роман), а ночью творит «нетленку». Но есть закон кармы: если ты каждый день пишешь эту муру, то твой уровень понижается и ты уже не сможешь так писать свою нетленку как раньше. Есть и закон денег: если у тебя получается попса, то ты уже не можешь остановиться. Заказ следует за заказом. Если ты выпадешь из обоймы, твое место убитого бойца займет другой. Почему я так уверенно это говорю? Да потому что сама побывала в этой роли поденщика, правда, не литературного, а киношного. Писала сериалы в начале девяностых после окончания Высших сценарных и режиссерских курсов, чтобы не умереть с голоду под руководством выдающегося киносценариста Валерия Семеновича Фрида, соавтора (с Юлием Дунским) сценариев к таким фильмам как «Служили два товарища», «Гори, гори моя звезда», «Как царь Петр арапа женил», «Экипаж» и многих других... Даже он в то время вынужден был писать сериалы. И вот я заметила, что после сериала не могу ни одной своей строчки написать. Рука уверенно поворачивает на халтуру... Так и отказалась от очередной работы и сидела в молчании целый год, пока не вернулось ко мне чувство слова и само Слово... Так что таким образом попса убивает самого своего создателя, не говоря уж о читателе.

– Писатель и издатель. Каковы их отношения сегодня?

– Есть с десяток издательств, которые печатают настоящую литературу. Но там издатели или подвижники, любящие литературу, или люди, умеющие соблюсти в издательском деле баланс между массовой и художественной литературой. Для раскрутки имени они умеют запрячь и

премиальный процесс, и книжные ярмарки, и художника, и конкурсы, и телевидение, и радио. Издать, а потом и продать хорошую книгу сейчас это целое искусство. Между писателями и издателями обычно складываются партнерские отношения. Размер гонораров в данном издательстве и других издательствах все примерно знают, нас не обманешь, юридические договоры все уже читать научились, так что проблем особых нет. Главное, чтобы издатель твою книгу взял. Трудность как раз в этом. У издателей свой стереотип и свой набор имен, и прорваться новому имени на этот мавзолей, где стоит уже долгое время писательское политбюро, часто очень трудно. Но вот что замечательно: не возьмут в одном, приласкают в другом издательстве. Тут в ход идет все: знакомства, слухи, презентации чужих книг, собственная активность (волка ноги кормят), умение себя продать, рассказать издателю о своей книге так, чтобы у него слюнки потекли. Бывает и просто везение. Например, ко мне пришел издатель Виктор Гоппе и попросил разрешение сделать мою книжку «Русалка с Патриарших прудов» из... фанеры. И сделал. Правда, в одном экземпляре, потом ее купил известный коллекционер из Англии по фамилии Батлер. Так что теперь моя книжка находится в его коллекции. Как картина. Бывают случаи, что и деньги тебе выплатят, а книжку не издадут. И сидишь с деньгами, но три года без прав на нее, как написано в договоре. Самыми идеальными отношениями для меня были отношения с издательством «Вагриус». Редактор Лена Шубина позвонила, предложила издать книгу, я пришла, она взяла дискету и через какое-то время книжка вышла, «Дурочкой» называется. Конечно, лучше всего иметь своего литературного агента, который бегаем вместо тебя по издательствам, предлагая твою книгу, а ты ему платишь за это процент. Такой литературный агент по имени Томас Видлинг у меня есть в Германии, и я им очень довольна: продал мою книгу в Германии, Польше и Франции. Приглашает на книжные ярмарки, аккуратно выплачивает гонорары и потиражные. Просто чудо! Такую бы систему завести и у нас. Я такие агентства знаю и в России, но они

сделали ставку на русскую советскую классику: Борис Пастернак, Андрей Платонов... А мы, современные писатели, интересуем их постольку, поскольку.

– **Не могли бы Вы назвать ваши литературные открытия последних 2-3 лет, как в русской, так и зарубежной литературе. Может быть, за несколько более длительный период – в русской поэзии. Есть новые талантливые имена?**

– Имен так мало на самом деле, что они все более-менее известны. Я уже их назвала, поэтому не буду повторяться и назову еще двух-трех: Антон Уткин, романист, автор журнала «Нового мира», написавший несколько лет тому назад прекрасный роман «Хоровод», поэт Александр Радашкевич, живущий в Чехии, прозаик Софья Купряшина.

– Александр Архангельский говорит следующее: «Гете как-то сказал Экерману: «Современные люди не имеют мужества жить до старости». Я могу тоже самое сказать о современной литературе. Современным писателям не хватает мужества быть великими». Он упрекает писателей в том, что они без замаха: «Вижу хорошую, кропотливую вязь, рукоделие». Вам есть, чем возразить?

– Я полностью с ним согласна. Слишком мы робкие что ли. Робеем перед собственным талантом. Я недавно получила письмо от общества, которое учит уходить в астрал. Мол, приходите. Научим. Уходить и возвращаться. Вот и нам надо учиться уходить в творческий астрал и, может быть, без возврата.

Беседовала *Елена Мухомад*

От составителей

Когда верстался номер, мы получили приятное известие: член нашей редколлегии Светлана Василенко за рассказ «Город за колючей проволокой» награждена Горьковской литературной премией в номинации «Фома Гордеев» (художественная проза).

Поздравляем!

Изящная словесность



Виктор Вайнерман
МИНИАТЮРЫ

ШОКОЛАДНЫЙ БЛЮЗ
(пародия)



Муж: Я люблю тебя!

(Вскрикнув, отворачивается и закрывает лицо согнутой в локте рукой).

Жена: Нет! Нет! это я люблю тебя! я люблю тебя сильнее! глубже!

(Всплеснула руками. Муж подбегает к открытому окну и вскакивает на подоконник).

Муж: Я докажу!

Жена: Нет! Нет! подожди! я с тобой! *(Запрыгивает на подоконник рядом с ним. На мгновение замирает. Взглянула вниз). Пстой! Я сейчас! (Выскакивает из квартиры, и вскоре появляется внизу с большой охапкой соломы. Исчезает и возвращается снова и снова, пока под окном не вырастает настоящая копна сена). Вот теперь можно прыгать! (Она снова стоит рядом с мужем на подоконнике).*

Муж: Что ты делаешь! Зачем! Я докажу по-настоящему! *(Бросается в ванную и возвращается оттуда с открытой опасной бритвой).* Вот! Вот! Я вскрою себе вены! никогда и никто не знал такой любви! я благословлю вас! Ты будешь счастлива с ним! а я!.. я!

Жена: Что ты говоришь? Я не приму такой жертвы! И Он, Он тоже не примет! Правда?.. Правда?

(Появляется Он. У Него глаза безумного человека. Волосы всклокочены. В руках внушительных размеров топор).

Он: Я люблю тебя! Отойди от него, или я убью вас обоих!

Жена: Нет! Нет! муж согласился благословить нас!

Он: Как???

Жена: Скажи, милый, скажи!

Муж (мрачно): Будьте вы все счастливы!..

Он (истерично): Мы так не договаривались! Бей меня! угрожай мне! не отпускай её!

Муж: Я слишком люблю её, чтобы удерживать...

В наши дни спрос на слова на мировом рынке падает.
Лех Валенса

Жена: Ах! ах! как это благородно! я полюбила тебя ещё сильнее!

Муж: Похоронишь меня, и живите в этой квартире. Я завещаю её тебе.

Жена: Я не стою такой любви! Так сейчас не любят!

Он: Тогда и мне ничего не надо! Вот топор – руби мне голову!

Муж: Шёл бы ты от греха...

Жена: Мальчики, мальчики, помиритесь! – мужчины вопросительно смотрят на неё, потом друг на друга. Жена замечает их взгляд. – А что! Правда! сядем, поговорим... Отдай мне бритву... Бри-итву отдай! А ты верни мне топор – в хозяйстве пригодится. Ну!.. Вот так... *(пауза)*.

Он: У меня есть два сникерса. Хотите?

Жена: Почему два? нас же трое.

Он: Я не рассчитал...

Муж: Я сбегаю. *(Исчезает в дверном проёме и вскоре возвращается с коробкой в руках)*. Вот здесь на всех хватит. *(Все трое склоняются над коробкой. Слышны звуки разворачиваемых обёрток, чавканье. Постепенно их спины распрямляются. Мы видим всех троих. Он и Муж стоят лицом друг к другу, прогнувшись назад. Между ними стоит Жена. У каждого в руке по сникерсу)*.

Жена: Мальчики... ИК! не хотите ли ча-аю?

Он *(с трудом разлепляя челюсти)*: Просто воды, и побольше!

Муж: Вам не понравились мои шоколадки?..

Жена: Ну что ты, милы-ИК-й! очень понрави-ИК-лись...

Он: Лучше бы ты зарубил меня топором... Знаете что, я пожалуй, пойду... *(уходит)*.

Муж *(смотрит на жену, в раздумьи)*: Слушай, тип, с которым ты вчера полтора часа болтала по телефону – он кто?..

(занавес)

ШОКОЛАД «ОСОБЫЙ»



Плитки шоколада продаются в ярких обёртках. Это хорошо. Иначе как узнаешь, какой шоколад у тебя в руках?

Отламываю кусочек. Вкус горьковатый и чуть солёный. Я знаю, что это – «Особый». Почему-то мне нравятся именно эти привкусы шоколада – горечь и соль...

... Меня берут за руку и выводят на крыльцо. Кто-то в белом халате одной рукой держит мою руку, другой показывает в даль. Там, за высокой чугунной оградой санатория движется какая-то женщина. «К тебе приехала мама, – говорит Кто-то. – Она привезла тебе передачу. Пстой здесь и никуда не уходи». Кто-то возвращается с большой сеткой. Запахи, исходящие от сетки, щекочут нос. От них рот наполняется слюной. Мама привезла мне полную сетку апельсинов! Я протягиваю руки, но Кто-то строго говорит мне, что я получу свою долю за ужином. Меня ведут в дом. Я оглядываюсь, и вижу, что женщина всё ещё стоит у ограды и машет мне рукой.

Я сижу за столиком. Дымится каша, лежат свежие аппетитные булочки. Из чайников нам налили густое какао. Мне хочется кушать, но я не могу. Никак не дождусь, когда мне дадут мою долю. Ещё я хочу узнать, куда же денут всё остальное из такой большой передачи.

Вот, наконец, выносят мамину сетку. Кто-то в белом халате ставит сетку на свободный стол и громко говорит, что к Вите приехала мама. Она привезла ему апельсинов и кое-что ещё. Витя хочет всех угостить. «Правда, Витя?» – Кто-то опускает тяжёлую руку мне на затылок, от чего моя голова склоняется, как будто я киваю.

Перед каждым ребёнком кладут по одному апельсину. Затем Кто-то берёт в руки пакет, который она заранее вынула из сумки, и открывает его. На свет появляется шоколадная кукла, зайцы и несколько шоколадных поездов. Я не могу понять, как это всё делится на всех. У меня в руках оказывается целая куколка и оторванный от шоколадного состава вагончик. Я рассматриваю куклу, потом откусываю от неё маленький кусочек, и кусочек – от вагончика. У горечи во рту странный привкус. Я откусываю ещё раз. Шоколад почему-то мокрый. Наверное, мама привезла солёный шоколад...

С тех пор в «Особом» шоколаде, кроме его собственного вкуса, для меня таятся невысказанная обида, невыплаканные слёзы и не разъясненная несправедливость. И если меня тянет купить именно этот сорт, я понимаю, что со мной не всё в порядке...

ЭТЮД В КРОВАВЫХ ТОНАХ



Моя жизнь дала трещину. Низы хотят и требуют мяса, а верхи не могут им его дать.

С чего это я, взрослый человек, с недавних пор вдруг стал на рынке обходить стороной мясные ряды? От вида сырого мяса и продавщиц, деловито раскладывающих на прилавке кровавые куски, мне становится дурно. Я начинаю понимать скрытые мотивы создателей фильмов ужасов и триллеров – от «Кошмара на улице вязов» и «Челюстей» до картин о сексуальных маньяках, вампирах и садистах.

Вид аппетитного куска мяса с овощным гарниром меня теперь не вдохновляет. Но ведь раньше-то!..

Назрела революционная ситуация... Кто виноват и что делать?

Говорят, все мы «родом из детства». Видения из прошлого давно уже преследуют меня. Однажды сижу, читаю что-то юмористическое, никого, как говорится, не трогаю.

Вдруг слышу, как глухо чавкает топор, и вижу, как в корзину отлетает голова с красным гребнем и раскрытым клювом. Курица бьёт крыльями, кровь хлещет. Мясник отпускает её. Безголовая птица пробегает круг, другой... на третьем падает.

Мама слишком поздно замечает, что со мной происходит...

Курицу я кушать отказался.

Тогда.

Теперь лопаю за милую душу.

Точнее, лопал. Пока не начались эти видения...

Отец редко, но тоже принимал участие в моём воспитании. Однажды мы купили живых карпов. Набрали полную ванну воды и выпустили туда рыбу.

– Она должна быть свежей! – сказал папа.

Пришла мама и попросила принести карпов. Мы сачком отловили их и выгрузили в раковину на кухне.

Карпы взывали о помощи безмолвными ртами и отчаянно таращили глаза, пока мама счищала с них чешую. Я то уходил в

комнату, где папа читал газету, то возвращался на кухню. Со всем уйти было невозможно. Последнее, что я запомнил, был мамин крик. Обезглавленный карп, обвалившийся в муке и уложенный на сковородку, вдруг с силой плеснул хвостом в кипящее масло...

Что это было? Отчаянная попытка безмозглой рыбы защититься и наказать обидчика?..

Впечатлительный я был юноша, однако... Но детство всё же далеко. Что делать с фортелями, которые откалывает психика сегодня?

На днях я купил курицу. Просил продавца выбрать помясистее. После того, как она пролежала полдня на подоконнике, я решил, что мясо разморозилось, и приступил к разделке. Согнутые в полных коленях розовые куриные ноги в мелких пупырышках никак не хотели раздвигаться. Их вид смущал меня всё больше и больше... Что-то такое знакомое было в этих изгибах, что-то нестерпимо манило в таинственную глубину между ними... Тушка переваливалась с боку на бок и отчаянно пыталась высвободиться, выскользнуть из моих рук. Я крепче ухватился за лапки, приложил усилие... И вдруг ощутил себя насильником, пытающимся преодолеть сопротивление жертвы. Зубы заскрипели. Рука схватила разделочный нож и стала кромсать мёртвое тело. Захрустели тонкие кости. Массивное лезвие не хотело разрезать кожу. Тогда я стал срывать её пальцами и отбрасывать в сторону. Перед глазами плыл туман, и всё тело сотрясала крупная дрожь. Вдруг я увидел торчащие из гузки два пёрышка, развернул курицу, и одним движением съёл и гузку и пёрышки...

Отдышавшись, разложил разобранные куски по пакетам и сунул в холодильник. Если сейчас приготовить всё это и съесть – отравись. Организм не примет! Я только что совершил магический ритуал... Да меня околдовали! В меня вошла сущность из далёкого прошлого!

Я – не виноват...

Перед тем, как засунуть курицу в духовку, надо будет набраться положительной энергии. Вспомнить, что Бог создал людей и животных, рыб и птиц, деревья, траву и облака, чтобы образовать круговорот вещей в природе. Одни едят других. Так заведено! У растений ведь тоже есть душа – это доказано! В завершение пути люди удобряют собой землю, и всё повторяется снова и снова. В конце концов – люди победили когда-то в борьбе за существование! Если бы победили коровы или куры – они бы сейчас ели людей!..

Б-р-р... Представил – стало не по себе...

«Я – УЖАС, ЛЕТАЩИЙ НА КРЫЛЬЯХ НОЧИ!..»

Ты пришла ко мне, молчаливая, как обычно. Нет... пожалуй, ты молчалива необычно. Совсем необычно. Ты, скорее, замкнута. Подавлена даже. Вот и глаза припухли...

– Ты плакала? Что случилось?

– Ничего. Всё нормально.

– Я же вижу! Рассказывай, не тяни! Я всё равно узнаю!

– У меня опухоль... Вот здесь. Наверно, злокачественная... Вчера сильно болела. Сегодня боль прошла, но опухоль осталась.

– Продуло где-нибудь. Пройдёт! Не бери в голову!

– Я прочла твою рукопись...

– И что?..

– Ничего, всё хорошо. Такие предложения красивые... Только меня в ней нет. Вот умру – вздохнёшь с облегчением...

– Ну, какие глупости ты говоришь? Разве можно так думать! Ты же знаешь, что это не так!

– *(Вздыхает)*. Просто весна. У меня весенние обострения... Ты же знаешь...

– Не грусти! Слушай! Давай умрём одновременно! Оставим завещание, чтобы зарыли вместе!

– В одну могилку?

– Ну да!.. тогда нас с тобой уже никто не разлучит!

Ночью мне снится, что мы умерли. Перед смертью я попробовал, чтобы нас похоронили не просто в одной могиле, а в одном гробу.

И вот мы с тобой лежим вместе, привалившись друг к другу. Лежим давным-давно. Жирные белые черви выползают из твоего носа, и заползают в мою пустую глазницу. Лезут из моего уха тебе в рот. Ткань одежды сгнила и почти рассыпалась. Кожа отстала от костей. Её общие ошметки растасканы червями по разным углам нашего полуразложившегося деревянного жилища.

– Мы так, близки, что слов не нужно! Мы повторим друг другу вновь, что наша нежность, и наша дружба сильнее страсти, больше, чем любовь!..

А в это время наши бессмертные души тоскуют и озираются окрест. Моя – на Сатурне, где обитают души грешников. Твоя – в раю. Моей скоро предстоит отправиться обратно на Землю. Искупать карму. Я стану серийным убийцей. Мои кровавые злодеяния заставят содрогнуться весь мир. Повсюду я буду оставлять одни и те же слова, произнесенные в своё время Сальвадором Дали: «Не бойтесь совершенства, потому что оно вам не грозит!» Я буду убивать счастливые пары – мужчин и женщин, стремившихся обрести гармонию в союзе друг с другом. «Враг семьи» – под таким кодовым названием я навсегда войду в историю угасающего человечества.

А ты? Твоя душа в раю будет плести венки, и посылать их через ангелов на Землю. Ангелы будут относить эти венки на могилы моих жертв – если совершенство нельзя обрести, то к нему, по крайней мере, необходимо стремиться...

БУНТ

Сорвать с себя рубаху. Прилипла к телу, трёт ворот! К чёрту брючный ремень! Нацепить что-то такое, эдакое-разъеданное! пусть раздобревшее брюхо вывалится на фиг! Натё! Смотрите на урода!

Надеть что-то лёгкое, воздушное. Нет, не спортивные штаны. Элегантное, изысканное. Чтобы стало уютно, чтобы внутри

зажегся огонёк удовольствия. И только тогда обратить внимание, что на тепло и свет этого огонька оглядываются люди.

Что ещё? Ах, да! Сбрить к такой-то матери бороду! Нет! Не всю! оставить нечто зигзагообразное, витиеватое, эксцентричное! На голове изобразить невообразимое – разлохматить, разодрать прилизанную причёску! Обриться под ноль! Нацепить панковский гребень! Перевернуть всё вверх дном в квартире, размалевать обои и зеркала, вышвырнуть в окно компьютер!! Стать на уши! Дико заорать, выбежать на площадь, упасть на землю и валяться, вздымая клубы пыли, бросать куда-то камни, что-то крушить!!!

Что сделать?????

Всё надоело! Всё изменить. Всё!!!!!!! Улететь, улететь! Прочь отсюда! Не хочу никого ни видеть, ни слышать!!!

Нет! Не улететь, а улетать! нигде не задерживаться! Осточертели будни. Ос-то-чер-тели! Хочу бесконечного света, праздника! И не надо мне говорить, что нельзя всю жизнь праздновать! Зачем эта жизнь, если жизни как таковой нет? Если на каждый вздох приходится спрашивать разрешение, да не только у НИХ, у себя самого! Отпрашиваться у собственной внутренней цензуры... доглядывался на неё, блин – аж шею на хрен свело! – нет уж! Задушили, зажали, достали! Не хочу!!! Хватит!

Но куда ты от себя-то денешься? Даже ТУДА улетишь, и то не свободен. Всё равно куда-нибудь, да направят...

Сколько тебе лет? Помнишь? Ещё бы... Пора угомониться. А ты всё в бунтари, в бунтари. Пора, пора бы уже угомониться. Ведь не приемлешь бунтарскую молодёжь? Не приемлешь. А почему? Да потому, что она тебя не приемлет. Козлы сопливые... Да не козлы, а козлики. Не знают, против чего, жизни не видели, а туда же...

А ты, значит, уже старый, заматеревший и вонючий...
...Хорош базарить. Надоело.

...Боже, какое пекло сегодня...

ВМЕСТО ЭПИТАФИИ

Светлой памяти М.М. Хахаева

Если завтра похороны человека, который почему-либо тебе близок, то последняя ночь, когда он всё ещё на земле – самая тяжелая и трудно переносимая. Горло душит спазм. Бесконечно жаль этого человека. Вот же, ещё пару дней тому, видел его бодрым, живым.

И вдруг – внезапно... сердце... завтра в час. И не потому тяжело, что известие настигло в одночасье, а потому что он ещё здесь, ещё НА земле.

И никак не верится, что уже ни у кого не вызовут никаких чувств его слова и взгляд, крепкое товарищеское рукопожатие или равнодушие, его настойчивость (если он от вас чего-нибудь добивается) или его неспешность (если Вы ждёте от него исполнения какого-то дела).

Всё. Больше не будет ни дел, ни звонков, ни встреч.

Вот здесь он обедал. За этим столом сидел со своими тарелками. Может быть, за обедом ты подносишь ко рту ту самую ложку, что когда-то держал в руках и он. Говорят, что если думаешь о человеке, то его дух откликается и незримо присутствует, смотрит на тебя. МЫ тщим себя иллюзиями, надеемся, что и мы когда-то не исчезнем бесследно, как вот он сейчас, а обязательно останемся. И, быть может, нас тоже кто-нибудь позовёт, и мы прилетим и незримо посмотрим за ним. А потом не останется никого, кто мог бы позвать. И, наверно, только тогда мы навсегда уходим от земли, по которой когда-то ходили, уносимся прочь куда-то, чтобы не видеть больше ни зелени деревьев, ни белизны снегов, ни разноцветья цветов и трав, не слышать голосов детей, леса, поля, реки, океана. Навсегда уходим оттуда, где мы уже никому не нужны, кто нас никто уже не помнит живыми. А наши дела... Что ж, если их кто будет

помнить – значит, не напрасно мы прошли здесь свой путь от рождения до смерти.

Мы поднимаемся всё выше и выше... Туда, где синь неба сначала становится всё тоньше и тоньше, а потом густеет, густеет, и, наконец, превращается в странное, необъяснимое пространство. Как будто где-то в глубине сцены натянут тёмный задник с мириадами отверстий, за которыми установлены светильники. Идешь вглубь, и кажется, что ты летишь в звёздное небо. Но тогда, в тот по-настоящему последний миг, ты отвергнешь и этот, последний земной образ.

О, как же хочется ощутить состояние беспамятства. Когда ничего не помнишь, ни лиц, ни теней, ни эха...

Тишина. Только звонкая тишина. Вот – истинное блаженство.

И оттуда, оттуда же – слова ещё живущего поэта:

*Тишины хочу.
Тишины.
Нервы, что ли, обожжены.
Тишины.*

Прощайте.

Виктория Кинг
КАРОЛИН
(Из нового романа)



Каролин была младшей дочерью Арнольда Кремера, служащего мостостроительной компании из небольшого городка близ Атланты. Брат Роб и усыновленный Рой, старше ее на несколько лет, составляли часть семьи, к которой она не хотела иметь никакого отношения. Они беспрестанно играли в карты и безобразничали, а ее игнорировали, – как бы не замечали, невзирая на призывы родителей жить в мире и дружбе.

Каролин ожидала дня рождения с нетерпением. Восемнадцать лет давали ей свободу. Прозабать в провинциальном захолустье неумоготу, так что Каролин давно решила – на следующее утро после праздника уедет, куда глаза глядят.

Все держалось в секрете. Даже мать, самого близкого и любимого человека, Каролин не посвятила в свои планы.

И вот – свершилось. За ужином мать чмокнула ее в макушку, плюхнула на тарелки двойную порцию индюшки, поздравила с совершеннолетием и протянула подарки – поношенные кофточки и часики с позолоченным браслетом. Арнольд, ковыряясь в картофельном пюре, окинул дочь строгим взглядом:

– Как дальше жить будешь?

Каролин пожалала плечами. Братья загоготали. Отец на них цыкнул, а мать приглушенно, как бы извиняясь, пролепетала:

– Она у нас девочка умная, решит...

Перед рассветом, собрав нехитрые пожитки, Каролин выскользнула из дома, села в машину и скрылась в мареве утреннего тумана. Она ехала по дороге наугад и благодарила господу за то, что ей удалось скопить деньги на старенькое авто.

Постепенно страх сменился сумбурной радостью внезапного освобождения. За два года она сэкономила пару сотен долларов и считала, что для начала нового витка судьбы этого вполне достаточно.

У небольшого селения остановилась на заправке, залила бензин в бак и решила позвонить подругке.

Долго никто не отвечал. Наконец, заспанный голос произнес:

– Хэлло?!

– Анна, это я, Каролин.

– Привет. Ты чего так рано?

– Я из дома уехала.

– Ну, ты даешь! И куда?

– Еще не знаю... Я тебе буду звонить.

– Хорошо, звони. Я пошла досыпать.

– О-о-о-кей.

Каролин повесила трубку. От разочарования хлопнула носом, поняв в который раз, что никому не нужна, и никому не интересна.

Одна... «Ну и черт с ними!», – подумала девушка и, сев за руль, резко повернула с заправки на автостраду.

Три дня добиралась до Лос-Анджелеса, перебиваясь в пути дешевыми бутербродами и ночуя в машине на проселочных дорогах или недалеко от ферм, в тех местах, где ее не могли увидеть.

Покружив по Лос-Анджелесу и купив новые, пахнувшие свежей типографской краской, карты Калифорнии, Каролин двинулась в сторону Лас-Вегаса.

День клонился к закату, и девушка спешила. Пятнадцатая трасса шла по пустыне. На пути изредка попадались группы высоких кактусов, со стороны они казались настоящими деревьями. Горные гряды, тянущиеся параллельно, наливались фиолетовым цветом под палящими лучами солнца. Яркие краски слепили, и, вытащив из бардачка завязанные в платок, от любопытных глаз подальше, новые черные очки, Каролин одела их с чувством взрослой женщины, пустившейся в авантюры, и распустила длинные волосы. От жары становилось душно, и она опустила окно. Ветерок подхватил ее кудри. На всю мощность включила радио и, распевая во весь голос, понеслась с бешеной скоростью к городу иллюзий.

* * *

Лас-Вегас сверкал разноцветными огнями реклам, толпы людей выбросило из игрового «пекла» охоты за выигрышем на улицы и окунуло в долгожданную прохладу вечера. Каролин лихо подкатила к входу отеля «Тропикана», вышла, передала портю ключи от машины и важно сказала:

– Багаж занесите, пожалуйста!

Молодой человек окинул ее взглядом с ног до головы:

– Йес... мэм!

Выгнувшись струной, с высоко поднятой головой, она прошествовала в фойе и окунулась в безбрежный океан звуков: хохот, звон падающих «монет», приглушенная музыка – перед глазами мелькали официанты с напитками, ряды игровых автоматов зазывно мигали, пахло кофе, сигарами и... деньгами. Осторожно ступая, Каролин прошла к стойке и, зарегистрировавшись, получила предупреждение, что не имеет права развлекаться в казино, но может пользоваться бассейном и прочими услугами гостиницы.

«Черт, зачем напоминать о моем возрасте, я и так знаю... Закон есть закон, до двадцати одного года нельзя распивать алкоголь в общественных местах и приобщаться к азартным играм», – с раздражением подумала она.

Номер обошелся в сорок долларов. Каролин подсчитывала, на сколько дней хватит сбережений. На две-три ночи – максимум, а что потом?

В дверях лифта столкнулась с симпатичным молодым человеком. Нечаянное прикосновение рук привело Каролин в трепет, она зарделась, а он проникновенно сказал:

– Добрый вечер, мадам.

– Добрый вечер.

– Вам везет сегодня?

– Да...

– А мне нет.

– Жаль... может...

– Да, да... Может, повезет когда-нибудь. А Вы не хотели бы составить мне компанию за ужином?

– Я?

– Впрочем, у такой красивой женщины наверняка есть с кем провести вечер.

– Нет, я одна.

Лифт остановился, Каролин заторопилась к выходу, но настойчивый парень преградил ей путь.

– Хотите, я Вас подожду? Не отказывайте мне. Вы мне нравитесь.

Каролин на секунду испугало его упорство, но, неожиданно для себя, она ответила:

– Я не против, только... надо найти мою комнату.

– Без проблем... Я вам помогу...

Вдвоем они отыскивали номер Каролин. Бросив сумочку на стол, она увидела свой багаж и, смутившись, слегка покраснела:

– Мне надо переодеться.

– Я подожду, – ответил он, впиваясь в нее взглядом карих глаз.

Торопливо выхватив новую кофточку, Каролин поспешила в туалетную комнату. Закрыв дверь на замок, сменила одежду, вспушила волосы, и удовлетворенно улыбнулась отражению в зеркале.

– Я готова, – можем идти!

Они спустились в ресторан. Это было самое роскошное место, которое Каролин когда-либо посещала. На стены, отделанные темным полированным деревом, отбрасывали мерцающие блики свечи, плавающие в стеклянных вазах на высоких ножках. Белоснежные накрахмаленные скатерти в кабинках казались еще белее рядом с темно-вишневой бархатной обшивкой сидений. По всему периметру помещения – старинные картины с охотничьим сюжетом: здесь и преследование оленя, и бивуак с костром и связками убитой дичи, и красивые дамы с развевающимся плюмажем верхом на лошадях...

Каролин остолбенела от окружавшей ее красоты, а голова закружилась от запаха вкусной пищи. Конечно же, ей очень хотелось есть, разве можно обмануть желудок перехваченными в придорожных магазинчиках и на газстоянках хот-догами!

Появившийся официант показался ей принцем из доброй сказки. Одетый в смокинг, с бабочкой, он добродушно и угодливо улыбался, и Каролин почувствовала себя неуютно: ее одежда никак не соответствовала изящному убранству ресторана! Она поежилась, ей захотелось немедленно удрать. Но спутник спас положение, – опустил руку на ее плечо и невозмутимо поинтересовался, что на сегодня в меню. Через некоторое время Каролин успокоилась и в подробностях рассказала о путешествии через несколько штатов. Она уже вполне освоилась, раскраснелась от шампанского и изысканной еды, и, совершенно счастливая, хохотала над шутками своего нового знакомого.

Нет-нет, да и возникала тревога. «А дальше что?» – вгрызалось сомнение в помутневшее от алкоголя сознание, словно белая мышь – в кусочек яблока. Каролин в детстве держала такую мышь в маленькой клетке на прикроватной тумбочке. Это было единственное существо на свете, которому поверялись беды и радости.

Она вдруг представила себе любимого зверька – мышка раздраженно шевелила усами, как бы предупреждала: пора сматываться! Каролин поняла – надо уходить. Уловив растерянность девушки, компаньон, – его звали Пол, – спросил:

– Малышка, а чем ты собираешься заниматься в Лас-Вегасе?

– Ну... я хотела найти какую-нибудь работу, комнату снять в аренду.

– А что ты умеешь делать?

– Не знаю. Поищу объявления в газетах... Я, знаете, очень трудолюбивая и ничего не боюсь.

– Что ж, это хорошо. Пожалуй, я смогу помочь. У меня приятельница держит салон красоты и ей нужны помощницы, она научит, как делать маникюр, массаж, получишь лицензию – вот и будет профессия. Что ты думаешь о такой идее?

– А это возможно?

– Конечно!

Разговор закончился. Подозвав официанта, попросили счет. Расплатившись, покинули ресторан. Каролин, хоть и сконфуженная предложением Пола, все же понимала, что ей выпал редкий шанс. Она с детской радостью заглядывала в глаза мужчине и видела в нем спасителя.

Пол проводил ее к номеру и, распрощавшись, пообещал позвонить утром. Закрыв дверь на запоры, Каролин с облегчением рухнула на широкую постель и безмятежно уснула.

Встать пришлось рано: разбудил телефонный звонок Пола – предстояло знакомство с хозяйкой салона. К вечеру Каролин уже работала уборщицей, с перспективой обучиться на маникюршу, и сняла крохотную комнатку в складских помещениях – без окон, но это не пугало: наконец-то появился собственный угол и забрезжило начало взрослой самостоятельной жизни!

* * *

Прошло полгода. Она сдала экзамены на сертификат специалиста, – но клиентов пока немного. Периодически появлялся Пол, они выезжали за город или посещали кафе, – коллеги подшучивали, называя ее невестой. Но что такое интимная близость – Каролин так и не узнала: Пол не проявлял инициативы, а она боялась потерять девственность. Трудилась на пределе сил – но денег не хватало. Экономила – но заработок уходил на аренду комнаты, свет и газ, а на еду оставались центры. Каролин похудела, осунулась, но домой за помощью не обращалась, а попросить в долг – не позволяла гордость, да и чем потом расплачиваться?

Однажды Пол не приезжал дольше обычного, и Каролин забеспокоилась. Прошла неделя, – но он не объявлялся, на телефонные

звонки не отвечал. Наконец, вечером в воскресенье раздался стук в двери и девушка обрадовалась – перед ней стоял Пол с цветами и коробкой конфет.

От радости бросилась к нему на шею.

– Эй, без нежностей! Как дела?

Неожиданно для себя самой, Каролин расплакалась и в двух словах рассказала, что она совсем без денег, клиентура не ходит, жить не на что, и вообще – никакого просвета.

– Представь – я не смогла набрать мелочи, чтобы купить хлеба, кишки от голода свело, а до зарплаты еще целая неделя. Не знаю, что и делать.

– Для начала, съешь конфету!

– Говорят, шоколад силы придает, – улыбнулась она, торопливо развернула батончик и засунула в рот. Не разжевав, сглотнула, и облизнула губы. Пол молча за ней наблюдал.

– Каролин, а ведь заработать четыреста долларов в день можно очень просто!

– Это сколько же женщин надо загнать на маникюр – штук сто, не меньше! Ну и шутки!

– Да я не про твой идиотский салон...

– А про что?

– М... знаешь, что такое эскорт-сервис?

– Пол, как ты смеешь! Я не понимаю, как тебя посетила подобная мысль! Я думала, мы друзья, а ты...

– Стоп. Сто-о-п! Каролин, я только хочу помочь, денег у меня нет, – на содержание никого взять не могу.

– А я и не просила!

– Не горячись. Подумаешь, один вечер отработать! Ничего страшного не случится. Ты же не невинная девица!

– Как мерзко!

Каролин горько расплакалась.

– Надумаешь – позвони, – жестко, и даже с издевкой, процедил сквозь зубы Пол и вышел.

Два дня она боролась с собой, голод одолевал, а бес внутри упорно нашептывал: есть только один выход – соглашаться.

Попыталась в последний раз найти дополнительный заработок, в самые разные места посылала резюме, ее приглашали на

собеседования. Но – тщетно, ответ всегда был один: «Мы вам сообщим».

Ждала долгие сорок восемь часов, но все – без толку.

На третьи сутки, уже поздно, набрала номер Пола.

– Я согласна, на один вечер.

– Отлично. Когда подвернется клиент – я сообщу.

Сообщу... Это слово она просто возненавидела. Ожидание «сообщения» от важных напыщенных работодателей чертовски надоело. Каролин с удовольствием разбила бы телефон о голову Пола, окажись он сейчас перед ней.

На кухне налила себе полный стакан из-под крана – вода была ее единственной едой. Крупными глотками выпила тепловатую жидкость. В тишине отчетливым эхом отзывался каждый глоток.

Неожиданно раздался звонок. Нервно схватив трубку, услышала на том конце мягкий и вежливый голос Пола.

– Детка, у тебя есть двадцать минут, чтоб собраться, оденься попримличней, я за тобой заеду.

– Но ведь сейчас уже за полночь!

– Да, да, я понимаю, ничего! Осталось девятнадцать минут на сборы!

Каролин заволновалась. Бросилась к гардеробу. Торопливо перебрала вещички. Взгляд остановился на голубой блузке с глубоким вырезом и стильной, купленной в секонд-хенде, юбке.

«Нижнее белье! У меня нет кружевного белья!».

Каролин с ужасом представила, как ее раздевает незнакомый мужчина, а на ней – обычные белые трусики.

«Что же делать! Поздно, магазины закрыты!»

Взглянула на часы. Наспех натянула одежду. Послышался звук машины и стук в заднюю дверь.

Пол стоял на пороге с пакетом в руках.

– На, возьми, и не теряй времени, нас уже ждут!

Она несмело взяла сверток.

– Давай, давай, размер твой!

Каролин отступила вовнутрь комнаты, разорвала обертку из бумаги и целлофана – на пол упали ярко-красные кружевные трусики и бюстгальтер. Щеки вспыхнули, ушные раковины горели, будто опаленные раскаленным железом.

«Если б мама видела! Стыд какой! Мне и трусы для этого дела специально принесли. Срам! Хотя – никто же не узнает. Я только один раз попробую. На четыреста долларов можно целый месяц безбедно существовать!»

Каролин сорвала бирки с ценой и втиснула себя в кружево. Старый бюстгальтер расстегнула под кофточкой и вытащила через рукав, затем пристроила чашки нового на пышную грудь – соски просвечивали темными пятнами. Агрессивный алый цвет подчеркнул белизну кожи. Каролин мгновенно оценила собственную красоту – откровенное неглиже придало ей сил и уверенности.

– Поехали, Каролин! Пошевеливайся! – командный голос Пола пронзил ее сверху донизу.

В ответ Каролин показала ему третий палец и крепко выругалась. Пол расхохотался.

– Ну, ты и даешь, малышка. Ладно, не злись.

Сидя за рулем, он искоса поглядывал на девушку и, включив музыку на всю мощь, помчал машину по ночному Лас-Вегасу.

* * *

– Ты божественна, ты невероятна, – снова и снова тиская ее в объятиях, повторял Роберт. Каролин обмякала в его руках, повизгивала и извивалась, в точности копируя героинь в сексуальных сценах телефильмов, когда-то тайком подсмотренных в замочную скважину родительской спальни.

Роберт уснул. Каролин не сомкнула глаз. Она лежала и в свете ночника разглядывала мужчину. Их встреча произошла быстро и просто. Пол ввел ее в пустой номер и ушел. Она разделась и легла в кровать, укрывшись до подбородка, Роберт появился немного позже. Пожалуй, минуты, когда она ждала, показались самыми тяжелыми. Она надеялась, что «покупатель» молод, красив и не садист.

Каролин взглянула на Роберта: в летах, но крепкого сложения, приятен на вид, но никак не красавец. Она тихонько вздохнула и принялась считать, сколько времени ей предстоит «работать». Выходило, ни много ни мало, пять часов семнадцать минут и тридцать восемь секунд. «Гость» откупил ее ровно на половину суток... Стрелки на массивном светящемся циферблате у Роберта двигались так медленно...

Утро. Узкая полоса света пробилась сквозь плотные двойные шторы. С улицы еле-еле доносились звуки города, который никогда не спит. Каролин боялась лишней раз пошевелиться, но, чтобы повернуться и устроиться поудобнее, попыталась подтянуть ногу; движение разбудило Роберта и он опять накинулся на нее. Рык неуголенного вожделения испугал ее, сухощавые кисти жадно мяли тело, оставляя синяки, ложе поскрипывало под ритм впивающейся в нее плоти. Время как бы повисло и не желало двигаться, а торс мужчины то поднимался над ней, то опускался всей тяжестью с бешеной скоростью.

Легко и быстро переворачивая Каролин, как пушинку, Роберт овладевал ей с чувством собственника, стонал от наслаждения и, казалось, акт обладания никогда не закончится. Спинка кровати с громким стуком билась о стену, и Каролин стало стыдно – ведь в соседнем номере, конечно, все слышно.

Для Каролин его последние конвульсии страсти и громкий стон, после которого он судорожно сжал зубы так, что они закрипели, стали новой неожиданностью, повергшей ее в трепет. «О-о-о», – с облегчением выдохнула девушка, надеясь выскользнуть из его рук, но не тут то было: Роберт сжал ее ногами и рывком, откинувшись на спину, посадил к себе на живот.

«Ну, сколько же можно? – отчаялась Каролин. – Когда же он насытится, свинья этакая! Сил никаких нет!»

Она заплакала – едва живая от усталости, хотела исчезнуть, улетучиться...

Роберт, увидев ее слезы, решил, что она без ума от него. И, как опытный покоритель сердец, победительно засмеялся. В экстазе соития он даже не подозревал, что Каролин не обладала никакими сексуальными навыками, и не могла оценить его мужскую мощь, которой он так гордился. Ее невинность и детская неопытность, припухлость груди и родинки на бедрах вновь подхлестнули желание. Девушка искренно удивлялась. Казалось, что матерый жеребец никогда не слезет с оседланной кобылки.

– Да, да детка. Я опять готов!

Она крепко стиснула зубы. Прикрыла глаза длинными ресницами и думала лишь об одном: «Четыреста, четыреста долларов,

четыреста...» Полоса света меж шторами двигалась то вправо, то влево. Вверх – вниз, вправо – влево... Каролин потеряла сознание.

Роберт не сразу заметил, что с ней случилось, он дошел до испуга и только освободившись от напряжения, в изнеможении, почувствовал, что в своей неге он одинок. Мышцы партнерши расслабились, зрачки закатились вверх, на губах появилась пена.

Он похлопал ее по щекам, сбрызнул лицо холодной водой, его сердце бешено колотилось. Наконец, Каролин очнулась. Роберт поднял ее на руки. Ругая себя последними словами, качал, как маленького ребенка, носил по комнате, целуя и приговаривая:

– Только не умирай, только не умирай!

Черт подери, эта хрупкая девчонка была единственной, сумевшей выдержать его неумный напор в течение целой ночи – другие, по обыкновению, бежали, не дождавшись до утра и забыв про вознаграждение. Возможно, именно в этот момент к нему пришло решение – оставить ее у себя надолго.

* * *

Дымка воспоминаний на мгновение рассеялась. Каролин, встав из-за стола, вытащила из холодильника вчерашний сэндвич. Откусила, медленно пожевала, потом насыпала молотый кофе в медную турку. Аромат постепенно заполнил комнату и приятно защекотал ноздри. Она могла отказаться от чего угодно, но не от настоящего Гватемальского кофе. Да, к этому ее приучил Роберт.

В то памятное утро он кормил ее завтраком с ложечки, дал снотворное, уложил спать. Поздно вечером она проснулась и в полумраке спальни испугалась: а вдруг Роберт бросил ее здесь одну, не заплатив, и не вернется! С трудом присев на кровати, Каролин включила свет и остолбенела от удивления.

Весь номер был заставлен огромными вазами с цветами. На полу, стульях и креслах лежало множество ярких коробок и пакетов. На столике аккуратно расставлены бархатные футляры и футлярики. Девушка не знала, радоваться или нет. Она потянула первую попавшуюся коробку, но не удержала, и из нее, под шорох папиросной бумаги, выскользнуло красное блестящее платье. Легкая ткань улеглась на пол и прикрыла ступни Каролин. Она попыталась встать и застонала от саднящей, ошпаривающей боли в промежности.

Схватив платье, уткнулась в шелк и горько заплакала, скорбно раскачиваясь в такт и тихонько голоса по-бабы. На алой материи слезы превращались в темно-багровые пятна. «Замаливает грехи», – подумала, и, медленно перебирая ногами, двинулась к ванной.

Дверь распахнулась – на пороге появился Роберт.

– Мальш, ты проснулась?!

Каролин с воплем ринулась от него.

– Нет, нет, я не трону тебя, прости... прости... Тебе нравится? – повел он рукой, показывая на коробки и свертки, заполнившие комнату. – Это все тебе. Все, что захочешь, только скажи, будет твоим!

– Не-е надо. Ничего не надо. Мое время работы закончилось, мне надо идти, – ответила Каролин, опустив руки с платьем и, не стесняясь наготы, сделала шаг в сторону ванны.

– Каролин, ты никуда не уйдешь! Я хочу, чтобы ты жила со мной. Я очень богат, я устрою тебе сказочную жизнь я... я... буду беречь тебя. Не уходи...

Каролин остановилась. В голове пронесся вихрь противоречивых суждений, мысли рождались и затухали в ожесточенных баталиях. Она ненавидела Роберта, но понимала, – такое предложение бывает только раз в жизни. Не зная, как поступить и что ответить, замерла и заморожено смотрела на мужчину.

Роберт бочком протиснулся к столику, из самого большого футляра вытащил кольцо из бриллиантов и рубинов, приложил к ее шее, защелкнул замок и поправил большой центральный камень между обнаженными тугими грудями. Каролин не шевельнулась. Он захотел немедленно овладеть ею, прямо здесь, на полу, но предупреждающий взгляд девушки его остановил.

Сдерживая себя, после долгого молчания вымолвил:

– Ты очень красивая! Пожалуйста, примерь платье.

Она отрицательно покачала головой, отбросив ногой лоскут дорогой ткани. Тогда Роберт сам одел Каролин, поправляя тонкие бретельки на плечиках, оглаживая складки на бедрах. Шелковый подарок мягкими волнами ниспадал до пола.

– Стой, не двигайся! – произнес он, открывая и расшвыривая коробки. Наконец, нашел красные туфли на высоком каблуке.

Встав на колени, Роберт, покрывая поцелуями ее ступни, обувал их в лаковую кожу.

– Не жмут? Размер подошел?

Она кивнула головой. Роберт отступил в глубину комнаты, любуясь ослепительной юной женщиной.

– О... я схожу с ума, – простонал он.

Его восхищение выглядело таким искренним и неподдельным, что Каролин вдруг улыбнулась. В ответ он закрыл ладонями лицо, а когда открыл, глаза его увлажнились. Ее улыбка означала согласие и прощение.

В знак примирения выпили по бокалу шампанского.

Через несколько минут они спускались в ресторан к ужину. По просьбе Роберта, Каролин не одела нижнего белья – на ней было только красное платье, колъе и туфли. Он держал руку на талии девушки и, казалось, наслаждался каждой клеточкой ее тела.

От французского коньяка Каролин вскоре опьянела. Немного позже она уже сидела в зале для покера, тесно прижавшись к Роберту. Похотливая рука нет-нет, а прокладывала извилистые пути по ее ногам, но она покорно сносила ласки. Играли одни мужчины и ставили не менее десяти тысяч долларов. Роберт попросил подсказывать ему, когда идти на повышение, а когда сбрасывать. Каролин ничего не понимала в правилах, но иногда шептала ему на ухо, что делать. Роберт точно следовал ее указаниям, и, что казалось особенно странным, с совершенно ничтожными шансами выигрывал, а иногда скидывал вполне приличные карты, повергая всех в изумление. Их выигрыш в ту ночь – четверть миллиона в баксах.

Целый месяц они провели в Лас-Вегасе, затем уехали в Филадельфию. Роберт купил огромный новый дом на десяти акрах земли. Каролин быстро привыкла к роскоши, наркотикам и толпе богатых людей. Бесконечные выезды на приемы, полеты на частном самолете на шопинг в Нью-Йорк – составляли неотъемлемую часть ее жизни. Роберт баловал Каролин как мог, приобрел на ее имя несколько ресторанов, небольшое ранчо в Калифорнии.

Одна она оставалась редко, в основном с утра, которое начиналось у нее к двум часам дня. Каролин обычно спускалась в столовую, накинув коротенький пеньюар, пила кофе и вспоминала, что случилось накануне, молча поглощала пищу и выслушивала доклад экономки. Это была привилегия хозяйки, а не обязанность.

Минул еще месяц. Однажды, после сексуальных утех, Роберт сказал, что она пополнела, – не плохо бы заняться спортом или поменять режим питания. Каролин взволновалась, беспокойство не оставляло ее, она даже отказалась пойти на вечеринку и битый час провертелась перед зеркалом. Наконец, решила проконсультироваться с врачом насчет диеты.

Каролин не помнила, как вернулась из частной клиники, как ждала Роберта, пребывая в страхе и панике, головная боль разламывала виски. Он появился перед рассветом.

– Роберт, я беременна! – не дав ему очнуться от новости, Каролин повисла у него на руках и, заливаясь слезами, проклинала все на свете и колотила кулаками по его груди.

– Детка, ты что разъярилась?! – обхватив ее, прикрикнул Роберт. – Это же отлично, у нас будет ребенок! Слушай, выходи-ка ты за меня замуж. Я все равно хотел тебе сделать предложение. Я люблю тебя, и кольцо уже давно куплено.

– Я должна подумать.

– Что? И как долго? – изумился Роберт.

– Сейчас сяду и поразмышляю.

– Ну, хорошо...

Каролин пристроилась на краешек кожанного кресла и, подперев руками подбородок, замерла. Через несколько секунд вскинула голову и твердо сказала:

– Я... согласна.

– Отлично, малышка, а теперь быстро в постель!

– Роберт...

– Еще успеем наговориться!

Вскоре он поведал о неких шокирующих деталях. Оказалось, что Роберт женат и имеет двух дочерей десяти и пятнадцати лет. Смягчающее обстоятельство, вызвавшее облегченный вздох у Каролин, – последние четыре года он жил вне семьи.

Клятвенно пообещав немедленно развестись, он предложил ей тут же, одной, без него, на месяц уехать в Европу, чтобы отдохнуть перед свадьбой.

Справить торжество решили в его доме, найти дизайнеров и декораторов большого труда не составляло.

Каролин считала, что без ее помощи праздника не подготовить, но Роберт упрямылся, настаивал на поездке в Старый Свет – ведь ей нужен подвенечный наряд, вот за ним она и должна лететь в Лондон.

В стране вечных туманов первые несколько дней выдались суматошными. Разыскивая нужный фасон платья, пришлось побегать по магазинам, потом последовали бесконечные, изнуряющие примерки, встречи с друзьями Роберта. Она с интересом посмотрела на выезд королевы, поела всевозможные сладости, посещала музеи и театры, порхала по улицам столицы и его предместий, побывала на скачках, – в общем, производила впечатление счастливой невесты.

Однажды ночью приснилась любимая крыса, копошащаяся в кормушке, она перебирала лапками, скребла по пустому дну, ее усы яростно шевелились от возмущения – еды не было. Каролин проснулась от страшного голода. Сосало где-то глубоко под ложечкой, во рту ощущался привкус индюшки – той самой, которую в детстве готовила мать, со специями и соусом.

Жадно сглотнув слюну, отбросила одеяло, зажгла свет и, встав с постели, начала лихорадочно искать в номере гостиницы хоть что-то съедобное. Ничего, кроме шоколадных конфет и остатков пирожного, не нашла. Попробовала – и тут же выплюнула.

Увидела себя со стороны – в роскошных апартаментах, окруженная великолепной мебелью и гобеленами, голодная, как волчица, и совершенно одинокая. Ей стало обидно до слез.

Подошла к окну, о тротуары проспекта бился ливень, ветер трепал свинцовые тучи. Подышав на стекло, Каролин машинально вывела: «идиотка». Прочитав написанное по слогам несколько раз вслух, поняла, что слезы не смоют и не облегчат положения, в которое она попала.

«Глупая бабочка летела на огонь и сгорела по доброй воле», – сказала она сама себе.

Каролин опустила на ковер возле окна, обхватила колени руками и глубоко задумалась. Пелена обманчивой феерии богатства и счастья спадала, обнажая грубую правду: будущего мужа она не любила и даже презирала, перспектива стать матерью на девятнадцатом году жизни – устрасала. Ей хотелось убежать в дождь и

исчезнуть в сверкании молний, раствориться в грохоте грома. Но голод отвлек ее от мрачных мыслей. Новая жизнь в ее теле требовала: «есть, есть, быстрее...» Каролин легла на пол, приподняла сорочку и положила ладонь пониже пупка. Неясная и еще неосознанная радость наполнила ее грудь и она почему-то уверилась, что носит мальчика, которого только она может привести в этот мир. Женщина поглаживала себя по животу и улыбалась, прислушивалась к себе. «Потерпи до утра, сынок, потерпи... мы что-нибудь придумаем...»

Рано утром за завтраком Каролин была сосредоточена и задумчива, что не помешало ей поглощать блюдо за блюдом...

* * *

Каролин вернулась в Филадельфию за три дня до свадьбы.

На лужайке у дома уже готовили арку с цветами и привозили стулья для гостей. Все вокруг украшали гирляндами из белых и розовых цветов. Роберт был возбужден перед предстоящим торжеством и вникал в мельчайшие детали: расписывал по минутам церемонию бракосочетания, и сам устанавливал порядок смены рыбных и мясных блюд и разнообразного десерта. Каролин с улыбкой наблюдала за хлопотами, иногда вставляла незначительные замечания, но, в основном, проводила время в одиночестве.

И вот долгожданный день наступил. Роберт прослезился, когда увидел Каролин, идущую по ковровой дорожке к алтарной арке, словно фея, окутанная ореолом белоснежного шифона, - ее шлейф поддерживали две девочки в воздушных розовых платьях. Возгласы восхищения подтвердили, сколь правильным оказался выбор спутницы жизни для Роберта.

Медовый месяц молодожены провели на Карибских островах. Вернувшись, Каролин обнаружила: в доме поселились обе дочери мужа. Сюрприз – не из приятных, и она поначалу не знала, как себя вести. К тому же, Роберт попросил никогда не упоминать, что она ждет ребенка и не обсуждать предстоящие роды, особенно за обеденным столом, что изумило и даже оскорбило ее, – она никак не могла понять, почему должна молчать о ребенке, который через полгода родится и станет членом семьи, сводным братом барышням, – старшая, кстати, была моложе Каролин всего на несколько лет.

Роберт, став супругом, вдруг резко изменился, они спали в разных комнатах, что, впрочем, не очень-то и огорчило молодую женщину. Теперь он украдкой целовал ее по утрам, или вечером, если возвращался не очень поздно, оглядываясь, чтобы дочери не увидели. Если у него выдавался свободный день, полностью посвящал его детям, ездил с ними на озеро или в город на обед, выводил в театры, в гости к друзьям.

Большой дом позволял Каролин редко встречаться с падчерицами, но атмосфера исподволь накалялась. Казалось, что за каждым ее шагом наблюдают. Она пыталась спастись от посторонних взглядов. Чтобы не привлекать внимание, даже скрывала растущий живот. Искала убежище – и не находила.

Иногда Каролин уезжала в магазины и подолгу выбирала обновки для малыша, шторы для его будущей спальни, купила кроватку и кресло-качалку. Постоянно задумывалась, будет ли Роберт помогать ей воспитывать ребенка, купать его, кормить, но все чаще ее одолевали сомнения...

Однако, несмотря на предстоящие роды, Каролин находила время и для своего маленького бизнеса. Рестораны, купленные Робертом на ее имя, процветали, она следила, чтобы меню отличалось разнообразием и персонал был обходительным и вежливым. Уехать из дома на часок – то же самое, что получить глоток свободы. Поговорить с менеджерами, увидеть их улыбки стало必要ностью. Ей хотелось, чтоб хоть кто-нибудь интересовался ее самочувствием и при случае помогал подняться со стула. Уважительное отношение служащих заменяло внимание, которого она была лишена дома, да и теплоту души, какой никогда и ни к кому не испытывала.

Повара придумывали новые блюда и называли их ее именем, это трогало до слез, она наконец-то чувствовала себя нужной и не безразличной окружающим.

* * *

Каролин очнулась от наплыва воспоминаний, сердце закололо, и она подумала, что давнишние обиды так и не прошли, сколько бы она ни пыталась забыть о них. Они наполняли сознание застарелой тоской.

«Пожалуй, этой женщине из России я отвечу и опишу ей мою историю, получится новелла в электронке».

С этой мыслью Каролин, поставив пустую кружку из-под кофе в мойку, взяв ключи от машины и сумку, отправилась на работу.

Александр Аханов
ГЛЕБ
*(из цикла «Легенды
 Карской экспедиции»)*

Три дня тому назад Глеб приезжал на сотую буровую помочь одному из водителей отремонтировать электропроводку на машине. И хоть он не был автоэлектриком – напротив – его специальностью было электрооборудование грузоподъемных кранов различного достоинства, его часто просили водители «посмотреть» то реле, то радиоприёмник. Получалось неплохо, и сейчас, отремонтировав забарахлившее реле и пообедав, отправился «домой», на полпути вспомнив, что забыл в балке сумку с инструментом. Что ж, бывает и такое. Возвращаться было поздно, да и не хотелось, и он решил отложить повторный визит «до лучших времен».

Эти «времена» наступили через три дня после посещения «сотой», когда потребовалось срочно разобраться, с отказавшимся подчиняться краном Доктора. Машина стояла как «железная» – стрела не двигалась, потому что генератор вдруг отказался выдавать напряжение. Быть может, из-за солярки, лужа которой растеклась вокруг трактора.

А, может, и не солярка, которую Доктор неосторожно пролил на генератор, тому причина – всё оборудование было основательно подношено нещадной эксплуатацией в нетепличных условиях.

Как бы там ни было, отремонтировать «сердце» крана было необходимо. И как назло, на буровой не было ничего, на чём можно было бы съездить к соседям, и Глеб решил пойти на лыжах. Тут каких-нибудь десять или двенадцать километров, а, может, и восемь – кто измерял расстояния на севере?! Тем более, что сотую отлично видно с бугорка, на которой расположилась шестьдесят седьмая.

Он вышел из балка мастера, где слушал рацию, скрипящую и шуршащую от атмосферных помех. Кто-то кричал в эфир, что на Базе с перепою преставились четыре человека и потому из Главка вылетает комиссия... Затем все утонуло в скрипе и скрежете атмосферных разрядов – наверное, где-то в дальней дали готовилось разыграться северное сияние. Ничего себе – «сразу четверо». Это сколько же нужно выпить? По ведру на брата? Неплохо повеселились...

Глеб взял воткнутые в снег возле балка лыжи, застегнул крепления, постоял возле буровой, послушал мерный рокот дизелей, лязг труб и звон инструмента, свист и рев газа в отводной трубе. Издалека эти звуки слышались совершенно иначе, привлекательнее и музыкальнее. И пошел себе дальше. Оранжевая и шершавая, как марокканский апельсин, Луна подсвечивала дорогу, и она от буровой до буровой просматривалась хорошо. Морозец был слабеньким, ветра не было вовсе. Правда, там, где вроде бы находилось Карское море, столпились темные тучи, готовые обрушиться на притихшую тундру холодную свою ношу. Пока они были неподвижны и не представляли особенной значимости.

Цель его путешествия приветливо помаргивала огоньками, на фоне сизо-серого неба видны были какие-то холмики, а дальше всё сливалось в один сплошной темный фон, незаметно переходящий в те самые тучи на горизонте.

Успешно скатившись с пригорка, Глеб «удало», как ему казалось, зашаркал по блестящей, как полированный алюминий, дороге. Ноги то и дело разъезжались, Глеб с досадой пожалел, что на буровой не держат коньков – как раз по насту! Впереди, слева, открылась широкая ложбина, заросшая высокими (до груди!) карликовыми ивами, сплетённых меж собой корнями и ветвями таким причудливым и невероятным образом, что вырвать их из земли, или хотя бы из снега, не смогла бы никакая мыслимая сила, кроме, разумеется, Человека Разумного.

В ложбине залегли глубокие, резкие, густые как мазки китайской туши тени. Глеб свернул с дороги. Снег под деревьями был истоптан, но не людьми. Странные следы... Крестики, точки, борозды, вмятины! Ух, ты! Сейчас из снега поднимутся (и будет их непременно трое!) мерзкого вида бандиты и... А собственно, что им тут делать? Скорее всего, это местечко хорошо для пристанища

волков, например. Он поёжился и похлопал по унту, в котором грелся нож. Тот был на месте. Конечно, им можно уложить одного волка, но если их будет несколько? Полярные волки крупнее обычных «гамбовских» или «брянских». Правда, мало их. Пока что в экспедиции никто не пострадал от их зубов, а вот под Уренгоем, Салехардом случаи были. Там больше волки-полукровки, помесь овчарок и «санитаров леса», орудуют. Они не боятся человека.

Глеб остановился, достал из кармана «ТТ», сунул за пояс. Пять патронов всего. Даже не постреляешь для удовольствия. Пистолет он достал на Большой Земле после того случая с белым медведем... а патронов ему обещали подкинуть попозже. Разумеется, оружие, тем более такое, носить и хранить чревато, но создатели законов сидят в основном в кабинетах, их охраняют, холят и лелеют.

Конечно же, не каждый день и даже не каждую неделю зверьё появляется на буровых, но лучше в таких случаях иметь «длинные руки», чем дрожать за свою или еще чью-то жизнь. Пистолет оружие универсальное – сигнал подать в случае опасности. Костер, в случае чего разжечь! Словом, многоцелевая машинка, нечто вроде всепогодного бомбардировщика. Ружьё вон какая габаритная штука-ковина, а этот «прибор» лежит себе и лежит. Поближе к сердцу... Американцы ведь живут с оружием, Швейцария полна автоматов и ничего – живут. И в России до 1917 года короткоствольное оружие купить было не большой проблемой. Официально. С ним ведь увереннее себя чувствуешь хоть в тайге, хоть в ночном городе, хоть у черта на куличках, где он, Глеб, собственно говоря, сейчас и находится...

Он улыбнулся, вспомнив небольшую историю, связанную именно с пистолетом. В тот вечер, когда он обменял «ТТ» на свою пятизарядку – МЦ-21-12, у одного знакомого, пока поговорили о том, о сём – он пропустил последний автобус в центр города и теперь ему нужно было с окраины выбраться на улицу Республики, где ещё можно было «поймать» какой-либо транспорт. Он шёл проходными дворами, думал о чём-то, пистолет приятной тяжестью оттягивал ремень. И тут услышал голос:

– Ты! Чё тут делаешь?

Как хорошо, что никакой вездеход не прокатился по этой долинке! А какая здесь тишина! Белое Безмолвие, описанное Джеком

Лондоном. Безмолвие Аляски оно, конечно – безмолвие... относительное. А здесь и зимы посуровой будут, чем на Юконе и Клондайке и Безмолвие, соответственно, еще безмолвней... Здесь аж 71 параллель, ни горы, ни тайги, сдерживающих гуляку – ветер. Арктика – мачеха и пустыня – тёща! Костер здесь не так запросто разожжешь, как в тайге. Я-Мал – край земли. Так называли это место хозяева этих мест ненцы и были совершенно правы. С этого самого края в буквальном смысле можно сверзиться по недогляду – высок!

Глеб однажды весной стоял себе на берегу, никого не трогал, любовался перелетом птиц и тут... «край земли» пошел трещинами, хрустнул, хрумкнул и поехал вниз, к морю. Глеб на четвереньках пополз в сторону – глыба земли величиной с самосвал ухнула с высоты на берег, разлетевшись вдребезги. Но и он не удержался и кубарем скатился вослед на прибрежный песок. Ничего, обошлось.

Глеб выбрался на дорогу. Ни с той, ни с другой стороны не доносилось ни звука, если бы не дорога, вихляющая меж холмов, да несколько вешек, притулившихся на обочинах – не подумать, что и сюда достала всесокрушающая цивилизация. Луна нырнула в белесые облака, но рассеянный свет и мелькающие неподалеку огоньки «сотой» не давали сбиться с пути. Через полчаса он подходил к железной елке. Все было нормально: буровой станок жил своей железной жизнью – шипела и гудела сварка, кто-то на самом верху гремел ключом, непринужденно упоминая всуе имя господне, сварочный кабель вправился в снег, а возле столовой спали несколько собак, пушистых, толстых и похожих на белых медвежат.

Глеб с кем-то поздоровался, кому-то махнул рукой – на севере обычно не пристают с расспросами. Пришел, значит нужно. Он зашел в балок с надписью «Гостиница Желток», как явствовало из надписи на его стенке – здесь он проживал несколько дней назад – взял в тумбочке сумочку с инструментом. Затем поужинал в столовой и вышел на улицу. Тучи немного сдвинулись, редкие снежинки полетели вдоль «улицы», в растяжках антенны радиостанции зашвистел ветер. Вот те на! Срочно бегом домой! Едва он прикрепил лыжи к унтам, как ветер резко усилился. Даа... Глеб завязал рот и нос шарфом – ветер хоть и не силен, но прохладен!

Вышел на дорогу и побежал, имея ветер в правый бок – 67-я была как раз в створе дороги, и видно ее было отлично, но снег шел

все гуще и гуще, пока не превратился в снежный обвал. Нет! Нельзя доверять обманчивой и капризной природе Севера, сколько раз говорено! Тут погода может измениться по три раза на дню. Он достал из-за пазухи фонарь, включил.

Решил от поворота бежать напрямую, тут вообще рукой подать! Уухх! Нырнул в овраг, выкарабкался из него, снова попал на дорогу. Буровая загадочно посвечивала сквозь косые снежные струи, ветер пока был терпимым и Глеб остановился передохнуть. Жарко! Пока отдыхал, ветер вдруг стих, затем изменил направление, ударил будто огромной мягкой подушкой и так закружил, завыл, зашвистел, швыряя ему снег в лицо, что перехватило дыхание, а огни буровой будто выключили! Мать честная! Это куда же идти? Он перевел дыхание. Подумал, побежал далее, имея опять ветер справа. Мятающийся свет фонарика то освещал путь, то уходил вверх, высвечивая мириады снежинок, хлопотливо лежащих на свое ложе. Снова оборвалась снежная пелена – впечатление было такое, будто разорвали посередине здоровенную простынь, и в эту дыру стало видно, что к своей вышке он не приблизится ни на сотню метров.

Таак... И куда это он бежал, позвольте спросить, Глеб Иванович? Вот здесь где-то дорога, ... поворот на Подбазу... далее на сотую, а вот и на нашу деревню... Проскочил... Ну, ладно, начнем сначала. Глеб, освещая путь фонариком, пошел не спеша, не тихо, не быстро – в самый раз – напрямую. Вот они – огоньки его буровой – километр? Два? Не прошел и половины расстояния, как налетел ветер, завертел снег и... пошло! Липкие, громадные снежинки размером едва ли не в пятак, казалось, с грохотом хлопались на снег, на шапку, на лицо, намертво приклеиваясь к ресницам.

– Заставь дурака богу молиться! – Глеб с раздражением стирал снег с фонарика. – Ну, сволочь!

Ничего не было видно, буквально ничего, кроме снега перед носом. То самое состояние, когда говорят: «Ни зги!». Влип. Он крутил головой, высматривая огни, но в мутной, кисельной плотности субстанции далее, чем на расстояние лыжи, не видно было ничего. Кроме снега, разумеется, и самих лыж. Может, в снег закопаться, пока не поздно? Черт его знает! Он насторожился: в шип ветра вмешался некий посторонний звук, непонятный, чуждый природе

тундры. Глеб не мог понять, что это такое, вертел головой – гул уже стучал в уши, проник в грудь и живот и застрял там.

– Интересно – какая-то зараза так звучит? На буровую не похоже. Вертолет в такую погоду не летает – если, конечно, летчик не самоубийца. Самолетов здесь сроду не наблюдалось, они летают восточнее. – Глеб, урча все это вслух, чтобы перебить нарастающее волнение, пошел вперед, на звук. Он почти ощупью взобрался на пригорок, кособочась и прикрывая лицо от назойливого снега. Гул стал сильнее, и все пространство перед пригорком засветилось огненным шаром, испуская сотни маленьких огненных же стрелок.

Красиво! Глеб оглянулся – сзади тоже светился воздух, и в этом свете огромные, наверное, величиной с чайное блюдце, снежинки неслись со скоростью ветра, вращаясь и покачиваясь, сверкая и помаргивая, как некие арктические атмосферные медузы.

– От, сволочь, да что же это такое?! Да, такого он ещё не видел, и сразу полезли на ум истории о Снежной королеве, снежном человеке, зеленых человечках, летающих тарелках и прочей мистике. Было не страшно, но очень неприятно. Неизвестность всегда страшнее, неприятнее, непонятнее самой жуткой реальности. Он стоял и смотрел, как световой шар, надрывно гудя со скоростью тяжело груженной машины, приближался к «его» пригорку.

Сотни полосок света вдруг разом слились в три луча и рыскали, качаясь и временами исчезая почти совсем, потянулись к Глебу. «Угол падения равен углу отражения» – почему-то вспомнилось ему.

Направил фонарик на звук и три раза включил и выключил его. Звук и свет замерли вдруг в нескольких десятках (или сотнях) метров, два луча погасли, а один медленно пополз прямо на Глеба. «Вот те на! А если и в самом деле летающая кастрюля приехала?» – Глеб выгасил пистолет, передернул затвор:

– Застрелю, если хоть один тарелочник агрессию проявит! Ах, вы, господа налетчики! Пистолет-то кстати оказывается...

Луч... меж тем пополз обратно, словно приглашая Глеба следовать за ним. Глеб сунул пистолет за пояс, застегнул ватник:

– Ну, ладно... Раз приглашают – пойдём! Отплеываясь от липнущего снега, последовал за лучом. Он не боялся, только озноб,

или нечто в этом роде, забрался под одежду и мелкими мурашками бегал по телу. Но руки-ноги не дрожали, и это вселяло уверенность, что агрессивного инопланетянина он прикончит.

Луч погас, вспыхнул мягкий свет, и Глеб... буквально носом уперся в снежный сугроб, изображающий из себя мощный... «КрАЗ», или, как его называют – «лаптежник», за широченные и разлапистые колеса.

– О! Мать твою! А я думаю, кто это такой шустрый в пургу по тундре рассекает?! То ли ненец на «Буране», то ли самолет упал? – Вылезший на подножку водитель с удивлением рассматривал Глеба. – Ты что здесь забыл? Песца, что ли, промышляешь? Специалист, язви ты в душу! Откуда? С подбазы?

Глеб узнал говорившего – это был известный в Карской экспедиции водитель, по прозвищу «Полублатной», – матершинник, пьяница, но толковый и опытный «водила». Казалось, не было ситуации, из которой тот не находил выхода.

– Э! Какой там песец! – Глеб снял лыжи и забросил их в кузов. – Чуть самому «песец» не настал! Вышел с «сотой» на «шестьдесят седьмую», а метель как даст! Дохнуть не дает, стерва! Да ещё ветер направление изменил! Куда идти – хрен его знает! А тут ещё гул, свет непонятный! Мандраж в животе начался – кишки трясутся. Я уже на летающую тарелку грешить начал... А ты чего мотаешься, вон погода какая?

– Да вот... тоже... Выехал, тихо было. Думал быстро обернуться – на буровые кое-каких железяк подбросить, а вот как ты, в эту самую круговерть попал. Падло, а не погода! Снегу намело по самые подножки! Да моментом! А движок у меня будь здоров!

Полублатной даванул акселератор и двигатель взревел мощным, трубным звуком.

– Садись!

Машина тронулась, разбрасывая вокруг каскады снега и света, чем не НЛО!? А ещё минут через пятнадцать они въехали на территорию буровой.

Водитель пошел к мастеру, а Глеб к себе. Остановился на пороге, оглянулся на сплетенную длинными бинтами тундру, на вагончики, чуть не по крышу всажанные в снег, на «КрАЗ» с холмом снега в кузове, поехал...

Передразнил Лешу:

– «Отнако, мушик, талеко пы сашел!»

Распахнул дверь и с порога обратился к Доценту:

– Толя! Линейка есть? Подошел к карте области, приложил линейку к полуострову Ямал, крикнул:

– Ого!

Приложил еще раз, в другую сторону.

– Ого! Хороша была бы прогулочка! Туда сто пятьдесят... с гаком... туда триста с хвостиком! Или наоборот... Доцент, а заварика чай! Я сейчас Полублатного приглашу – если бы не он, я бы уже к Мысу Каменному подходил. Хватил бы Белого Безмолвия по полной программе! Ты видел, какой снег! Синяки набивает.

1988-1989

Тюмень

Евгений Асташкин КОЛОВРАЩЕНИЕ

1

Ступенчатый раздольный подъезд краснокирпичной четырёхэтажной общаги притягивает их к себе, как секта. Этот подъезд для тинэйджеров почти дом: сверху козырёк, что особенно удобно в дождь, по бокам – бетонные бордюры, на которых можно сидеть, как на скамейке. Между двойными стрелчатыми опорами козырька образовались футуристические окна-амбразуры. В эти проёмы с возвышения хорошо просматривается сквозь верхушки акаций весь дворовый пятачок с приглядевшимся видом: пивнушка и магазин в одном здании с отдельными входами, чуть дальше у вечно шумящей дороги пара продолговатых краше-ных тумб, на которых пенсионеры с утра располагаются со своими семечками.

Угловатая, как бы вся стесанная отроковица Батура в джинсах-резинках на речных ножках, не доходя до подъезда, нашла его непривычно пустым. Обычно в выходные дни здесь к одиннадцати собираются сверстники – «чёртова дюжина», как их окрестила вахтёрша и не пускает, злока, чужих внутрь. Настоящим именем – Зоя Батурина – девочку называют лишь учителя. А среди своих –

одни клички. Девочка досадливо съежила лицо, столь щедро одаренное веснушками, даже на веках, что её анфас кажется подпорченным сплошной коричневой кляксой, сквозь которую сразу и не различишь отдельных черт. Кто первый раз сподобится увидеть такую аномалию, принимается неостановимо помаргивать, давая взгляду ужиться с экзотикой. Батура уже привыкла к такой реакции, которая зимой сходит на нет вместе с веснушками.

Конопатая отшагнула к правому углу общаги, нацеливаясь пытливым взглядом на верхнее крайнее окно. На разбойничий свист никто и не подумал отозваться. Тогда девочка крикнула:

– Алка-скалка!..

И сама удивилась: «Ба! Что же голос стал таким грубым? Уже меняется...»

– Да, Алка-скалка!.. – опять голос как будто не родной.

В форточке на саржевом фоне откадрировалось матовое личико девочки лет тринадцати с жестковатыми каштановыми волосами, челка как бы на отлёте от лобика – проденется палец. Заметно было, что шампунь для девочки – непозволительная роскошь.

– Долго спишь. Жду на ступеньках...

Батура примостила в междуопорном проёме на бетонной плите, достала из кармана линялой спортивной курточки бычок и стала набираться дымом, маскируя окурочек в рукаве. Спустя минуты три из двери выпорхнула на парадное крыльцо подружка, получившая своё двойное прозвище за то, что однажды на перемене после домоведенияхватила по лбу скалкой старшекласника, шаловливые ручки которого сделали неуклюжую попытку обследовать её анатомию. Алка-скалка была в похожей курточке стилия «унисекс» и черных брюках, она тоже никогда не носила платьев, предпочитая мальчишечью одежду. На её броском личике желтели кошачьи глаза, параметры фигурки уже давали обещание со временем не уступать эталонным.

– Не оставила мне! – тут же надула губки обладательница кошачьих глаз, заметив, как подруга отстрельнула пальцем окурочек в непролазность акаций.

– У меня даже на пачку «Примы» не хватает, – оправдание Батуры выглядело неуклюже. – Давай шулять.

Так подростки называли свой промысел: клянить мелочь у прохожих.

Вскоре на улицу вывалился заспанный Артём, десятилетний двоюродный брат Батуриной. У Артёма сгорел дом, и он вместе с матерью нашёл здесь временный приют. Артёму дали кличку Пастух за то, что он иногда умудрялся надаивать кружку молока у пасущихся в ближней лесополосе бурёнок.

Втроём стали окликать всех проходивших мимо шапочных знакомых. Лучше всего удавалось хоть что-нибудь «стрельнуть», когда перегораживаешь дорогу с извинительно-настырной улыбкой, и от тебя спешат побыстрее отделаться.

– Не могу, у меня живот сводит, – согнулась в три погибели Батура, присев возле своей «бойницы» и изломав собой световой клин, ножки в обтягивающих джинсах сложились циркулем, почти без складок, острые коленки беззвучно «чокнулись» с подбородком. – Два дня ничего не ела. Пройдусь по Чередовой, попрошу хлеба.

– Я тоже прошвырнусь – в сторону девятиэтажек, – подхватила идею подруга. – А ты, Пастух, паси лохов, мы принесём хавчик...

Как ни странно, самыми «лохатыми» подростки считали именно тех, кто чаще всех жертвовал в их копилку без дна.

2

Батура намеренно пошла мимо остановки – прибыльное место, обязательно что-нибудь найдёшь. Но выуживать бутылки из урны, как раньше, она уже стеснялась. Она делала так. Становилась в толпе ожидающих автобуса и, опустив долу веснушки, водила одними глазами: не проблеснёт ли на притоптанной земле? Обязательно где-нибудь в пыли покоится мелкая монетка. Взрослые брезгают наклоняться за ней. Батура тогда вынимала из кармана свою мелочь и «нечаянно» роняла её, чтобы потом подобрать и чужую монетку. Вот и на этот раз к её руке прилип бесхозный гривенник.

Два частных дома задрезного вида не обманули интуицию юной побирушки – Батуру просто прогнали. В третьем доме нервно сказали, что ничего нет, хотя умопомрачительно пахло печеным. От этого ванильного духа у Батуры во всю полноту души, заклубилась досада на мать: снова в алкогольной прострации, а

дома ничего, кроме «аш два о», нет. Мамаша больше месяца не держится ни на одной работе. У неё веские основания: «В наше время только пить и остаётся...» Девочке слабо верилось в рассказы матери, что до перестройки все жили, «как при коммунизме». Как ни послушай, вечно всё раньше было лучше...

Батура стала выбирать дом позатейливей – с узорами на кирпичной кладке, с излишествами в виде балкончиков на фронте. Набрела на такой – с непроглядным забором, украшенным сварными завитушками. Нажала кнопку на завидной калитке, не калитка, а вход в бомбоубежище. Во дворе заблефовала намеренно сердитым голосом шавка, вспомнившая о своих обязанностях, лишь когда зашуршали по двору хозяйские шаги. Позвонив, Батура всегда на всякий случай удалялась чуть в сторону, словно дистанция могла сгладить фонетику чьей-то неприветливости. Так и сейчас побирушка, словно ища союзника, встала рядом с тополем-перестарком разросшейся вдоль улицы аллеи. На некоторых тополях кое-кто из породы хитроумных снял снизу кору, чтобы деревья засохли и их с полным правом можно было спилить на дрова – браконьерство от нужды. Машина дров уже зашкаливает за тысячу.

Едва раскрылась калитка, Батура сразу узнала в проёме свою одноклассницу Раю Гуменную. «Влетела в косяк!» – жужукнуло в голове, но вышколенная под указкой улицы находчивость уже действовала на уровне автоматизма. Батура моментально спрятала своё «кляксовое», не хуже любой визитки, лицо в воротник куртки, словно кутая простывшее горло. Первым порывом было ретироваться, но тогда бы она явно выглядела «не по-русски» и этим выдала бы себя. А так легко поставить человека в тупичок: мало ли что может показаться. В меру буратиня голос, Батура прощелбетала:

– У вас нет чего-нибудь покушать?

Одноклассница, сбитая с толку этим обращением на «вы» (так знакомый человек говорить не будет), удалась и через некоторое время подала Батуре добрых полковриги домашней выпечки, не сказав ни слова и не погасив в зрачках стожаров недоумения...

3

Алка-скалка тем временем «окучивала» частный сектор, продвигаясь на окраину города, которую венчали три девятиэтажки.

Пакет оттягивала тройка мясистых помидоров, но это был слабый улов.

С десяти лет девочка стала перекаати-полем. Мать свою, судя по сохранившейся фотографии, не без цыганских кровей, она не помнила – та всё «по тюрмам, да по ссылкам». Когда отец привёл в дом новую «невесту» – мумиевидную бабульку, на щедрый четвертак старше его самого, Алла демонстративно ушла жить к подруге. Потом ей подсказали, что в общежитии освободилась комнатка. За неё надо платить сто тридцать рублей в месяц, но кредитоспособных здесь мало. У Аллы уже около двух тысяч долга, у Пастуха с матерью и того больше. Когда набирается десять тысяч, просто выселяют из общежития.

Отец Аллы живёт недалеко – пять домов по прямой. Предоставив ей самой добывать себе пропитание, он, однако, не упускает случая «повоспитывать» её. Заметив, что она поздно слоняется по улице, он вырывает её из круга ровесников окриком:

– А ну иди домой!

«Домой!» От этого перевёрнутого слова Аллу коробит – отец имеет в виду её общагу. Потом он находит её в комнате и начинает совершенствоваться в рукоприкладстве. Если у неё высыпается из кармана мелочь, может отобрать. Сам он живёт на пенсию жены-бабульки. Иногда сдаёт частным скупщикам цветной металл, который летом находит на свалках, а зимой приворочивает из чужих сараев. По его милости во всей округе в частных баньках исчезали алюминиевые тазы.

Не доходя квартал до девятиэтажек, Алка-скалка укоротила шаг: она не узнала угловой частный дом. Раньше его окна были заколочены, а теперь всюду явные следы обитаемости. Надо постучаться. Дощатую калитку открыл темнолицый усач в тубетейке и потерявшем свою стать клетчатом пиджаке с оторванной верхней пуговицей, на месте которой сухим типчаком кустился пук ниток. На дежурный вопрос голодной отроковицы он едва ли не обрадовано прочертил руками кривулину в сторону веранды:

– Маладес, захади, будешь покушать...

В центре полутёмного зала за круглым низким достарханом сидела женщина в вельветовой жилетке с нашитыми на ней продырявленными монетами вперемешку с приколотыми случайными

значками комсомольско-пионерской поры, черные волосы закрыты чрезмерно цветастым платком. На длинном платье то же состязание в несочетаемости контрастных ярких красок, впечатление, словно ручку цветности на телевизоре закрутили до предела. Женщина, явно жена усатого, пригласила девочку за стол.

Алка-скалка села на сосновую отполированную жирными руками скамеечку. Отыскав на столе единственную вилку, она собралась было зацепить самый большой кусок мяса на таком же цветном подносе и вдруг по непривычно длинному туловищу запеченной зверушки сообразила, что она кого-то жутко напоминает. Вилка словно застряла в бесплотном воздухе. На подносе лежала приготовленная к употреблению кошка, – если не она, то явно ничто другое.

– Кушай, кушай! – подбодрила хозяйка.

Гостья отдернула вилку и стала ковыряться в остатках салата. Она слышала, что едят собак, но чтобы кошек... Салат тоже не лез в горло от вида, с каким аппетитом усатый стал снимать крепкими зубами мясо с подозрительной мускулистой конечности, на которой скоро забелели невиданные косточки.

Алка-скалка вспомнила, как нынешней зимой она воскресной ранью на автобусной остановке за углом отсюда увидела нечто неосознаваемое. На снежной синьке, свешиваясь из усеченно-пирамидальной, переворачивающейся на оси урны, застыли прихваченные утренником перламутровые кишки, среди которых виднелся крупный желудок. Рядом лежал на боку, поблескивая изморозью, завязанный мешок с проступившей во многих местах кровью. Видно было, что всё это хозяйство подбросили сюда ночью. Алка-скалка диву давалась: если это от забитой хрюшки, то какой рачительный хозяин выбросит за ненадобностью желудок? Такого не бывает. Требуха, это понятно, хотя в такую разруху и она пошла бы в дело, любой бы взял её за милую душу, только предложи. А чем тогда набит мешок?.. Пыталась она в тот день привлечь внимание остановочных истуканов. Именно истуканы, – уткнули носы в воротники и делают вид, что это их не касается. А вдруг это не свиные внутренности?.. Алле нужно было съездить к подруге-отличнице, чтобы та помогла разделаться с сочинением. Решила на обратном пути позвонить из уличного автомата в милицию или зайти в

опорный пункт, что притулился в подвальном помещении с обратной стороны их общежития. Когда спустя три часа она вернулась от подруги, на этой остановке всё было убрано – не осталось и следа...

Видя, что девочка жуёт лишь хлеб, хозяйка вдруг повела себя совсем уж неадекватно. Она открыла в полу зала крышку погреба и стала, как глупенькую, подманивать к черному квадратному провалу гостью:

– Мне есть два-один интересный места...

Апайка говорила не более чисто.

– Да ты посмотри, сколько банка! – не унималась хозяйка. – Давай, залезаем в погреб и ты всё будешь сама посмотреть...

Почувствовав неладное, Алка-скалка схватила с пола свой пакет:

– Мне пора.

Но усатый преградил ей путь:

– Зачем домой? Совсем ничего не покушал...

Видя, что её чуть ли не силой хотят удержать, Алка-скалка нашла:

– Меня мама на улице ждёт.

– Какой мамка? – смешался на мгновение старообразный приставала. – Обман делаешь...

Гостя воспользовалась этой заминкой и проскользнула мимо рук навязчиво хлебосольного хозяина. На улице она стала дёргать запор на калитке, но он тоже вздумал вытворять фокусы подстать хозяину. За спиной загрохотали по деревянной приступке торопливые шаги. Оглянувшись, девочка увидела, что к ней спешит на всех парусах хозяин с таким выражением глаз, словно он претерпел ущерб от её преждевременного ухода. Девочка из последних сил рванула запор и выскочила за калитку...

4

Сойдясь на своих ступеньках, троица расправилась с добытым съестным, запивая водой, которую набрали в тетрапак из колонки. Чувство голода было обмануто. Но не надолго. Поэтому Пастух предложил:

– Сходим на дачи.

На заброшенных дачах можно было найти недоклёванные вездесущими птицами терпкие плоды ирги, птицы как бы выдавливали сок из этих черных бусинок, хотя какой там сок – если не запивать, всё скоро свяжет во рту. Дачи начинались за длинной вереницей прилепившихся друг к другу стандартных кирпичных пенальчиков – гаражей. Обогнёшь в несколько кварталов длиной гаражный посёлок, и сразу окунаешься в безмолвие тополино-кленовой лесополосы, заглушенной юной порослью.

Троица стала забирать вправо, огибая гаражи – в другой стороне ещё оставались незаброшенные дачки, на которых всегда кто-то маячил. Месяц назад Пастух горько пожалел, что прогуливался там. Возле одного участка, замысловато огороженного прямо-таки «гремучей смесью» из обрезков жести, жердинок, проволоки, старых труб, сетки и даже камыша, ему ни с того ни с сего скрутили руки великовозрастные детины и стали сдабривать правомерные вопросы такими же правомерными тычками-оплеухами:

– Это ты лазал за клубникой? Нельзя отойти за сигаретами, тут же успеют!.. Признавайся по-хорошему, шкет!..

Двойное дуло ружья чиркало ему по носу, его постёгивали крапивой по ступням сквозь прорези плетёнок – носков у него вечно не было. Два часа не развязывали рук Пастуху, видно, хотели наглядно показать, каково зариться на чужое. Чревато!

Направо путь длиннее, зато целее будешь. В этой стороне из-за плохого полива и поголовного воровства все побросали свои участки. Миновав гаражи, троица ступила на широченную, с ювелирным тщанием заасфальтированную площадку, обнесенную бетонными панелями – здесь собирались делать машдвор, но и эта «стройка века», далеко не единственная в городе, была благополучно заморожена. Зато как вольготно здесь кататься на велосипеде, если удаётся его выцганить у кого-нибудь хоть на немного.

Одна из панелей повалилась, и через этот проём все теперь ходят: кому надо перейти через железнодорожные пути, кому набрать хвороста для баньки, кому сымпровизировать пикничок, если не бояться кампании клещей, которые стараются забраться на ветки, чтобы упасть оттуда прямо на вас.

Лесополоса пронизана тропинками. Подростки двинулись по главной, внимая докучливому шурушанию нависающих веток о

плечи. Солнечная крошка мерцала среди разреженных теней от древесных куп. Но вот свет больней ударил в глаза – показалась полянка, полоненная разнотравьем в рост человека. С краю какой-то мужичок сидел на корточках, присматривая за пасущейся козочкой. На горожан всё чаще стала нападать эпидемия – разводить живность чуть ли не на балконах.

Неразлучная тройца с разгону зарылась в травяные дебри, застывшие видимостью не хуже деревьев. Продирались наугад, проваливаясь ногами в канавки и цепляя на брюки бесчисленные колючки. Травы загубели, словно подёрнулись седоватой дымчатостью. Рассыпчато потрескивало под ногами сквозь контрапункт сухого прерывистого шуршания.

Средь густоты показалась двойной дугой примятость от автомобильных колёс, заканчивающаяся рыхлой пирамидкой: кто-то свалил в траву кузовок мусора. Среди битых кирпичей валялась жестяная банка, ещё не схваченная неизбежным колером ржавчины. Пастух выпростал её и потряс на пробу:

– Там ещё что-то есть. Не совсем пустая...

Он нашел в куче старый гвоздь и поддел им крышку. Ноздри тут же атаковал резкий ацетоновый запах.

– Смотри, клей! – с заправским видом определил тщедушный «эксперт». – Ещё не весь высох...

– Можно загнать его сапожнику Самвелу, – деловито прикинула Батура. – На десятку, небось, расщедрится...

– Лучше давай чуфанить, – Пастух явно взял напрокат где-то услышанные слова. – Надо найти пакеты.

Не успели девочки возразить, как он бойко зашагал дальше сквозь разнотравье с банкой наперевес. Спутницам ничего не оставалось делать, как догонять его. Вскоре даже не преградили путь, а лишь сделали жалкое поползновение на это остатки проволочного ограждения крайнего дачного участка, навеки заглушенного пыреем. Среди сорняков квадратно зевала яма бывшего погребца, с которого сняли деревянный верх. Пастух спрыгнул внутрь на желтое глинистое дно и среди сора в этой копилке беспутного ветра, собиравшего здесь всё летучее, нашел измятые полиэтиленовые пакеты. Потом на какую-то картонку налил клею, надел на голову пакет и поднёс под прозрачный купол безобидное вещество, ставшее зельем.

Подружки откинулись на теплую стену ямы напротив Пастуха и, недоверчиво выпятив губки, наблюдали за «кайфующим». Он начинал наполняться беспричинным весельем, делал угловатые движения, подливая новую порцию клея поверх застывшего. Вдоволь надышавшись гадостью, малец плохо скоординированным движением смахнул с лица запотевший пакет. Наклонился в угол ямы, уцепил за уголок, подтянул к себе какой-то замызганный детский журнальчик без обложки и стал рассматривать рисунок во всю страницу. На рисунке был изображен румяный дедок в картузе рядом со стилизованными ёлочками на пригорке. В небе летела ворона. Рисунок обрамлял толстой каймой затейливый орнамент.

– Ха! – Пастух стал тыкать пальцем в жизнерадостного деда, выкашливая неудержимый смех.

Девочки посмотрели на рисунок, но ничего смешного в нём не заметили. Пастух, на миг опомнившись, кивнул на пакеты:

– Попробуйте!

Девчата собрали на носиках гармошку морщинок – очень нужно!..

– Нюхните немного, не растаете!..

Пастух неверными руками снова накапал клея на картонку и кинул пакеты на колени подружкам. Те эксперимента ради с озорным переглядом напялили их на голову и по очереди стали наклоняться над прозрачно-янтарными потёками.

Пастух уткнулся в свою картинку, мелко конвульсируя от смеха. Девочки, пропитавшись испарениями, тоже уставились на столь развеселую картинку, ожидая увидеть в ней что-то новое. Теперь до них дошло: картинка стала живой! Дедок делал разные ужимки. Пастух в изнеможении держался за живот от не проходившего приступа смеха и с торжествующим видом сообщника поглядывал на девчат: дошло? Лубочный дедок одновременно по-разному для троих гримасничал. Алке-скалке он подмигивал, Батуре показывал язык, в глазах обдышавшегося Пастуха лицо дедка вытягивалось жевательной резинкой, которую хотят разорвать напополам: между половинками тоненькие жгутики. Но лицо снова съезжалось, вбирая в себя резиновую нитевидность.

Орнамент вокруг рисунка стал воспалённо ярким, извивался змеиной чешуёй, детали резко меняли цвета, как в калейдоскопе.

Пастух стал водить головой над картинкой, участились столкновения лбов. Девочки попятились назад, а малец взял в руки журнал и стал относить его то влево, то вправо. Было заметно, что он удерживает свой взгляд на одной точке – на вороне. А что же вытворяет ворона?..

Батура не выдержала этой зацикленности движений Пастуха, выхватила журнал и стала передвигать перед собой рисунок, зафиксировав взгляд на птице. Страсти-мордасти! Ворона напряженно следила за девочкой своим налившимся зрачком, который поворачивался в её сторону как на шарнире, сколь далеко бы в сторону ни отводили её изображение. Птица не моргала, были видны даже реснички на её грубых веках. Мурашки прогалопировали по всей спине. Алка-скалка, озадаченная внезапной зажмуренностью подруги, взяла из её рук журнал и стала проделывать то же самое. Но и она не выдержала – хлопнула по нарисованной вороне рукой:

– Следит, зараза!..

Выбравшись из ямы и не найдя нигде ирги, троица на прощанье подожгла остатки плетня чужой заброшенной дачки. Было забавно наблюдать, как бледный огонь перебегал с одной сухой жердинки на другую, оставляя за собой лишь проволоку с обугленными тычками.

5

Снова вернулись на ступеньки клянуть мелочь. Часам к пяти Пастух стал выворачивать свои карманы:

– Давайте подсчитаем, сколько нашкуляли.

Девочки на ладони тоже попередвигали пальчиком металлические кругляшки. Сквозь верхушки акаций нарисовались подвыпившие мужики, вышедшие с кружками пива на террасу пивнушки, и от них к подросткам прочертилась невидимая параллель.

– Не хватает пять рублей на полторашку пива, – выдал своеобразную трансформацию увиденного у пивнушки Пастух.

– Зажала заначку! – покосилась Алка-скалка на Батуру. – Я же видела, что у тебя было больше денег. Добавь.

– Мне нужно сдать в школе пять рублей за лекцию, – стала отбояриваться конопатая. – Тебе хорошо, ты не ходишь в школу. А мне классуха сказала, что поставит пару за четверть, если не принесу

деньги за лекцию. Нужны мне эти лекции! Вечно приходят доценты-шабашники, потреплются о каких-нибудь немецких шванках, как в прошлый раз, а потом плати. Эти вечные сборы! То за одно, то за другое... Я уже и так должна тридцать рублей, хоть бы за долбанную лекцию рассчитаться...

– Ещё бы стрельнуть на сигарету полтинничек, – помечтала вслух Алка-скалка и съехидничала в адрес подруги: – Всё равно придётся справлять поминки по твоей заначке...

Пастух вдруг сорвался с места и прошелся мимо пивнушки. На ходу он наклонился и ловко подобрал что-то с асфальта. Вернувшись, он подбросил на ладони новенькую монетку:

– Я же говорил, когда не хватает полтинника, надо получше посмотреть между ног...

Батуру всё-таки «раскрутили» на пятёрку, и взяли в киоске тяжёлый, потный от холода тетрапак пива «Росар» – по пол-литра на брата. У бабуся, томившейся с семечками за тумбой, купили сигаретку, они всегда покупали поштучно.

Чтобы не смущать прохожих, пошли пить пиво на скамейку за общежитием, где была спортивная площадка в обрамлении живой изгороди. По очереди отхлёбывали из горлышка. Какой-то прохожий, увидев, как десятилетний карапуз тянет тёмную жидкость из пластиковой бутылки, укоризненно обронил:

– Пьёте?

Пастух на миг оторвался от винтового горлышка:

– Я не пью, я за уши лью...

За ним ответ никогда «не ржавел».

Конопатая, отвалившись на спинку скамьи, закинула тощую ногу на ногу и критически поболтала в воздухе башмачком, который уже скоро будет «просить каши»:

– Обтрепались, одна бахрама... Самвел второй раз не зашьёт...

– А ты пошире расставляй ноги, когда ходишь на двор? – ввернул Пастух.

– Дурак!

– Особенно после пива, – невозмутимо дополнил «полезный» совет остряк.

Снова вернулись на ненаглядные ступеньки. Не таясь, пустили эстафетой единственную сигарету. Прохожие уносили на своих

плечах неподъёмные словечки разошедшихся тинэйджеров, – из тех, что в книгах обычно заменяют точками. Градусы подогревали красноречие.

– Хоть бы постеснялись! – не выдержали две женщины, возвращавшиеся из магазина с авоськами. – Курят, ругаются... Такие молодые...

Алка-скалка задрала вверх симпатичный подбородок, венчающий пухлые, почти ещё молочные щечки и с безоглядной бравадой выдохнула в сторону женщин дымок:

– Мы не только курим и пьём. Мы ещё и сношаемя...

Женщины чуть не выронили свои авоськи и поспешили прочь, покачивая головой.

Тут к троице, тяжело ступая, подошла полная женщина в демисезонном плаще. Девочки узнали Захарову, врача-гинеколога из местной поликлиники. У женщины был вид человека, наконец-то нашедшего запропастившуюся вещь.

– Я вам говорила, чтобы вы отстали от моей Ани? Что вам от неё надо? – Захарова упёрлась руками в бока. – Я запретила ей с вами знаться. Нечего вызывать её из квартиры. И эти ваши звоночки... Она и так уже скатилась на тройки, как связалась с вами. А была отличницей...

– Ну и держите её на замке! – огрызнулась конопатая.

– Не ваше дело! Накинулись вчера на Андрея, как будто он вас испугается...

– А что он грозится наkostenять нам? – предъявила встречный счет дружная команда.

– Он теперь и в школе будет следить за Аней, чтобы вы даже не подходили к ней. А то вы её научите...

Конопатая вдруг сбежала со ступенек и, отвесно размахивая рукой, словно что-то взвешивала на ладони, стала напирать на женщину, едва не попадая ей в лицо пальцами:

– Вы непр-р-равильно воспитываете своего сына. Непр-р-равильно! Он не умеет себя вести...

Женщина попятилась, хотя Батура выглядела по сравнению с ней воробышком. Кто бы мог ожидать, что после слов-отбросов уста бродяжки столь резво перестроятся на высокие материи?..

– Вам только и говорить о воспитании!.. Гляди-ка, воспитатель!..

Захарова, мучимая одышкой, пошла прочь, пробормотав возле тумб – скорее для «семечных» старушек, с обычным преувеличением в таких случаях:

– Я думала, она накинется на меня...

Троица сменила свою «дислокацию» – зашла за угол общежития и спряталась между выступами открыток межэтажной лестницы, устроенной в торце здания. Эта лестница бездействовала, но под её нижним маршем тоже было уютно кучковаться.

– А, вот вы где! – на схоронившихся от посторонних глаз смотрела девочка лет одиннадцати с могучим торсом и ширококостными ногами, хотя сама была коротышкой.

– Ничего себе видон! – процедила Батура, имея в виду фиолетовую чёлку коротышки, напоминающую кусок тряпки среди свежей соломы.

– Подкрасила марганцовкой, – потербила свою вызывающую чёлку новоприбывшая.

– Ты лучше скажи, Катька, что ты про нас наплела на дискотеке пацанам? И чего ты шатаешься в нашем краю? Ты уже не здесь живёшь...

– Где хочу, там и хожу, не вам указывать. Я здесь прожила десять лет, – вместо оправданий девочка выпятила грудь и стала напоминать бойцовского петуха.

– Вали отсюда!

– Сначала отдайте мою кофту! Брала на день, а уже прошла неделя.

Слово за слово, и через пять минут прохожие могли лицезреть, что непрощенная гостья уже распластана на земле лицом вниз, и её не по годам мощный торс содрогается от рыданий – звук, как из бочки. Если кто из взрослых интересовался, в чем, собственно, дело, Батура невозмутимо отвечала, холодно шуря глаза:

– Она пьяная.

Лежащая возражала, не поднимая лица:

– Я не пьяная!

И грозила рассказать в инспекции по делам несовершеннолетних, что Алка-скалка бросила школу. В ответ затронутая угрозой лила на неё сверху воду из тетрапака.

В самую лунность Батура возвращалась домой из общежития. Проходя мимо зарослей акации, она в желтой изогелии ночи,

искажающей до неузнаваемости градации предметов, разглядела чьи-то карикатурные ноги под кустиком – туда занесло обросшего мужика, всё лицо в свалывшейся многомесячной поросли, словно мох на круглой кочке. Не вздохнёт, не шевельнётся, словно разбит параличом. Жив ли – не будешь же тормозить...

Неожиданно мужик легко поднялся и побрел следом за конопатой:

– Девочка, подожди!..

Батура припустила со всех ног по своему подслеповатому переулку, отбивая ноги о сплошные выбоины на грунтовке. Преследователь умудрялся держать ту же скорость. Батура захлопнула калитку перед самым носом полуночного придурка...

6

Одноклассники удивились неожиданному возвращению в родные пенаты Алки-скалки. Это событие не осталось без комментария – «не в бровь, а в пятку», как переиначили тинэйджеры поговорку:

– Явилась! Как только вызвали в инспекцию и пригрозили отправить в спецшколу, сразу стала паинькой...

– Кто вам это сказал? – вместо ожидаемого смущения прогульщица принялась на полном серьёзе выяснять виновника «утечки информации». – Опять Катька подметала языком? Мы ей ещё не то сделаем...

У Алки-скалки аж сузились до щелочек глаза от накапливаемой критической массы ярости – приставь только детонагор...

А Батура заметила, что Рая Гуменная все перемены пристально разглядывает ее. «Надоест – перестанет!» – утешала она сама себя. Но одноклассница всё-таки не выдержала и подошла к Батуре. Помявшись, она выдала из себя:

– Знаешь, два дня назад к нам домой приходила девочка, очень похожая на тебя... Она попросила хлеба. Это случайно не ты была?

– Ты дура, что ли! – Батуру трудно было застать врасплох, а тем более смутить.

После занятий, когда семиклассники собирали свои портфели, их задержала школьная медсестра. Она обратилась к девочкам:

– Минуточку внимания, небольшое объявление! Всем девочкам завтра необходимо пройти осмотр у гинеколога, в десять часов. При себе иметь медицинскую книжку и быть чистыми.

Уходя, она добавила в дверях:

– Кто не явится на осмотр, придётся потом брать талон.

Две полные подружки-хохотушки на задней парте посмотрели друг на дружку и одна из них озвучила то, что наверняка подумала другая:

– Мы лучше возьмём талон...

И снова обменявшись взглядом, прыснули в кулачок...

* * *

На следующий день неразлучные Батура и Алка-скалка толпились в сумрачном, пропахшем хлоркой коридоре своей поликлиники – у кабинета гинеколога. Они зашли туда самыми последними.

– А, старые знакомые! – Захарова в белом неохватном халате грузно сидела за столом возле гинекологического кресла, способного вызвать священный трепет. Она чувствовала себя хозяином положения, уж здесь-то подружки прижмут язычки.

И действительно – подружки мялись у двери.

– Что это мы сразу стали такие стеснительные? – не без намёка пропела Захарова не совсем в унисон с текстом клятвы Гиппократата. Записав что-то в своём журнале, она с милой улыбкой кивнула ближней к ней Батуре на жуткое металлическое кресло:

– Вперёд на мины, как говорится!..

Когда девочки после осмотра ушли, Захарова с постным видом посидела молча за столом, потом стала снимать уже ненужный халат, проговорив самой себе:

– Ничего не понимаю... Оказывается, ещё девственницы...

Виктор Богданов **ДЕВУШКА ИЗ ПАПЬЕ-МАШЕ**



Мое воображение предлагает дюжину вариантов того, чем занимаешься ты, находясь дома.

Например, готовишь еду. Или смотришь в окно. Или предаёшься любви с другим мужчиной (для точности – необходимое подчеркнуть). А может, бреешь лобок и принимаешь душ. Или

просто спишь. Или же – гладишь кошку. Зубришь конспект. Разговариваешь с... (впиши сама). Думаешь о... (или пишешь не о...). Рисуешь. Болееешь. – Дюжина набралась.

Но почему ничего из этого я никогда не видел во сне? По причине банальности? Потому, что перечисленное (плюс ещё многое) действительно происходит? Да. Но, прежде всего, потому, что всё это – несущественно.

Вот – сон о тебе.

Комната, из которой исчезли мебель, ковры, занавески – вообще все предметы. Посередине, на полу, абсолютно голая, сидишь ты и, раздвинув ноги, рвёшь книги. Пространство вокруг тебя уже сплошь усыпано разрозненными, чуть помятыми листками. Твёрдые переплёты летят в один из углов и образуют пёструю кучу. Однако справа и слева, в ожидании расправы, ещё высятся две внушительных стопки. Между ними – огромный таз с клеем, видимо, сваренным лично тобой. На чёрно-белом фоне бумаг твоё слегка загоревшее тело кажется слишком живым и горячим. Но колебанья твоих грудей, вызванные резкими движениями рук, странно гармонируют с трепетом планирующих на пол страниц.

Ты замечаешь моё появление и, никак на него не реагируя, продолжаешь потрошить остатки библиотеки. Среди них попадают книги, которые дал тебе я. Тут следовало бы обидеться на столь бесцеремонную порчу моей собственности – или на то, что чтение (по моим понятиям) не пошло тебе на пользу, а я почему-то радуюсь: хоть что-то из предложенного мной тебе сгодится для весьма серьёзного дела.

Разорвав последний том, ты окунаешь несколько листов в клей и принимаешься оклеивать ими ногу. Благодаря тому, что бумага быстро и насквозь промокает, клеится она хорошо – особенно на голени, ляжки, живот. Но ты не ограничиваешься одним слоем, а лепишь по уже наклеенному ещё и ещё, наращивая толщину. Я смотрю, как исчезает незаживший ожог над левой коленкой, как липкие страницы подбираются к твоему гладко выбритому межножью – и у меня начинается эрекция. И чем меньше участков твоего тела остаётся доступно взору, тем сильнее возбуждение моей плоти.

Вскоре ты тоже вынуждена встать – чтобы облачаться в перемешанную человеческую мудрость и глупость было сподручнее. Однако, едва ты наклоняешься за очередным ворохом материала и макаешь его в таз, твой непросохший покров ползёт на изгибах тела. Кроме того, ты рискуешь поскользнуться и всё испортить. Взглядом ты просишь меня помочь. Я охотно погружаю куски библиоткани в крахмал и передаю тебе. Ты постепенно прячешь за ними ягодички, бока, грудь, шею, плечи... Наконец наступает момент, когда закончить работу, не нарушив уже сделанного, ты не можешь. Мимолётно подумав о том, что клейстер похож на слегка разжиженную сперму, я берусь за это сам. Я заклеиваю тебе спину, руки, колени и, дабы ни один лист всемирной писанины не пропал зря, укрепляю дополнительными слоями повреждённые места и сомнительные с точки зрения надёжности участки. Ты стоишь, точно изваяние, почти не дыша, что облегчает мой труд.

Остаются только голова, лицо – и я теряюсь. Но жёсткость твоего взгляда подхлестывает меня. Я понимаю: заклеить и это так же важно, как всё предыдущее. Заклеиваю. Твои непослушные расчёпанные волосы доставляют мне много хлопот. Последнее, что я вижу – насмешливо-грустные серо-зелёные глаза с восточным разрезом. Мне хочется их поцеловать, но что-то меня останавливает. И я залепляю их клочками чьих-то стихов и обрывками расплывающейся философской бодяги.

Теперь передо мной – нечто, смутно напоминающее человеческую фигуру. Вернее – помесь полувывесочной статуи и «объекта современного искусства». Не зная, как избавиться от чудовищной эрекции, достигшей апогея, сев на липкий пол, я с ужасом и долей восторга разглядываю, что мы с тобой натворили.

Дальше, по правилам техники папье-маше, я должен дожидаться, когда бумажный скафандр, стоящий в комнате, высохнет и затвердеет, потом разрезать его пополам и, освободив от содержания, придавшего ему форму, соединить вновь. Извлечённую же основу, в принципе, можно выбросить в мусорное ведро. Я чувствую, что именно этого ты ждёшь от меня сейчас.

Но я не буду делать ничего. Ведь под слоями раскисшей целлюлозы, под серыми расплывами чужих оболочек – стоит и задыхается восемнадцатилетняя девушка, полурёбенок, чьё тело – прекрасно,

интеллект – изящен, душа – подвижна... Я вспоминаю, как ты обзываешь меня постмодернистом – и мне становится смешно. Однако я не буду и «спасать» тебя – насильно тащить из этого плена. Я просто подожду. Я жду. И знаю: пройдёт короткое время – и ты сделаешь движение, шаг, от которого панцирь, сковавший тебя, рассыплется, как истлевшая тряпка.

Я жду. А чтобы не было скучно, думаю о людях, которых встретишь ты завтра. Одни из них примутся чем попало кромсать это жалкое папье-маше, с такой яростью, словно оно из бетона, и выдирают тебя из него – потому что они дураки. Для иных ты сама его разорвёшь, ни секунды не медля – что будет слишком убого, и ты покаешься. Я не хочу составить компанию ни тем, ни другим.

Я жду. Скоро ты начнёшь страдать от удушья и сделаешь шаг. И ошмётки призрачного мира сдует с тебя сквозняком, как пену с ног Афродиты. И моё естество поприветствует тебя торжественным залпом. И неважно, что через мгновение я проснусь и представлю, как ты жарить картошку, зубришь конспект, целуешь другого/мужчину (для точности – необходимое подчеркнуть)...

Всё это – неважно. И, в глубине души, ты, конечно, знаешь – почему.

8 июля 2003г.

Игорь Егоров **ТРИ НОВЕЛЛЫ**

ЗАЧЕМ? **(Письма любви)**

30 сентября

Странно, милый, совсем чужой город и нет улицы, куда можно было бы приходиться к тебе на свидание. А мои волосы ещё рассыпаются по твоим плечам и моя рука ещё в твоей руке (мне кажется, я сейчас оглянусь и увижу тебя!).

Не волнуйся, всё будет хорошо.

Обнимаю тебя!
Лида.

1 октября

Итак, навела сегодня в своей новой комнате порядок: переставила мебель, перевесила зеркало, покрывало с кровати постелила на полке стенного шкафа и туда побросала свою одежду, – потом разберусь.

Соседские мальчики починили замок в двери, любезно помогли перенести мои вещи с пятого этажа, где я жила в первые дни, на четвёртый, хотя я их об этом не просила.

Приготовила кофе.

Читаю стихи французов (моя вера, моя опора в горе... долго тлел наш огонь... долго таил я себя в своём сердце... Я зову тебя, моя мадонна, твоё святейшество, моя нелюдимая дикарка!).

Знаешь, мне хочется новую тунику, только длинную, и крепешин здесь можно купить, белый и жёлтый.

Жёлтый мы сразу же исключаем, а вот белый... Мне бы хотелось бледно-розового цвета. Что ты посоветуешь? А, может быть, взять белый для венчания?

Целую тебя!
Лидия.

3 октября

На днях сижу в отведённом мне в прокуратуре кабинете, оформляю документы. Вдруг входит он. Сначала спрашивает, не заходил ли главный, а затем начинает со мной знакомиться. В первую минуту мне он показался даже деликатным... и глаза такие юные! Но резкая чувственность рта и злила и тревожила меня. Не могу простить себе, что позволила задержать свою руку в его руке... Тогда же договорились о встрече... Не знаю, что со мной творится: я вся как в огне после того...

Забывла сегодня утром твоё письмо на столе: торопилась в парикмахерскую, но на работу всё равно опоздала.

Веслов, мне так плохо; этот человек меня прямо преследует. В какое бы время я не пришла домой, он уже стоит у моих дверей. Из-за него, видимо, и Костя перестал заходить ко мне.

Теперь все слова в письмах к тебе кажутся мне такими фальшивыми.

Я призываю, мой возлюбленный, посмотри в мои глаза! Разве погасла в них любовь? Мои руки повисают в пространстве...

Приди же! Я устала ждать! Позволь уснуть в твоих объятьях, поднести к губам чёрную розу, услышать голос, такой родной и любимый...

6 октября

Люблю тебя! Вчера вечером сказала ему, что мне это всё надоело (итак, меня хватило всего на три дня). Потом я думала о тебе (я буквально вытягиваю из себя слова), а уже позже убеждала себя, что дело того не стоит.

Я только испугалась, что могу тебя потерять. Не понимаю, зачем пишу тебе такие письма. Но к кому ещё я могу писать их? Только тебе. Правда?

Сегодня суббота. Ходила по магазинам. Купила пепельницу, она мне очень понравилась (а мыла здесь действительно нет, и сыра тоже, сыр только плавленый). По дороге меня окликнул Костя. Где я пропадаю? Как? – Костя, – человек, который сразу же узнавал о каждой моей аванюре, даже и не подозревал, что я переехала! В общем, приходи в гости!

Вечером была Людмила (сначала мы с ней жили в одной комнате). Она взяла отпуск. Уезжает в Сочи. «Всё, – сказала, – приеду, буду увольняться!» У нас она с год, а сначала работала по направлению где-то на Севере. Там два месяца промучилась и сбежала (мне ещё повезло, что попала в горпрокуратуру, а то есть ещё районные).

Рассказала, что вчера вечером на неё напали. Рука, говорит, до сих пор болит.

Хорошо, отвечаю, что только рукой отделалась...

Сейчас лягу и буду вспоминать, как ты меня любил...

11 октября

Весь вечер сходила с ума, ночью не могла уснуть, перечитывала твой письма. Под утро незаметно уснула и, конечно же, всё проспала!

Веслов, достала для тебя тихоокеанскую раковину, сантиметров десять в диаметре (удлиненная, с выступами на внешней стороне, которые собираются у основания раковины). Ты рад?

Сегодня поймала себя на мысли, что я всё же легкомысленная. Снова приходил он.

Приезжай скорее! Я тебя очень люблю, милый, очень люблю!

Лидя.

13 октября

В кафе почти никого нет, хотя сегодня и суббота. Взяла кофе и просматривала в «Иностранке» «Давай поженимся» Апдайка. Великолепная вещь, просто наслаждалась! Только зачем они всунули эту вступительную статью о разложении нравов?

В городе несколько храмов. У меня возникает желание зайти и постоять во внутреннем дворе какого-нибудь храма, где, наверное, растёт много роз. Но мне не хотелось бы этого делать без тебя.

Сегодня так тепло, что можно ходить без плаща. Смотрю на своё отражение в витринах и кажется, что я вижу какую-то школьницу.

Можно ли мне дать 25 лет? (Любимый, мне уже не придётся жечь свечи по вечерам, ожидая тебя, и ложе будет пустовать).

Пытаюсь представить тебя. Но у меня ничего не получается: я не могу представить тебя без себя.

15 октября

Веслов, милый, не молчи!

Не знаю, как забыться. Перевожу Жака Рубо.

Вчера зашла в собор. Как сейчас перед глазами – отрешённые лики, поверх туник ниспадают складками тоги... (я рассматривала росписи боковых приделов). Заметила нескольких женщин. У одной из них был молитвенник и букетик фиалок. Под их взглядами я тихо выскользнула из храма. Когда уже выходила, сильные руки обхватили меня и чужой голос прошептал: «Ты моя!...».

Шефу не нравится моё настроение. Что случилось? Отвечаю, что меня убивает пыль и сажа. Часто делаю над собой усилие, чтобы не заплакать. Пять дней не было от тебя писем. Эти дни мне показались вечностью. Без тебя я такая хрупкая и беспомощная...

21 октября

На работе снова чуть не расплакалась: просидела над заполнением пустячного бланка полдня. Сама себе удивляюсь, до какой

степени я стала легко ранимой: любое, даже немного резкое, слово окружающих меня просто убивает. Может быть, это – одиночество?.. Наверное, только женщина до конца понимает, что это такое...

27 октября

Здравствуй, мой желанный! Получила твоё письмо! Как оно долго шло! – раньше на перекладных и то доставляли быстрее. Прямо-таки какое-то «декадентство» на почте!..

Знаешь, а сегодня ровно месяц, как мы с тобой расстались, но, кажется, это было только вчера! Я храню на губах своих терпкое угасание поцелуя. И знаю, вечером мне снова захочется закурить наши любимые... Я до сих пор верю в магические образы их дымок. В них – предсказание нашей с тобой судьбы!

(Смерть моя – время вне тебя, вне твоего зрения; зренье твоё – остановка смертельного бегства, маятник крови, маячащий на вершине взмаха в глазах твоих! Но если я перестану мыслить, двигаться, жить, я не умираю; мой вес больше веса сияния всех совокупностей звёзд, и всё же зренье твоё есть моя смерть, ибо оно замирает, когда я ухожу от тебя; я падаю вне твоих глаз, ибо не свечусь непрерывно амальгамою глаз твоих, не свечусь серым серебром в манящей глубине твоих глаз; и всё же я умираю, в том источник смерти моей; глаза твои – вот моя смерть, не избежать!..).

30 октября

Сегодня с утра шеф с помощником уехали по делу об изнасиловании. Я осталась в конторе одна. Нет, ещё одна девушка, следовательно. Разбирает какие-то бумаги. В общем, наш город по-своему знаменит – на одном из первых мест по преступности в области. Вот и пошла проза. Бывает же такое: думаешь, что ты уже небожитель, и вдруг – бух! – свалишься прямо на землю! Прости меня за сегодняшнюю сухость в письме. Жизнь даёт о себе знать, хотя в душе нет нисколько пустоты... Помнишь, мы с тобой читали: «Счастье всегда лежит в будущем или в прошлом, настоящее же можно сравнить с маленькой тёмной тучкой, которую ветер гонит над равниной. Перед ним и за ним всё светло, только оно само всегда отбрасывает тень...».

Как только написала это, сразу же представила тебя таким задумчивым философом. Веслов, а ты ведь, правда, больше философ, чем

поэт? Хотя, как поэт, ты всегда разный, всегда неожиданный, всегда интересный! С тобой никогда не бывает скучно! Ты помнишь наши импровизации? Как сейчас вижу: только немножко воображения – и атрибуты и декорации к пьесе «Как он лгал её мужу» готовы! (И всё, как по заказу, под рукой!). А текст этого горе-боксёра ты читал просто великолепно!

Помнишь: гороховые стручки на столе нам заменили лайковую перчатку! Такие моменты остаются в памяти навсегда. И самое главное, что это принадлежит только нам!

Подозреваю, что мне хватит воспоминаний на целый вечер. А как начинала письмо?!

*Целую тебя, мой любимый, мой единственный!
Твоя Лидия.*

2 ноября

Шеф передал мне дело об изнасиловании. (Не знаю, писать или нет, изнасилована и убита старуха). Оказывается, это типичный случай. Здесь секретарша говорила с кем-то по телефону: «Что они всё на старух набрасываются, хоть бы меня кто-нибудь изнасиловал!».

На том «типичном» месте была найдена пуговица. Теперь в моём кабинете ворох привезённой одежды подозреваемого, от грязного белья пахнет чем-то отвратительно кислым и затхлым... Мне нужно проверить, его ли это пуговица.

Без тебя я чувствую себя тоже такой же оторванной пуговицей!

Веслов, милый, приезжай! Ты не представляешь, как мне здесь без тебя... Что-то очень важное для нас обоих утекает, как песок сквозь пальцы. Ты мне всегда был нужен, а сейчас как никогда!

Лидия.

Из дневника Лидии

Зачем?!.. Прошло два года. Вчера мы ехали с ним в одном поезде. Наша встреча была внезапна... И мы совсем чужие... А ведь два года назад... Мы ехали в одном поезде! Это не укладывается в голове!.. И всё-таки мы навсегда чужие... Если бы он тогда был рядом, именно тогда!.. Но этого не... Я всё равно его люблю!..

Ещё немного и я не выдержу этой тоски и пустоты!..

Что это? Ты мне мстишь? За что? Зачем? Ответ! Ведь ты не уйдёшь?! Веслов, милый!.. Где твоя тихоокеанская раковина? Приложи ухо к ней! Приложи скорее! Неужели ты не слышишь в неукротимом, неиссякаемом шуме прибоя, как я тебя зову! Не уходи от меня!..

ПОЛЁТ ВАЛЬКИРИЙ



Дмитрий вышел из подъезда. Холодный ветер сильно хлестнул его по лицу. Подняв короткий воротник пальто и крепко натянув кепку на лоб, он зашагал к остановке, по дороге наборматывая:

*Сыростью резко пахнуло.
Листья летят, прижимаясь к земле
Ещё не остывшей...*

Дмитрий понимал, что стихи не так уж хороши, но его захватила музыка. И эта музыка шла от свободы, жажды перемен в жизни. Но что было ему делать с этой свободой, он не знал и, как всегда в последнее время, шёл в библиотеку. Такое бывает, и очень часто. Свобода свободой, а жизнь проходит. И до боли быстро... На самом деле он будто скрывался от жизни в библиотеке, и поэтому свобода была для него какой-то ненастоящей, выдуманной! И опять библиотека. Каждый день библиотека! Он эстетствовал как Оскар Уайльд, наслаждаясь шедеврами человеческого гения, точно драгоценными камнями. Вот и сейчас он, даже идя к остановке, не просто курил, а эстетствовал – сделал несколько затяжек дорогой сигареты и выбросил её.

А ведь денег у Дмитрия оставалось до смешного мало. Дома он упорно скрывал своё положение – и правильно делал. Начнутся расспросы жены, родителей, истерика. Зачем их травмировать? Но ком горечи в горле не отпускал, и хотелось закричать на весь белый свет: «Надоело!» А что надоело? Надоели каждодневные оскорбления и издевательства, а за что? За что это мучение? И этот начальник вроде как прав. Эксплуататор чёртов! «Но и на новом месте будет то же самое», – с горечью подумал он.

Дмитрий вскочил на подножку автобуса и, протискиваясь вперёд, увидел девушку, чем-то до боли ему знакомую. Но он никак не мог вспомнить, где же он её видел. А девушка смотрела в окно, и взгляд у неё был удивительно светлый. Дмитрию так легко стало от этого взгляда, и он на миг забыл свою подавленность, своё одиночество.

Девушка заметила, что на неё смотрят, и, улыбнувшись, отвернулась.

А потом началась давка, и она пропала из виду.

Два проигрывателя у небольшого столика в музыкальном отделе библиотеки ещё были не заняты.

На этот раз Дмитрий почему-то никак не мог найти в картотеке нужную пластинку. Его интересовали увертюры Вагнера, а всё попадались или оперы целиком или только с ариями из них. Когда же нужная пластинка нашлась, Дмитрий увидел, что одно место у столика уже занято. Спиной к нему сидела девушка с завитками почти детских волос на шее. Он узнал её! Это была та самая девушка из автобуса. Дмитрий сел за этот же столик и надел наушники. Она рассматривала конверт от пластинки Даргомьжского и не заметила Дмитрия. А когда глаза их встретились, внутри него уже звучал почему-то трагический, так ему казалось, «Люэнгрин». Девушка, узнав Дмитрия, снова улыбнулась и вдруг покраснела. Боль опять спряталась где-то внутри него.

«При помощи музыки страсти наслаждаются сами собой», – написал Ницше. Это так. Но если нет боли, то и нет этого острого наслаждения. И он понял, что именно музыка Вагнера ему была нужна, чтобы покончить с собой. Но он не бросится в речку с моста, и не кинется под дребезжалку-трамвай, – всё это глупо. Он поступит умнее... (На пластинке уже звучала другая увертюра).

Дмитрий украдкой всматривался в лицо девушки. Ему нравилась её какая-то детская сосредоточенность, и ему вдруг захотелось написать ей что-нибудь на клочке бумаге. Первое, что пришло ему в голову, было: «Мне тоже нравится Даргомьжский», но, во-первых, это было враньё, а, во-вторых... А что во-вторых? И вдруг – глаза в глаза – и он стремглав сорвался птицей со скалы... Он нёсся вместе с валькириями над бездной смерти...

НЕОТПРАВЛЕННОЕ ПИСЬМО

Почему так: тебя нет и никогда уже не будет, но внезапно вещи, простые вещи: недописанное письмо, книга с заложным листком, закатившаяся под стол таблетка, – словно вернут тебя, и опять глаза жжёт слеза.

Уже никто не позовет меня, как звала меня ты... Ты ушла навсегда, тихо... Без жалоб и криков. Так уходят из жизни сильные люди.

«Молчи, скрывайся и таи...»

Помнишь «Silentium» Тютчева? (Ведь это ты мне открыла Тютчева!) Да, ты молчала, чтобы не делать нам больно, но твоё лицо... Уходя ненадолго в другую комнату, я неслышно плакал, понимая, что происходит непоправимое. Потом шёл в ванную, умывался и с самым беспечным видом возвращался к тебе. И даже раздражался по пустякам, будто бы ничего не происходило. А происходила самая страшная, непоправимая беда.

«Молчи, скрывайся и таи...»

Иногда я включал телевизор, по которому на все лады чихвостили прежних вождей; мороз продирает по коже от их чудовищных искушений и преступлений. Перестройка набирала свои обороты и уже в настоящем таились ростки новых дьявольских искушений... Но что мы, простые люди, могли знать о будущем? Помню: раньше ты всем так живо интересовалась, запоем мы читали «Архипелаг Гулаг», – но теперь я видел: тебе была тягостна вся эта суета вокруг архивов: всё это, по сравнению с тем, что происходило с тобой, казалось чем-то страшно далёким.

Я обращаюсь к тебе, как к живой, но ты и осталась для меня и нашей дочери живой... И всегда будешь живой!

Через каждую твою вещь, через твой почерк, через книги, которые ты любила читать, – проступает твоя душа, твой облик.

А душа бессмертна! Я это точно знаю! И правда то, что несмотря ни на что, я тебя всегда любил, но только сейчас понял: как бы

не складывались наши отношения, это было одно – оттенки нашей любви, как бывает множество оттенков одного и того же цвета.

Я читаю книги, которые ты читала и через них с тобой говорю. В этих книгах есть и твоя душа: ведь и они творили её.

Ты моя звезда, уснувшая в ночи, и свет от тебя идет, и будет идти; в нём моя жизнь! Светлая, светлая моя душа!.. Когда я включаю «Песню Сольвейг» Грига, мне легко и трудно: я вижу тебя!.. Ты никогда больше не услышишь свою любимую мелодию, но душа твоя слышит её – душа твоя посылает свой свет моей душе!

Я умирал в ту ночь вместе с тобой...

Как невыносимо осознавать эту страшную истину: жизнь любимого, близкого человека ускользает навсегда, на твоих глазах и ничего нельзя сделать... Ничего! Даже хотя бы облегчить эти последние минуты жизни.

Я до сих пор не могу поверить в то, что тебя нет! Мне всё время кажется, что ты сейчас войдёшь, и я скажу: «Здравствуй!» Ведь ты не ушла от меня навсегда, правда?!..

Галина Кудрявская И ПЛАКАЛИ ПТИЦЫ...

Повесть

Продолжение (начало см. «ГС» №3)

Дом родной, или возвращение

Иногда у меня возникает ощущение, что я поднимаюсь с каждым годом выше, выше и смотрю на жизнь свою, на ту, что осталась позади, как бы сверху. И многое мне там, внизу, дорого, а за многое больно и стыдно.

И где-то там есть островок, почти затянутый дымкой времени, маленький зелёный островок моего детства. Дом родной, огороженный от остального мира, с одной стороны сам дом, длинный, почти пятнадцать метров, с другой, напротив – навес, сарай, сеник. А с двух сторон забор, плотный, высокий с улицы и низенький, отделяющий двор от огорода.

Большой двор, у сарая собачья будка. Дом белёный, ставни и наличники синие. Крыша покатая из досок, потемневших от времени.

Перед домом палисадник, а в нем неистребимое дерево – желтая акация. Каждую весну её срезают под корень, но за лето она успевает вымахать под самую крышу, закрывая окна. «Застит свет», – говорит бабушка.

Сейчас дом уже другой, не такой, каким остался в сердце, в душе, в памяти. Другие хозяева, другая жизнь. После того, как его продали мои родители, он уже трижды переходил из рук в руки. Видно, наша тоска по дому мешала новым хозяевам укорениться в нем.

Первые хозяева сразу сломали русскую печь, занимающую добрую четверть кухни. И, правда, зачем она нужна, теперь газ. Газ уже давно прижился в нашем доме, а печка стояла. Сколько раз мама повторяла, убрать надо, мешает, как бельмо на глазу, тесно из-за нее. Печь уже давно не топили. Пирог к нашему приезду мама пекла в духовке. Они у нее всегда удавались. Тесто замешивала в деревянной ведерной квашенке, сохранившейся с давних времен. Обязательно ставила на опаре, вставала, крихтя и недосыпая несколько раз в ночь, следила за подъемом, и чтоб не перекисло. К завтраку на столе, прикрытые полотенцем благоухали пироги.

Я пила чай, сидя прямо напротив загнетки русской печи, и мне казалось, что это не мама, а бабушка только что вынула на деревянной лопате из печи лист с пирогами. Нет, с шанежками. Таких шанежек уже никто никогда не испечет. Они были воздушными с румяной, маслянистой, обмазанной сметаной корочкой.

Я ела, и бабушка заглядывала мне в рот, стоя на локоточках напротив и подвигая очередную шанежку.

– Гли-ка, эта так на тебя и смотрит.

Давно уже нет моих бабушек, любимых мною старух, таких разных по характеру и таких одинаковых по количеству любви к ним в моем сердце. Нет уже и мамы, и папы. И если та боль, боль потери бабушек уже переросла себя, став просто доброй светлой памятью, то боль по родителям ещё свежа, рана, ещё живая, кровоточит. Да ещё примешивается чувство вины, недоданности мною им многого. И мне кажется, что если я напишу обо всем, о чем должна и хочу, то боль уляжется, уймется, не станет подкатывать к горлу и душить меня, потому что будет исполнен долг. Последний ли, кто знает. Долги, они растут, как грибы. Если жива душа, то ненасытное чувство ответственности только нарастает с каждым

годом, ответственности перед ушедшими, перед живущими и перед теми, кто еще только будет когда-нибудь.

Дом!.. Дом!.. Дом!.. Как звон колокола, то устойчиво покойный, надежный, когда дом обретен, то тревожный, бередящий душу, когда дом утерян. Родные дома продавать нельзя. Кабы это знать... А и зная, не убережешься, не избежишь. У жизни свои законы, она не спрашивает, как нам слаще. Терпи да приноровляйся.

Вот и приноровляюсь. Нырять туда, в счастливую пору, в реку своей жизни, к истокам ее, где дом и родители, где живет счастье.

* * *

Выбегаю закрывать ставни, толком не одевшись, шаль, телогрейка и калоши на босу ногу. Ничего, коли бегом, раз-раз, и закрою. Но тут такая ночь, ясная, морозная. От звезд кружится голова, падаю в сугроб у сеника, чтобы лучше видеть. Зачерпнула снега в калоши, но холода не чувствую. Звезды мерцают, говорят со мной на своем языке, и, странным образом, я этот язык понимаю.

А за окнами дома на кухне мама и бабушка у стола готовят ужин. Что-то говорят друг другу и смеются. В комнате папа читает газету. Юрка прильнул к окну, ждет, когда начну закрывать. А я зачарована, не могу пошевелиться, оторвать взгляд от этого зрелища. Небо, вселенная, вечный дом, и мой, земной дом, наполненный любовью, дающий мне знак какой-то иной, неземной, нескончаемой любви. И мне не страшно от того, что так мал мой дом перед огромной вселенной, перед этим бездонным небом и мириадами звезд. Мне покойно, сладко... Где там мои Стожары? Вот, вот оно, это созвездие, о котором я вычитала в книжке, но ноги совсем закрепились, и я бегу захлопывать ставни.

Тишина... и сквозь эту пронзительную тишину врзается в мой слух скрип полозьев и всхрап коня. Кто-то проехал мимо. И всё это остается во мне навсегда.

Спустя почти жизнь, я вновь ощутила и пережила такое же сладкое погружение в покой, любовь и надёжность бытия. В храме, после службы. Погашены огни, полумрак, мерцают иконы в киотах, отражая догорающие свечи. Медленно неохотно расходятся прихожане, прикладываются к иконам. И тут меня настигает волна узнавания, не по обстоятельствам, но по чувству. Дом родной...

Словно жил тут и, вот, возвращаешься снова... Такое ощущение прочности, вечности, неистребимости жизни. Несмотря ни на что.

Дом родной... Таинственная взаимная любовь, наша к нему, его к нам. Самое прекрасное время зимой, в холода, когда затапливаются печи. Сначала на кухне, пора готовить ужин. Потом в дальней комнате – контрамарка. В средней комнате печки нет, она обогревается из кухни, вся стена от кухонной плиты выложена кирпичами, со специальными дымоходами. Получается обогреватель, как раз у бабушкиной кровати. Самое теплое место в доме. Мы с братом в комнате у контрамарки. Она круглая, сплошная большая труба, обитая жестью и окрашенная серебрянкой. Сзади есть местечко, накаляющееся первым, мы греем о него озябшие ладошки, а потом усаживаемся на полу перед печкой. Смотреть, как из чуть приоткрытого поддувала полыхают блики огня, наполняя комнату призрачным светом.

Ставни еще не закрыты, и полная луна, заглядывая в окна, высвечивает на стеклах дворцы и замки, дремучие леса. Весь дом наполняется сказкой. Стучит веткой акация, за лето разросшаяся и припавшая к самому окну. Ветер рвет ставни, швыряет снег на крылечко, и кажется, что кто-то бездомный и несчастный просится к нам, и хочется бежать, отпереть двери и впустить его. Но в дверях появляется Мурка, говорит «мяу», занимает место между мной и Юркой, она тоже пришла погреться.

– Ребятишки! – окончательно разрушает сказку бабушка. – Вы где там в темноте запропалились, каша подходит, руки мойте.

Когда я дома одна, что-то меняется. Сейчас папа на работе, Юрка в школе, мама убежала в магазин, а бабушка в сарае со скотиной управляется. Все сразу становится необычным, значительным, живым. Каждая вещь. Со всем можно разговаривать, с буфетом, с зеркалом, даже с печкой.

Хожу чинно, потому что у этого уединения есть ещё одна, особенная, тайна. Тайна моей открытости Кому-то, Кто все про меня знает, Кто любит меня и хранит, и перед Кем нельзя быть плохой. В суете обыденной жизни я забываю об этом, но в тишине пустого дома отчетливо чувствую Его присутствие. Бабушка называет Его Богом. И молится по утрам и вечерам, вставая перед пустым

передним углом. Она говорит, что там должны висеть иконы, но у нас нет икон, теперь нельзя, власти не велют. И папа с мамой не молятся, но когда я болею, а болею я часто, тяжело и подолгу, мама учит меня молитве, нашептывает мне на ухо:

– Ангел мой, хранитель мой, спаситель мой, спаси меня и сохрани меня на сегодняшнюю ночь Господнюю.

Или «день Господень», если это происходит утром.

Мне счастливо в благодатной тишине пустого дома, но вот уже стукнула дверь, бабушка, звеня ведром, возвратилась из сарая. Брякает калитка, и мама спешит через двор с тяжелой сумкой.

Жизнь наполняется иным, не менее дорогим сердцу, содержанием. Я всем существом своим ощущаю, как мне необходимы и присутствие в доме моих родных, но и высокое присутствие Того, Кто там, над нами. Любит нас и хранит.

* * *

Вот и отважилась я войти в свой дом, в наш бывший, родительский дом. Совпали предложение и согласие. Случись это годом-двумя раньше, я бы отказалась, оказалась не готовой. Соседка и мамина подруга, Надя, дружившая с новыми хозяевами нашего дома, в очередной мой приезд вдруг спросила:

– Хочешь, зайдем?!

И я согласилась... И замерло во мне все, когда я миновала калитку. Родной двор, сколько мгновений моей жизни, часов, дней, лет принадлежит ему.

Веранда... Она чужая, пристроенная новыми хозяевами, и ничего не вызывает во мне, никаких чувств. Но вот дверь в сени, дверь в кухню, и я – дома? Где я? Где моя душа?

Столько лет прошло с тех пор, как я видела эти стены изнутри. Почти все изменилось. Нет русской печки, нет обогревателя, нет печки «контрамарки» в дальней комнате. Вдоль стен трубы водяного отопления. Так удобнее, меньше грязи.

Гляжу через окно во двор, сколько взглядов моих тут оставлено. А высоко на кухонной стене толстые гвозди, они так и остались и служат вешалкой новым хозяевам. И память моя бедная, измученная годами разлуки память, рвется наружу. Я перестаю дышать, думать, жить. Я вся там, в ином времени.

– На всех гвоздях что-нибудь висит и только на двух гвоздях ничего не висит, – медленно, втягивая нос, мечтательно произносит Юрка, глядя на эти гвозди.

И мы покатываемся со смеху. Ему восемь, мне шесть, но я точно знаю, что так не говорят – «на двух». Брат непонимающе смотрит на нас. За ним уже числится одна смешинка. Зашел с улицы в дом и спрашивает:

– Что это у вас там стоит в полдвух мешках, чуть ногу не сломал.

Теперь на всю жизнь запоминается и новая.

Я трясую головой, обрывая наваждение. Передо мной дверной косяк, обыкновенный дверной косяк. Но он совсем прежний, узнаваемый. На нем почти невидимые, закрашенные многими слоями краски, но все же различимые глазом зарубки. Это наш рост, Юркин, мой, Вагин, а там ниже, наших детей.

От мысли, что нашим внукам не суждено примериться к этому косяку, боль становится такой нестерпимой, что я невнятно бормочу слова прощания и выскакиваю из дома, бегу через двор, уже никуда не глядя, удерживая рыдания, распирающие грудь.

Жажда вернуться и способность перенести возвращение не совпадают. И вот я снова хочу вернуться, жажду отдать долг, дань всему тому, что было моей жизнью. Людям, событиям, вещам. Своему детству. И дай мне Бог осилить, выдержать это возвращение.

* * *

В нашем доме раньше жили немцы. Мама говорит, что он построен по-немецки, вытянут весь в длину, из кухни дверь в комнату, напротив в другую. С порога весь дом видать, и через окна дальней комнаты я вижу акацию и заглядывающую в окно мою подружку и ровесницу Гальку Горбунову.

Мы договорились до обеда играть в нашем огороде. На улице жаррица. А у нас здесь райская поляна. Бабушка как-то заглянула к нам и сказала: «Ну, девки, у вас здесь чисто Эдем». А это и значит – рай.

Поляна величиной с комнату между четырех яблонь вся заросла мелкой ромашкой. Мягкий пахучий ковер под ногами, густозеленые стены из листьев и потолок – небо, постоянно меняющееся. Лежим на траве, обратив лица к небу. Нас трудно удержать в неподвижности, но здесь мы угомняемся, здесь какой-то особый мир.

Грызём горьковатые завязи ранеток, отчего потом пучит животы. А там, по небу, плывут, меня очертания, облака, унося нас с собой в заоблачные страны. Хочется одновременно и улететь, и остаться. Как там ни заманчиво, но там неведомое, а здесь, за яблоней, мама пропалывает грядку, тихонько напевая. Белый платок прикрывает голову и верхнюю часть лица, до глаз. Быстро-быстро мелькают загорелые пальцы.

– Мам, как ты эти сорняки от морковки отличаешь? – отвлекаюсь от неба, слежу за ее руками.

– Иди, покажу!

Пять минут я напряженно вглядываюсь, ага, кажется поняла, вот уже сорвала три травинки, но мама смеется.

– Это же как раз морковка...

Фу, как жарко, солнце уже в зените, скоро бабушка позовет обедать. Решаем с Галькой спрятаться от жары в сеннике. Тихонько пробираемся мимо Пальмы, закрываем за собой двери. Темно... Только сквозь неплотно пригнанные доски кое-где пробивается солнце.

Залазим на самый верх, под раскаленную солнцем крышу, и задыхаемся от жары и запахов сухого сена. Это еще прошлогоднее, нынче только начинают косить.

Выглядываем через щель под крышей на соседний двор. Три тощие курицы роются в пыли, отыскивая невидимые нам зернышки, вяло взбредивают, почуяв наше присутствие, соседский пес Тузик. Пальма, загремев цепью, подает в ответ голос. Смеясь, скатываемся вниз, увлекая за собой потоки сена. Долго отряхиваемся, вытаскивая из волос друг у друга сухие травинки. Щекотно и весело.

Прикрываем дверь, приложив палец к губам, шепчем Пальме, вскинувшейся нам навстречу, – тихо! Чтоб мама не заметила, и – под навес. Первым делом заглянуть в кладовку. Здесь папино и Юркино хозяйство, мужское, нам неинтересное. На полках инструменты, гвозди. Но пройти мимо, не заглянув, нельзя.

После кладовки склоняемся над открытым лазом погреба. Пахнет сыростью и картошкой, тоже прошлогодней, когда ее вытаскивают, мы любим обламывать белые бородки ростков.

– Это она от тепла растет, – объясняет бабушка.

А не открывать погреб нельзя, пора сушить. Городок наш на болотном месте, вода стоит высоко, в погребе под лестницей яма, как колодец. Папа каждый день вычерпывает, чтобы пол не заливал, а она все прибывает. Иногда он даже два раза в день черпает и двор поливает, чтоб пыли не было.

Вдоль стен навеса поленницы дров, сухих березовых пахучих. Сначала привозят бревна. Несколько дней их распиливают, то папа с мамой, то мама с кем-нибудь из бабушек. Мы с Юркой тоже пробовали, только у нас пила сразу застряла и ни туда, ни сюда. Еле потом мама вытащила.

Теперь на дворе лежат круглые чурки. Но вот папа начинает их рубить, вечерами после работы или в выходной. Торопится, пока дожди не намочили. На громадную чурку ставит ту, которую нужно расколоть. А колет – колуном. Такой тяжеленный топор, мне и не поднять, хрясь! – и готово, пополам. Потом еще – хрясь! хрясь! и собирает полешки.

Как только подсохнут, перетаскиваем их под навес, аккуратно укладывая в поленницы. Здесь и мы пригождаемся, поленья таскать.

– Галька, не набирай постольку, обронишь, ноги зашибешь, – заботится бабушка.

Но я же не могу взять меньше Юрки, у него четыре, значит, и мне надо четыре. Руки уже ободраны, все в ссадинах.

* * *

В сорок девятом году дом решено перестроить. Нам с Юркой и старый нравится, но все связанное с перестройкой вызывает восторг.

Дом наш рубленый, но мазаный и беленый, то ли для тепла, то ли для красоты. В бабушкиной Волчанке рубленые дома никогда не мазали, а в нашем городке такие встречаются часто.

Из-за высоких грунтовых вод нижние венцы сгнили, их-то и собираются заменить. Да еще срубить новые кухню и сени с кладовкой, они из самана и уже полуразрушились.

Двадцатого мая мама родила Валюшку, а в начале июня мы переселяемся жить в сени, женская половина, а мужская в сарай.

Я ждала сестренку, Юрка братишку. Мама всех нас, после первых тяжелых родов, рождает в областном городе, в клинике, под присмотром самых опытных врачей.

Уже неделю живем без мамы, дом потускнел. Все как будто то и не то. Готовит бабушка, Анна Ивановна. Она и при маме готовит часто, но сейчас все не так вкусно. Играем с Юркой во дворе, уже совсем жарко, но бабушка, боясь, что мы без мамы разболеемся, заставляет нас одеваться тепло. Сидим в тенечке, раскладывая на земле цветные стеклышки, рядом ходят курицы, и пеструшка все время норовит клонуть самое красивое стеклышко, от недавно разбитой фарфоровой чашки. Это я ее разбила, нечаянно. Но бабушка кинулась к маме, сказав мне: «Молчи, Галька, тебе попадет, а я в ноги паду, меня, старую, и простят». Конечно, мама ее простила, а у меня теперь зато самые красивые стеклышки на всей улице. Я даже три Юрке дала.

Хлопает калитка, это папа пришел на обед. Какое-то у него особенное лицо.

– Ну, гадайте, кто вам родился, братик или сестренка?

– Сестренка! – кричу я.

– Братишка! – старается перекричать меня брат.

– Валюшку мама родила, сестричку, – говорит папа и смотрит на Юрку, но Юрка совсем не огорчился.

– Ура! – орем мы так громко, что папа затыкает уши.

От крыльца семенит, переставляя с трудом больные отекавшие ноги, бабушка.

– Слышу, слышу, слава Богу, поздравляю, Борис Филипыч с доченькой, все ли ладно там у Ньюры?

Через неделю папа привозит их домой, маму и сестренку. Поезд приходит за полночь. Мы уже спим, но я хитрю, укладываюсь на мамину кровать, чтобы точно не прозевать. Просыпаюсь от того, что мама целует меня и шепчет:

– Тихо, тихо... смотри, кого я тебе привезла.

Рядом со мной шевелится кукла. Такая красивая, каких я никогда не видела. Вся розовая, совсем-совсем новенькая и живая. Почему-то всегда, всю жизнь младенцы кажутся мне необыкновенно красивыми. Вряд ли это просто материнский инстинкт.

Знаю многих женщин, которым и собственные дети в первые дни не нравятся. А я вижу в них какую-то особенную, неземную, красоту.

У дяди Мишиной жены, тети Любы, родилась недоношенная девочка и умерла. Хоронили ее почему-то от нас. Маленький гробик на столе, и в нем крошечная девочка в белом платьишке. Я до сих пор уверена, что она была прекрасна, мне это не казалось. Точное личико ангела.

Потом, через многие годы, у моей подруги родилась недоношенная девочка и тоже умерла, прожив три месяца. На нее я смотрела уже взрослыми глазами и все равно видела ее красоту, хотя это слово здесь не годится, ее совершенство.

Самый большой подарок от мамы, конечно, Валюшка. Смотрю и не могу наглядеться.

– Можно поцеловать? – спрашиваю робко, боясь, что не разрешат, и получаю в ответ – да.

Наклоняюсь к нежной щеке, приникаю к ней губами, ощущая особый младенческий запах, и принимаю окончательно эту девочку в свое сердце.

Сени с кладовкой объединили, разломав перегородку, прорубили небольшое окно в огород, получилась низкая полутемная комната. Наскоро сложили печь-временку, ребенок маленький, июньские ночи еще прохладные, чтобы не застудить. Здесь мама, бабушка, Валюшка и я. Две кровати, сундук, люлька, стол.

Станный сыроватый полуподвальный запах, бабушка говорит, что это от самана, смешанный с запахом пеленок.

Папа с Юркой живут в сарае, и я им немного завидую. Здесь все новенькое и пахнет свежеструганным деревом, нет печки и прохладно. Сарай на месте старого рабочие сколотили за неделю. Получился новый бревенчатый дом с желобом для навоза и отдельным загонем для свиньи.

Жданка временно ночует на дворе у навеса. А мне играть в сарае раздолье. Это же настоящий дом, и даже есть отдельная комната, та, что для свиньи. Собираю подруг со всей улицы.

А дом развалили, бревна, помеченные цифрами из зеленой краски, лежат по всему двору. Немного страшно, а вдруг не сумеют собрать, так и будем жить в кладовке всю жизнь. Но интерес выше

страха, и мы лезем под ноги рабочим. Работа кипит. Двор разгорожен.

– Жизнь цыганская, – говорит бабушка, – а вы, что под ногами топчетесь, прилетит по голове...

Нас со двора прогоняют, и мы идем к бабушке на огород. Здесь сложили печку, и запахи плывут по всей улице. Щи, картошка жареная, пирожки пресные. Рабочих надо кормить. А мы успеваем до обеда нахвататься пирогов с пылу, с жару.

– Опять за столом морды будете воротить от тарелок, – ворчит Анна Ивановна.

Все. Работа остановилась. Ливень такой, что за его серой стеной ни сарая, ни навеса не видать. Пальма и курицы попрятались. Во дворе лужи уже по колено. Мама горюет, что лес, это значит, бревна, намокнут, жди, когда просохнут. А нам радость.

Лило, как из ведра, почти два часа, а потом словно вода в ведре кончилась, сразу дождь стих, и солнце выглянуло. А у нас с Юркой под навесом припрятана калитка от палисадника. Юрка наколотил на нее сверху досок, получился настоящий плот. Канавы полны воды, вот сейчас и поплывем в дальние страны.

Только плот почему-то нас не держит, ни вместе, ни по одному. Идем ко дну. Промокли уже до трусов, канавы глубокие. В очередной раз нырнув вместе с плотом в канаву, я наступаю на стекло. Из пятки хлещет кровь. Скачу по воде и грязи до порога на одной ноге. Переодевание, йод, перевязка и выволочка. Так заканчивается это путешествие.

Вот уже сруб готов. Вечерами, когда уставшие работники, поужинав, расходятся, мы с Юркой все проверяем, осмагриваем, ревизию наводим, говорит бабушка. Щели между бревнами забиты паклей. Это для тепла. Но мазать все равно собираются.

За навесом на улице вырыта огромная яма. Рано утром мама еще с двумя женщинами, помощницами, начинают месить глину. Глину привозят желтую, специальную, добавляют кизяк, воду и для прочности солому. Ох уж, эта солома. Нас тоже пускают в яму, помогать, если бы не солома, то одно удовольствие, а так уже все ноги оцарапаны, горят.

Анна Ивановна отыскивает старые, негодящие, чулки, подвязывает их нам, высоко, под самые ягодицы. Ходим по кругу, чав, чав, поддерживая чулки руками, глина их стягивает.

Консистенция нужна определенная, поэтому мама часто выскакивает из ямы, то глины подсыпет, то соломы потрусит, то воды добавит. Наконец глина готова. Женщины таскают ее ведрами к дому, пригибаясь под их тяжестью. Мы с Юркой вдвоем не смогли поднять. Мама ловко нашлепывает огромные куски глины на стены и разглаживает деревянной лопаткой. Пробуем и мы, пока взрослые не видят. Теперь мы в глине не только снизу, но и сверху.

– Кыш отсюда, – ругается мама, – на вас воды не наберешься, попробуй теперь домыть.

В конце августа перебираемся в дом. Новенькие доски на полу, гладкооструганные, белые, ходить по ним босиком приятно, они теплые, живые. Весной их закрасят желтой блестящей краской.

Два окна в палисадник, пять во двор, одно из них на кухне, особенное, замечательное, трехстворчатое. Ни у кого я таких не видела. А так, все, как было раньше, русская печь, плита с обогревателем, «контрамарка» в дальней комнате. Все на прежних местах. Мы заново осваиваемся, знакомимся с домом, обследуем углы и закоулки, ощупываем стены, выглядываем в окна, словно через новые стекла можем высмотреть что-то новое, не знакомое глазу. Но там все те же навес, сарай, Пальма и курицы.

В средней комнате около обогревателя к потолку крепят легкие полати. Залезать на них нельзя, хотя очень хочется. Они для лука, здесь он хранится всю зиму, постепенно убывая.

* * *

Я подхожу к своему дому. На покосившихся, серых от дождей и времени воротах начертаны строки «Дом продается», разом обрывающие пуповину, связывающую меня с детством, с той реальной и одновременно иллюзорной страной, в существовании которой начинаешь сомневаться, став взрослым.

Но дети, а потом и внуки, берут тебя за руку и пусть ненадолго, но возвращают тебе радостный и возвышенный мир. И в этом мире, сохраненный памятью детства, живет мой дом родной. Тот дом, что остался в небольшом районном городке, дом, живой чувствующий организм, впитавший в себя наши чувства, наполненный ими. В трудные минуты он отдает нам свое тепло, его стены лечат нас и сейчас, существуя реальной реального.

В последний свой приезд в родной город я почувствовала странную отстраненность и мимо дома прошла с меньшим волнением, почти без слез. Видимо, рассеивается, растворяется во времени то наше, что жило в этом доме, затмевается чувствами и мыслями других людей, живущих в нем теперь. Может, только удерживаемые слоями глины на бревнах, хранятся еще отпечатки наших ладошек, оставленные тогда, в сорок девятом, во время перестройки дома. Да зарубки на дверном косяке, да взгляд мой из окна во двор еще живы и зовут меня к себе, но уже слабее, не разрывая сердца.

Я знаю, что до конца дней моих буду видеть во сне не ту квартиру, которую скромно и весело обставляли мы с мужем, молодые и пьяные от любви и счастья. И не ту, в которой прожили потом десять лет, где провели столько бессонных ночей у постелей новорожденных или болеющих детей. Мне будет сниться этот дом, где прошло мое счастливое детство. Но почему-то он никогда не снится мне хорошо. Все в нем что-то не так, все не благополучно. Видно, и он, тоскуя о нас, подает свои сигналы.

Во снах я все убегаю от кого-то, прячусь в своем доме, а он меня не защищает. Крючки не держатся, ставни ломаются, стекла выпадают.

В реальности дом для меня богат, насыщен моей любовью и воспоминаниями, а во сне нищ и убог, не прибран.

И огород всегда черный, или увядающий, или только ждущий посадки. Чего-то требует от меня мой дом.

Старшие внуки, Гриша и Гоша, уже побывали на моей родине, посидели на лавочке у соседки, тети Нади, посмотрели на дом, в котором выросла их бабушка. И для них он стал живым, а не только рассказанной мною сказкой.

Прошлым летом я брала с собой трехлетнюю Сонечку.

– И я увижу то окошечко на чердаке, через которое вы смотрели сверху на улицу? – всю дорогу спрашивала внучка.

Ее воображение больше всего поразило это окошечко. Взглянув на маленький треугольник чердачного окна, она пришла в такой восторг, словно побывала там, на чердаке, заглянула в это окошечко изнутри и увидела, как я когда-то, летчиков, идущих по улице с планером на плечах.

А еще один внук, Илюша, ждет своей очереди. Нынче, Бог даст, и он увидит дом моего детства. И, может быть, когда все мои внуки примут мой родной дом в свои сердца, он и приснится мне, наполненный счастьем.

Продолжение следует...

Жамиля Мухамеджанова
СКЛОН ОСЕННЕЙ ГОРЫ
(отрывок из будущей книги)

Он открыл глаза. Легкие белые занавески плавно колыхались на летнем ветерке. С балкона тянуло дымком, мокрым асфальтом и нагревающейся на солнце травой. Он обвел глазами светлую комнату с двумя кроватями и тумбочками рядом с ними. Больница, понял он, и не удивился. Последние месяцы он часто просыпался в больничных стенах.

Полтора года назад он споткнулся дома о ковер, упал и сломал шейку бедра. Когда тебе за семьдесят, переломы редко проходят бесследно. Чаще всего пожилые люди с такими травмами прикованы к постели на все оставшиеся годы. Он знал это, и безнадежность накрыла его плотным серым полотном. Боль с того времени ни на день не покидала его. Сначала ему неудачно вставили в бедро металлический штырь – он был длиннее, чем надо и нестерпимо натирал кость внутри старого измученного тела. Затем поставили другой штырь, и снова кость мучительно медленно срасталась. Потом начались боли в правом колене, и он совсем перестал спать.

Он и раньше спал не более 4-5 часов, ещё со студенческих лет, когда поздними вечерами разгружал вагоны на Москве-Товарной, чтобы не умереть с голоду. Никто не помогал ему, пареньку из далёкого казахского аула, приотившегося на границе пустыни и тогда еще полноводного Аральского моря. Мать, жена врага народа, оставшись одна с младшим его братом на руках, сама пряталась по родственникам и перебивалась крохами с чужого стола. Старший брат, отвоёвав, вел где-то беспорядочную жизнь победителя, стараясь забыть о страшном клейме сына врага народа. Он считал, что смыл это клеймо своей кровью на полях той страшной войны и не хотел мारаться вновь, общаясь с отверженной родней.

Писатель понимал, что его спасло только чудо, когда, убоявшись репрессий, он подростком уехал в Ташкент, поступил в медресе и затерялся среди многоязычия и многолюдия эвакуированных. Там же в Ташкенте он повстречал профессора арабиста Людвиг Малиновского, которого поразило знанием Корана, восточных языков и пытливым недетским умом. Малиновский слушал рассуждения о течениях ислама, о персидской поэзии, о сравнениях среднеазиатских эпосов и сам предложил оборвись вернуться с ним в Ленинград, где он возглавлял одну из кафедр университета.

– Тебе необходимо учиться в светском учреждении. Ты, мой мальчик, очень талантлив, – приговаривал профессор, зажигая огонь керосинки под закопченной кастрюлькой и готовя скудный ужин на двоих.

Людвиг Святославович был первым человеком в короткой жизни мальчика, который заботился о нем – отца расстреляли, когда ему было 9 лет и мать, оставшись с пятью детьми на руках, совершенно растерялась. Она была молода и привыкла во всем полагаться на мужа, уважаемого всеми муллу. После смерти супруга она постоянно ругалась со средним сыном – есть было нечего и она пыталась поменять книги на еду и кое-какие тряпки, а этот тупица прятал их от неё, и если ей что-то удавалось найти, цеплялся за них и, вырвав, убегал. Для маленького Халиуллы книги были целым миром. Читать он научился еще тогда, когда был жив отец. Из троих сыновей только он проявлял интерес к этим сложным стелющимся справа налево значкам.

Отец посмеивался, когда мальчишка пристраивался рядом с ним, но не прогонял, а когда был в хорошем настроении, долго рассказывал о батырах прошлого, читал стихи на фарси и объяснял, объяснял... Отец был из почитаемого рода Кожа, потомок первых арабских миссионеров и сам мулла в пятьдесят втором поколении, закончил Духовную семинарию в Бейруте.

Маленький Халиулла запоминал огромные тексты и был надеждой отца. Теперь эти знания помогли ему найти профессора Малиновского. Но случилось страшное – пришло известие, что в блокаду вся семья Людвиг Святославовича погибла от голода, а старший сын пропал без вести на фронте. Профессор слег

и вскоре его не стало. Перед смертью он написал для мальчика рекомендательное письмо к своему другу, профессору ГИТИСа Павлу Александровичу Маркову.

– Езжай к Паше, он тебе поможет и помни – тебе обязательно надо учиться!

Так Халиулла оказался в Москве.

После окончания института, уже будучи чиновником республиканского министерства культуры, он после работы по ночам писал пьесы или переводил романы и повести с русского на казахский. Спал он по-прежнему мало, а сейчас бессонница изнуряла его – он пробовал писать, но работа не шла. Рядом с ним на тумбочке лежала рукопись незаконченного романа о Чингисхане.

Этот роман он писал урывками на протяжении многих лет. Чингисхан мучил его, приходил в его короткие сны, отвлекал во время многочисленных совещаний, вёл с ним долгие беседы, заколдовывал бесконечными историями.

Писатель уже не знал, наяву или во сне приходит к нему этот великий лгун. После бесед с ним он вновь и вновь бросался в библиотеки и искал новые подтверждения тем историям, которые он слышал от своего собеседника...

В палату вошла медсестра и прервала его мысли. Установила капельницу и сказала, что принесет ему завтрак сразу после процедуры. Писатель прикрыл глаза, лекарство подействовало на мозг, обволакивая сознание, и неожиданно возникло видение – морщинистое лицо старухи с черными бездонными глазами.

* * *

Старуха пришла в аул так давно! Писателю казалось, что она была всегда. Поселилась на окраине, когда ещё был жив её отец. Она вырыла большую яму, над которой выстроила невысокие стены и покрыла крышу камышом. Весь аул, где почти все были в родстве друг с другом, опасался ее – она была чужой и странной. Только его отец ходил к старухе. Они подолгу сидели на огромном валуне у её землянки и о чем-то беседовали. По отрывочным фразам отца Халиулла понял, что Старуха очень образована и тоже знает немало языков и пришла издалека. Какого она рода – не знал никто.

В казахской глубинке, где даже русских увидишь редко, Старуха вызывала жгучий интерес. Аульские кумушки каких только историй про нее не рассказывали, ею пугали детей и все обходили ее стороной. Однако вскоре выяснилось, что она лечит и людей, и скот. В 32-м году во время страшного джута Старуха поила их скотину какими-то отварами, так что только их аула падеж не коснулся. К Старухе отовсюду потянулись люди со своими болячками.

Ранней весной, когда зацветала степь и даже в пустыне просыпалась жизнь, Старуха уходила собирать травы и корни, ловила пауков и мелкую живность и сушила, варила, толкла свои снадобья. Ела она только рыбу из полноводной в те времена Сырдарьи, травы да дыни. Дыни и рыбу она вялила и сушила на солнце и всю зиму питалась ими да еще какими-то кореньями и травами. Все мясо, которым часто расплачивались с ней за лечение, она отдавала старикам и вдовам.

Когда в 37-ом отца Халиуллы, как служителя культа и японского шпиона, расстреляли, через месяц приехали и за Старухой. Трое, не считая водителя – начальник и двое молодых конвоиров. Старуха вышла из землянки на шум мотора – автомобиль большая редкость для их захолустья. Начальник, грузный мужчина лет сорока, с сытым и важным лицом грубо приказал Старухе собираться.

– А за мной ли ты приехал, сынок? Ведь имени моего ты не назвал, а хочешь, чтобы я с тобой поехала. Вдруг ты ошибаешься?

Начальник привык, что его все боятся и никто никогда ему не перечил, а тут над ним вроде как даже издеваются, да еще на глазах у подчиненных. Ох, он ей сейчас покажет!

– А ну-ка живо в машину!

Старуха не дрогнула, а только провела в пыли палкой черту перед собой и сказала:

– Кто черту переступит, до вечера не доживет.

Спокойно повернулась и ушла в свою нору.

Начальник был истый коммунист и атеист и старухиным угрозам не поверил. Лицо его от гнева побагровело и он рванул за Старухой, но только его нога ступила на черту, как он рухнул в пыль, судорожно хватая ртом воздух. Испуганные конвоиры с трудом затащили тело в воронок и умчались в сторону Кзыл-Орды. Народ

говорил, что тот энкавэдэшник до города не доехал. А про Старуху как будто бы забыли. Никто за ней больше не приезжал.

Закончилась война, аул разросся и отстроился. Вместо юрт стояли дома и только старухина землянка оставалась неизменной. Старуха была жива и совсем не менялась – седые волосы, выбивающиеся из-под платка, изрезанное глубокими морщинами лицо и горящие бездонные темные глаза.

В 1978 году, когда во время своей юбилейной поездки по родине на встрече с земляками он спросил про Старуху, те только пожимали плечами, не могли понять, о ком он спрашивает, и только один старик-чабан ответил:

– Она ушла.

– Как ушла? Куда? Умерла?

– Да нет, не умерла. Собрала узелок вещей и ушла. Я как раз возвращался с пастбища и встретил ее. Она шла в сторону Арала.

Так Старуха исчезла из их аула – пришла ниоткуда и ушла в никуда.

* * *

Медсестра сняла капельницу и через минуту принесла не вкусный больничный завтрак. Есть не хотелось и Писатель снова прикрыл глаза. Да, старуха, – вспомнил он. Загадочная история интриговала его, но не вызывала суеверного страха.

Много лет назад, когда он стал уже достаточно известным драматургом, – пришел к Старухе. Она совсем не удивилась и назвала его по имени. Налила ему чаю и они, сидя на низких табуреточках перед её землянкой, долго говорили: об отце, о религиях, литературе. Его поразили её знания и непривычная точка зрения на незыблемые, казалось бы, истины. Он пытался с ней спорить, но как-то не получалось – Старуха улыбалась и незаметно переводила разговор на другую тему, и он вновь внимательно слушал её.

Её казахский язык был богат и необычен – она употребляла слова, которые сегодня не часто услышишь, однако современную литературу не знала, и, похоже, плохо представляла, при какой власти и в какой стране живет.

Наконец, она рассказала ему притчу.

* * *

Жил в далекой степи смелый, дерзкий и честолюбивый батыр. Мечтал о власти и богатстве и уже многого добился со своими верными друзьями. Однажды, когда он был в далеком походе, пришла весть, что его отец при смерти и просит его поспешить вернуться в родной аул, чтобы попрощаться. Батыр загнал множество лошадей по дороге домой и застал отца еще живым. Отец в последний раз обнял сына и протянул ему два свитка:

– Сынок, первый свиток ты прочтешь в свой самый счастливый день. В день, когда ты будешь уверен, что все твои самые дерзкие мечты сбылись. Второй свиток ты прочтешь в свой самый горький день, когда ты будешь думать, что небо обрушилось на твою голову. Это мое благословение тебе и моя охранная грамота.

Батыр похоронил отца и отправился в ратные походы. Вскоре он завоевал немало земель, стал богат и почитаем. Войско его подняло на кошме и провозгласило ханом. Исполнились самые заветные мечты – тучные табуны паслись на его лугах, в белых юртах ждали самые красивые жены, много сыновей имел хан и верные друзья по первому зову готовы были выдвинуться под его рукой в новый поход. В эти самые счастливые дни своей жизни вспомнил хан про отцовский свиток. Развернул – и увидел начертанные на нем лишь два слова: «Все пройдет». Хмыкнул, пожал плечами да и забыл об этом хан – большое богатство порождает много хлопот, не до отцовских загадок ему было.

Прошло время. Вместе с большим богатством хан нажил себе много врагов. В один несчастливый день напали на него враги со всех сторон и разорили его земли, перебили войско, угнали жен и детей в рабство. Раненный очнулся хан в поле среди трупов и понял, что вся его жизнь рухнула. Нет ни семьи, ни друзей и опозорен он, так как не погиб на поле боя, а остался жив и не смог защитить и спасти свой народ. Заплакал хан и уже вынул из ножен свой клинок, чтобы лишиться себя жизни и избавить свой род от позора, как с сухим шелестом упал к его ногам второй свиток отца. Хан развернул его и увидел три слова: «И это пройдет»...

Пётр Ореховский
ВЕСЕННИЙ МАРАФОН

Сереге Петровичу Иванову нравилось чувствовать себя подлецом. Не в том смысле и обычае русских людей, которые сделают что-нибудь постыдное, а потом горько вздыхают, совестятся и говорят себе: «ох, ну и подлец же я...» Этого вот вздыхания и угрызения Сергей Петрович на дух не переносил. Сделав что-нибудь неприятное, он продолжал, улыбаясь, смотреть своей жертве прямо в глаза, протягивая открытую ладонь для пожатия. Взгляд его говорил: «Экий я подлец! тебя предупреждали, ты не послушал, ну вот, теперь ты получил. Здорово я тебя, правда?».

Такие моменты он любил вспоминать: казалось бы, вот, сейчас, обиженный человек развернется и даст ему пощечину, а по бои Сергей Петрович абсолютно не терпел. Но большинство людей, когда обидевший их человек идет к ним навстречу, смущаются, закипают и спасаются бегством – или бормочут что-то невнятно неприятное, легко переделываемое в свою пользу их обидчиком. Яростные люди попадаютя редко, и возможность делать им подлости ценилась Ивановым особенно высоко. В момент столкновения с ними он переживал настоящий катарсис – психологически он всегда выходил победителем. Внутренне он был готов к физическому столкновению, а редко кто из людей, причисляющих себя к модному в России слою интеллигенции, способен ударить по лицу невысокого толстого человека с широкой, хотя и неприятной, улыбкой.

От природы Сергей Петрович был слаб и застенчив, и в детстве и юности, которые прошли в начинавшей осознать себя избранной Аллахом советской Средней Азии, он отнюдь не лез на рожон. Сублинное, хотя и вполне пропорциональное его телосложение дополнялось недюжинными способностями – большая часть предметов обучения в школе и в сибирском вузе, куда он поступил без связей и денег, давалась ему легко. Эта его особенность породила большие амбиции, не обуздываемые его скромной матерью-бухгалтером (отец-строитель уже давно потерялся на просторах Байкало-Амурской магистрали), о которых он говорил, в свойственной ему манере, открыто и прямо, однако все его друзья и подруги

воспринимали такие разговоры как шутку – настолько это не вязалось с его внешностью. Иванов же, как и положено умным юношам в ситуации, когда амбиции расходятся с фактическим положением, страдал, говорил мрачные монологи и циничные фразы, писал стихи о смерти... и был непременным членом многих веселых компаний.

Дополнительной сложностью его существования в светлом периоде молодости были отношения со слабым полом. Сергей Петрович серьезно, по уши, влюбился сравнительно рано, еще на первом курсе получения своего высшего образования, и потом преследовал предмет своего обожания все пять лет. Эта романтическая страсть с его стороны время от времени отвергалась, потом принималась, потом опять отвергалась... пока он окончательно не прискучил своей пассии. В результате огромная масса тестостерона и молодого любовного пыла осталась нерастраченной. По мнению Иванова, одолевшего переизданного в то время большим тиражом (дело было во второй половине восьмидесятых) Фрейда, это обстоятельство при его конституции должно было бы сделать из него то ли нового Ульянова, то ли Шикльгрубера, то ли – Бонапарта. Но опасность, нависшая было над страной, миновала – Сергей Петрович не пошел в политику, переквалифицировавшись в самый разгар становления новых партий из неудавшегося физика сначала в предпринимателя, а потом и в банкира.

Кроме того, отказу от политических запросов способствовала его женитьба, положившая конец сублимации его сексуальной энергии. Через год после окончания его «высоких отношений» и переживаний по поводу их безвременной кончины он встретил девушку Лялю, которую звали вообще-то Ольгой, однако последнее имя ей не нравилось настолько, что она объявляла всех, кто ее начинал так звать, своими смертельными врагами, надувалась и смотрела на них исподлобья. Иванов таких ошибок не совершал. Будучи уже натренирован на куда более серьезных капризах ехидного девичьего возраста, он стал ухаживать за Лялей с учетом накопленного опыта: минимизируя стихи, увеличив объем цветов и вина и быстро переходя от страстных взглядов к решительным физическим упражнениям. Ей это нравилось: Ляля считала подобную решительность признаком опытного зрелого мужчины.

Ольга была дочерью бывшего второго секретаря горкома КПСС, семья которого приняла Иванова в штаны. Однако заключение брака и рождение через год после свадьбы сына, а через три – дочери привели к примирению Сергея Петровича с тещей и тестем. Примирение с роднёй жены, впрочем, несколько запоздало: родственники уже не могли оказать на Иванова того влияния, которое он был готов принять до вхождения в эту семью. Необходимость зарабатывать деньги привела его в бизнес, который Иванов поначалу пытался совмещать с учёбой в аспирантуре. Но он быстро стал получать очень приличные по сравнению с коллегами-физиками доходы. Когда же тесть и теща, наконец, приняли Сергея Петровича за почти своего, он уже сравнительно крепко стоял на ногах. Из индивидуума с замашками непризнанного гения Иванов превратился во вполне социализированную особь; попытки стихотворчества и некоторая внешняя робость поведения окончательно исчезли из его жизни. Эта, в общем предсказуемая, трансформация пошла ему на пользу – он стал молодым обаятельным хищником, знающим, чего он хочет от людей и что люди предполагают получить от него.

В это же время он пристрастился к приему гостей, выезду на пикники и неумеренному потреблению пива. Последнее сделало из худощавого Сергея Петровича воздушный шарик на тонких ножках с тонкими ручками. Несоразмерность различных частей его фигуры сначала была причиной улыбок, но потом, по мере более равномерного распределения жировой массы по плечам, бедрам и физиономии, телосложение Иванова стало весьма напоминать буржуа с плакатов времен Маяковского. В дополнение к фигуре Сергей Петрович стал коротко стричься. В результате силуэт, который он приобрел, уже не вызывал дурацких ухмылок и вполне соответствовал духу героев времени девяностых годов. Сочетание большого живота, короткой стрижки и широкой акульей улыбки для российского приватизированного населения, возродившего в стране капитализм в форме черного юмора и карикатуры на западный общественный строй, стало поводом для искреннего почтения к их обладателям. Этим Иванов сознательно пользовался.

После дефолта в коммерческую структуру его тестя вошел полуразорившийся банк. Сергей Петрович подшучивал над этим

благоприобретением, на что тесть, раздражаясь, говорил что-то невнятное о новых русских. Потихоньку, однако, тесть поменял там руководство, состоявшее большей частью из старых представительных людей. На освободившиеся места была набрана новая команда, но управляющий сохранился прежний. Последний был человеком в возрасте, известный в городе еще по советским временам своей властью и жесткостью в решениях. В конце концов, тесть предложил поработать в банке и Иванову, который, в дополнение ко всем прочим своим развлечениям, стал еще и банкиром.

Как оказалось, дела в банке шли совсем неплохо. Фондовый отдел, доверенный Иванову, начал приносить приличные доходы, работая преимущественно с векселями РАО ЕЭС и Газпрома. Сергей Петрович легко вошел в курс дела: в сущности, времяпрепровождение в банке мало чем отличалось от его привычного занятия – умения договариваться и периодически успешно, на законных основаниях, обманывать людей. Иванов, кроме того, обнаружил, что в банке ему нравится работать даже больше, чем в своей фирме, которая продолжала функционировать и приносить ему дополнительные доходы. Как оказалось, клиенты банка в отличие от его торговых партнеров даже не понимали, что это именно он подложил им свинью. Иногда Иванов снисходил до объяснений, иногда нет. Да и обманутые, конечно же, не оставались совсем уж внакладе. Почти никто не страдал лично. Просто деньги, которые принадлежали той или иной фирме и которые не мог непосредственно забрать себе тот или иной начальник (хотя он и мог ими одновременно распорядиться), переключивались в банк. А банк их уже передавал директору, за вычетом определенной и достаточно существенной доли...

В общем, все шло хорошо. И у Иванова, и у банка. Но произошла одна случайность, после которой дела у Иванова пошли еще лучше. Как-то раз Иванов пил коньяк в своем кабинете с сослуживцами. Одна из них была начальником отдела по связям с общественностью, другая – начальником кредитного отдела, заместитель управляющего банком. Дамы выпили ровно столько, чтобы языки их развязались, а манеры стали весьма непринужденными.

– Вы как, Сергей Петрович, натурал? – спросила дама-финансист, которую за глаза все называли Танькой, а в лицо – исключительно Татьяной Филипповной.

– Это вы о чем? – не понял Иванов.

– Ну как, исключительно с дамами занимаетесь сексом? – прояснила вопрос начальник отдела PR.

– Естественно, у меня же семья, дети, – обидчиво заявил Сергей Петрович.

– Это ни о чем не говорит. Вот у шефа целых две семьи и четверо детей, одного так совсем недавно сделал, ещё трех лет нет. А ведь бисексуал.

Разговор принял странный оборот. О некоторых странностях управляющего банком Иванов слышал. Действительно, тот любил ходить в баню в мужском коллективе, в то время как в банке более популярны были коллективы смешанные. По банку ходили слухи, что он любил ломать молодых специалистов, работавших, в том числе, и в отделе Иванова. Один из таких, как полагал Сергей Петрович, из-за резкого разговора с управляющим ходил месяц как в воду опущенный, а потом уволился. Другой ходил в таком виде уже третий месяц, но сейчас вроде бы уже приободрился.

Иванов, как и большинство мужчин, очень любил сплетни, солидно называя их сбором информации. Хотя разговор махом перескочил на другую тему, он старательно возвращал его на обсуждение начальства. Нельзя сказать, что он специально провоцировал женщин на неприятности, хотя знал и помнил, несмотря на выпитое, что разговоры в его кабинете прослушиваются службой безопасности банка и управляющему все будет доложено. Просто он не думал об этом, а тема, поднятая дамами, его ужасно заинтриговала.

Танька была красивой и умной, еще молодой, но уже циничной до мозга костей женщиной. Она получила от двух своих браков квартиру, машину и хорошие связи в городских деловых кругах. В банке она считалась одним из лучших специалистов и немного бравировала этим, в общем, справедливо считая, что на своем месте она незаменима. Пиарщица же, наоборот, несмотря на всю свою цепкость и журналистское прошлое, казалась неисправимо наивной. Она была прекрасным приобретением для банка именно в силу своей наивности: она искренне полагала, что работает в финансово-кредитной организации, что уже само по себе является

гарантией легальности и солидности. То, что такие организации в России являются агентствами по переделу собственности, вывозу капитала и укрыванию от налогов, ей не то что не приходило в голову; просто это не могло быть в её банке. В другой организации – пожалуйста. Но в банке, в котором работает она, этого не может быть. Сергей Петрович немного завидовал этой избирательной наивности; он понимал, что вот такой настоящей, неподдельной веры в свою семью или организацию ему очень не хватает. Он-то верил исключительно в себя.

В конце разговора Сергей Петрович получил от дам более подробную информацию о сексуальной ориентации управляющего банка. Последний был не столько голубым, сколько любил опускать молодых амбициозных клерков, пришедших на работу в его банк и ещё не выработавших привычку смотреть по-собачьи преданно управляющему в глаза. Он звал их с собой в баню, и туда, кроме него и молодого капиталистического служащего, ехали ещё и ребята из охраны... там и происходило изнасилование мужчиной. Подробностей дамы не знали: то ли присутствовало в этом и физическое воздействие, то ли на молодых людей так действовала сама угроза остаться без доходного банковского места, то ли еще что... но всё заканчивалось успешно: никто не отказывался.

Иванову всё это не понравилось. Информация оказалась такой, что он не знал, как с ней обойтись. И он поступил с ней, как обычно в России, где все – секрет и ничего не тайна: положил на дно души, и время от времени тихо посмеивался. Поведение начальника его не ужаснуло, презрения к подчиненным – не добавило. Про себя же он решил, что история-то забавная, жаль только, что мало кому можно рассказать.

Последствия, однако, наступили совсем с другой стороны. Таньку и пиарщицу по очереди вызвал к себе управляющий. Дело, похоже, должно было кончиться увольнением обеих; и в это Иванов решил вмешаться. Дамы были порядочно напуганы, причем не только перспективой своего увольнения, но и открывшейся перед ними угрозой их личной безопасности. Сергей Петрович, в связи со своей предпринимательской деятельностью вынужденный частенько сталкиваться то с милицией, то с криминалом, с печальной завистью подумал: «Надо же. Интересно, кем это они себя воображали:

губернаторами, членами правительства или депутатами Госдумы? Эти у нас бронзовые – не люди, памятники самим себе. Только памятники получить по морде не бояться, а мы, грешные, все под Богом ходим».

Иванов решил отстоять начальника кредитного отдела. Ему давно нравилась Танька, и он осознавал, что ему хотелось забраться к ней в постель, используя все доступные способы. Он поговорил с управляющим банка, предъявив следующие аргументы: во-первых, пиарщица «по любому будет молчать», поскольку боится за жизнь своей семьи. Если же уволить Татьяну Филипповну, она рано или поздно объяснит своим следующим работодателям («которыми, очевидно, будут наши конкуренты»), за что её уволили. Опасается же она только за свою собственную жизнь, а покровителей у неё всегда хватало и будет хватать. Во-вторых, хорошие начальники кредитного отдела на дороге не валяются, для банка же она очень полезна.

Эти же аргументы Иванов повторил и своему тестю. В конце концов, он добился своего: Таньку оставили, пиарщицу уволили. И у Сергея Петровича начался бурный роман: его новая страсть, как он и рассчитывал, допустила его до тела. У Татьяны Филипповны были не лучшие времена: она нуждалась в опеке, и внимание Иванова пришлось кстати; кроме того, он позаботился, чтобы о его заступничестве стало известно.

Пережитое мало изменило Таньку: она осталась веселой, хотя градус её циничности, и без того высокий, перевалил все мыслимые отметки. А Иванов, после пары вечеров, проведенных в её постели, почувствовал, что он не может и не хочет расставаться с ней. Он словно вернулся в юность, где его роман начал сбываться; теперь он порхал по городу, удивляя окружающих своим слегка обалдевшим видом и отсутствием агрессивности. Семья не могла на него нарадоваться.

Сергей Петрович признался Татьяне Филипповне в любви. Признание было принято более чем благосклонно: однако вечер выяснения отношений кончился для Иванова неожиданно. Танька была очень нежна с ним, но в большом ответном чувстве отказала. На недоумение Сергея Петровича она пояснила, несколько расчувствованно: «Я думала, что ты просто меня хочешь, за этим всю эту

историю с доносом-прослушиванием и последующим благородным спасением устроил. А ты, оказывается, из-за любви... Но, хоть ты мне сейчас и симпатичен, извини... не более того...».

Иванов потом в течение нескольких дней переживал сложную гамму ощущений. Насколько же, думал он, Танька должна быть равнодушна к нему вплоть до презрения, когда, подозревая его в такой хитрой подлости, тем не менее пустила его к себе? Задать этот вопрос в открытую он боялся, а Танька с радушием римской гетеры продолжала соглашаться на свидания, заканчивавшиеся у нее в постели. По всей видимости, переживания Сергея Петровича по поводу ее действительного отношения к нему никак не затрагивали Таньку; единственное, что прозвучало еще вслух, это то, что за любовь к себе она теперь Иванова сильно жалела.

Постепенно счастье Сергея Петровича приняло более четкие очертания, вошло в определенное жизненное русло и совместилось с распорядком дня. Ляля считала, что он стал меньше ее тиранить. Под последним действием со стороны Иванова она понимала разговоры Сергея Петровича с ней, которые требовали существенного напряжения её эмоциональных и умственных способностей; она полагала, что Иванов ей постоянно хамит. Кроме того, у Иванова стало легче получать деньги на небольшие капризы, а она вела активную жизнь: тренажеры, бассейн, баня, парикмахер, массажист... всего и не вспомнишь сразу. Подрастающие сын и дочь вышли из непосредственного милого возраста и постепенно стали превращаться в подростков; они полностью были согласны с утверждением Ляли, что отец их тиранит; и тоже были довольны тем, что он стал уделять им меньше времени. Вторая жизнь Иванова оставалась окружающими по большей части незамеченной: может быть, как раз потому, что ни он, ни Татьяна Филипповна не пытались её скрывать, и в силу этого их отношения не были никому интересны. К тому же Татьяна зарабатывала в банке едва ли не больше, чем сам Иванов, так что жизнь последнего на два дома отнюдь не была материально обременительной; а именно сокращение семейного бюджета служило причиной недовольства Ляли во времена прежних краткосрочных походов Иванова на сторону. В остальном, считала она, если что иногда и случается, то от ее мужа не убудет и от семьи он куда не денется...

Однако по мере вхождения самого большого романа жизни Сергея Петровича в колею, на что потребовался примерно год, к нему стала возвращаться и привычная злость и задиристость. Правительство объявило в стране экономический подъем, который и в самом деле коснулся доходов самых бедных и самых богатых. Поскольку Иванов относился к последним, он, с вновь пробудившимся интересом к бизнесу, стал зарабатывать деньги. Банк начал быстро развивать филиальную сеть – и Иванов как заместитель управляющего стал много ездить. Часто эти поездки происходили вместе с начальником кредитного отдела: в поездках их отношения приобретали новое дыхание, дополнялись важными для Иванова нюансами. Танька же к поездкам относилась равнодушно, но ей нравилось знакомиться с новыми людьми и приобретать новых поклонников, к которым Иванов, конечно же, ревновал.

– Ты, Иванов, капок, – как-то сказала ему Танька, раскинувшись на огромной кровати в своей квартире после одной из таких поездок.

– Как это? – удивился Иванов.

– Капок – это человек капиталистический, в противоположность совку, который был человеком советским. Правда, я еще не придумала, как лучше: ка-пок или ко-пок, но в любом случае, как и у совка, в нем много общего с лопатой. Капок, в принципе, симметричен совку. Если совок был бесполой: даже для того чтобы развестись, ему требовалось одобрение его партийной ячейки, иначе мог полететь с высоких постов за аморалку, то у капка свободный секс – основа жизни, а виагра вместе с презервативами в кармане занимает место билета члена КПСС. У совка, для того чтобы делать карьеру, на первом месте – связи, они и ценились; а у капка – деньги. Не нужны никакие связи, которые не приносят денег. У совка – кругом табу, даже язык весь исковерканный пропагандистскими штампами. Капок то и дело использует ненормативную лексику: он свободен выражаться так, как ему сейчас проще и удобней, так, что банкира не отличишь от ломового извозчика.

– Ну и что? Ты ведь тоже капок по этому определению, – немного сердито сказал Сергей Петрович.

– Ну-у, – замурыкала Танька, – не совсем. Ты же хочешь всем обладать безраздельно, и деньгами, и людьми, и вещами. А я – только деньгами. И я не хочу замуж.

– Ты хуже капка, – заметил Иванов, – ты – человек без правил.

– Да-а, – сказала Танька, зевнув, – наверное. В ванную – кто первый?

После этого разговора Иванов стал мучиться, что было ему совсем несвойственно. Счастливый роман с Танькой начал его тяготить: но не потому, что он вдруг почувствовал угрызения совести перед своей семьей, нет. Он понял, что Танька не полюбит так, как он любит ее, никогда. Не изменяет она ему пока из жалости – и из большого равнодушия к другим людям; но то, что у нее неизбежно должны появиться другие мужчины, – всего лишь вопрос времени. Все это было обидно. По утрам он смотрел в зеркало на свои округлости; он отпустил бороду, теперь парадоксальным образом стало казаться, что лицо его стало меньше; но брюхо, заплывшие плечи и толстые ляжки спрятать было невозможно.

От обиды он мучился, от мучений похудел и даже стал выглядеть полным, а не жирным, как раньше. Окружающие стали говорить комплименты его внешности, что злило Сергея Петровича Иванова. Но ничего не тянется вечно, и новая случайность положила конец его мучениям.

В тот раз Татьяна Филипповна не поехала с ним, и он оказался в гостинице один вечером в люксе. Конечно же, ему позвонили, и, конечно же, это оказалась служба интим-услуг. Ужинать Иванову одному не хотелось, и он пригласил голос в трубке к себе в номер, решив, что если ему все понравится, то он пригласит даму с собой в ресторан.

Как оказалось, голос принадлежал молодой девушке ростом в 180 см, с короткой стрижкой, коровьими глазами и объемным бюстом. «Лошадь тупая», – с ходу определил для себя Иванов. «Недомерок», – в ответ прочиталось бы во взгляде девицы, однако Иванову было уже лень читать. Он не стал принимать пальто, но пропустил девушку в номер и закрыл его на ключ. Произошло это, впрочем, скорее, автоматически, поскольку Сергей Петрович про себя уже решил, что ничего у него с этим великолепным образцом женской породы не получится. Поэтому он задержался у двери люкса, задумавшись над своей непоследовательностью, – а зачем тогда надо было пускать ее в номер. Результатом этой задержки

было то, что когда он зашел в комнату, девушка была уже раздета и двигалась навстречу ему. Он уклонился от этого движения, но оказалось, что она всего лишь собралась посетить ванную комнату.

Иванов уселся в кресло, положив ногу на ногу, решив, что выгонять её из ванной комнаты было бы глупо. Слышался тихий шелест льющейся воды, который его мгновенно начал раздражать. «Разовые женщины», услугами которых он, бывало, пользовался, предоставлялись ему через различных его приятелей. Имена некоторых из них он узнавал, более того, иногда он встречал их совсем в других компаниях, так что Сергей Петрович держался с ними, скорее, как с боевыми подругами, нежели с женщинами, которые пали вниз по общественной лестнице настолько, что теперь оказались существенно ниже его. Как же вести себя с проституткой, он, к собственному неудовольствию, решительно не понимал. В результате он включил телевизор. Щелкая кнопками пульта, он рассматривал лицо российского президента, которое мало менялось в зависимости от телеканала и быстро начало раздражать его гораздо сильнее, чем звук воды в ванной. Наконец, он нашел что-то неинформативное, псевдохудожественное, с дубляжом иностранного языка и попытался сосредоточиться над тем, что же там показывают. Девушка, вышедшая из ванной с полотенцем на груди и бедрах и увидевшая своего теоретического сексуального партнера, уставившегося в телевизионный приемник, сначала остолбенела, а потом ухмыльнулась. Если бы Иванов видел эту ухмылку, он бы счел ее невероятно глупой и разозлился еще больше. Но он не смотрел на нее. Это, если бы он действительно хотел ее выгнать, было ошибкой.

Впрочем, в этот вечер он сделал как минимум еще одну ошибку. Иванов таки пригласил её на ужин: ресторан работал до двух часов ночи, и они вполне успели поесть, а дама так еще и потанцевать. Сергею Петровичу нравилось, как она танцевала, хотя сам он не встал в топчущийся кружок из десяти женщин и трех мужчин в зале на двести посадочных мест. Ему даже вновь захотелось ее, хотя за пять минут перед этим она ему смертельно наскучила – он как-то не подумал о том, что у него может не оказаться общих тем с проституткой. «Наверное, надо было бы попытаться поговорить о литературе, – подумал Иванов, – если бы я в последние годы

что-нибудь читал». Поэтому сначала они вели разговор на безопасную алкогольно-гастрономическую тему сочетаний напитков и закусок. Потом Сергей Петрович, войдя в естественный для него раж, попытался поговорить на технические темы полностью забытой им физики, быстро навел на собеседницу скуку и соскучился сам. Любимые же Ивановым темы сплетен о том, кто за кем стоит и что с кем когда приключалось, здесь не проходили.

Однако общим результатом он был удовлетворен полностью, в том числе и когда расплачивался: сумма, по Ивановским понятиям, была более чем скромная, так что он дал еще и сверху. Сергей Петрович не оставил девушку в номере у себя на завтра – ему не хотелось видеть ее утром. Но ее контактный телефон он записал.

...Он возвращался домой, как всегда, бизнес-классом. Чувство глупого довольства собой его не покидало. Он четыре дня пробыл в чужом городе, и в первый и третий вечер воспользовался услугами проституток. Второй раз это была другая девушка, но Иванов уже вполне освоился и чувствовал себя вполне уверенно. Кормить он ее не стал, не без основания решив, что совместный прием пищи – это очень интимная процедура, и здесь надо более тщательно выбирать партнеров для общения. Кроме того, Сергей Петрович обнаружил, что ему доставляет удовольствие не быть ничем связанным или обязанным женщине после секса: расплачиваясь за оказанные ему услуги, он ставил эмоции и физиологию на прочную хозяйственную основу.

Дела в новом филиале шли неплохо, его вояж и переговоры с парой важных местных людей закончились успешно... на Сергея Петровича нашло философическое настроение. Приоткрывшиеся поры души вызвали его на откровенность с самим собой. Ему представилось, что он знает то, что другим, в общем, недоступно, и чувство тихого блаженства заставило его открыть томившийся в портфеле рядом с ноутбуком дорогой коньяк и налить его в пошлый пластиковый стаканчик. Потихоньку отхлебывая греющий напиток, он обдумывал свои чувства и свои планы.

Его семья, его крепость обеспечивала ему тыл. Он обеспечивал снабжение этой крепости припасами, укреплял ее стены нужными связями, строил коммуникации, которые должны были бы вывести его детей на нужные жизненные дороги. Правда, думал он, с

Лялей бывает скучно как за столом, так и в постели, но зато она – мать его детей, умеет поддержать дом и принять гостей. Что делать, каждая женщина может дать только то, что она имеет.

То, что еще нужно было ему для гармонии этой жизни, как ему казалось, находилось у Таньки. До сих пор он полагал, что влюблен в нее. Теперь, после пережитых вечеров похупной любви, Иванов понял, что вполне может изменять своему глубокому чувству, более того, получать от этого удовольствие. Это принесло ему огромное облегчение. Ему даже подумалось, что теперь он лучше понимает саму Таньку, – почему бы и нет? Если он не будет набрасываться на неё за то, что она иногда может принимать других мужчин, отчего же их отношения должны разрушиться? Просто ему не надо пренебрегать другими женщинами: молодость коротка, будет потом о чем вспомнить. И если бы Иванову кто-нибудь стал объяснять, что он неправильно живет, неверно чувствует, рассказывая при этом сюжет «Крейцеровой сонаты» или перечисляя моральные терзания героя «Записок из подполья» Достоевского, он бы, вероятно, неприлично заржал над великой российской литературой.

Коньяк, разлившись теплом по организму Сергея Петровича, тем не менее, его взбодрил и не давал задремать. Иванов сидел, упираясь пальцами правой руки в висок, и периодически его поглаживал. Если заглянуть в его мысли, то можно узнать, что он обдумывает, как перевести часть активов своих фирм за рубеж, используя кредитный отдел, причем часть кредитов, полученных, скажем, на закупки комплектующих за рубежом, можно было бы, ради интереса, и не торопиться возвращать. Или как-нибудь вернуть с помощью расставания с залогом, который будет стоить в несколько раз меньше суммы кредита.

Во Франции дорогая жизнь, хотя есть Средиземное море... но все равно он не знает французского. Единственный иностранный язык, на котором он с грехом пополам разговаривает, это английский. Так что, видимо, надо ориентироваться на Канаду... или Австралию. Все равно пока непонятно, как тут можно использовать кредитный отдел, но кредит-то его фирмам дадут, это вне всяких сомнений. А детям лучше заканчивать иностранный университет, в этой стране им делать, конечно, нечего. Все мы живем ради

детей, нет ничего такого, чего для них не сделаешь... в общем, надо бы как-то приобрести там дом в хорошем месте. Но пока об этом лучше никому не знать, совсем никому. И семье – тоже.

Самолет приземлился в полдень. Была пятница, конец рабочей недели. Иванов позвонил домой, сказал, что будет к вечеру; узнал, что у них к восьми будут гости. Потом он выслушал отчет о состоянии успеваемости сына и дочери. После чего позвонил Татьяне Филипповне в банк, сказал, что уже едет к ней домой. Ей было непросто уйти с работы на полдня раньше, и она приехала недовольная. Однако появившийся через пять минут веселый и взволнованный Иванов, соскучившийся по ней в командировке, с букетом роз, жаждущий любви и бормочущий комплименты, ужасно её растрогал.

Сентябрь – октябрь 2002г.

Георгий Петрович ИБО СКАЗАНО



ль Малэ Рахамим шохен бамеромим, хамце менуха нехона аль канфей ха-Шехина». «Властелин Многомилостивый, обитающий высоко, – начал молитву старенький раввин. – Дай обрести покой, уготованный на крыльях Шехины».

Математически точный иврит кольнул чуточку словом «многомилостивый», и тут же перевёл внимание на слово «Шехина».

Аркадий Мильман, присутствующий на церемонии установки надгробной плиты его отцу, к стыду своему понятия не имел, что обозначает слово «Шехина», но зато он лучше других знал, как милосерден был еврейский Бог к его отцу и к его давно уже умершей матери.

Родных по материнской линии немцы расстреляли, а брата отца вместе с женой закопали живьём, а потом ещё проехали для надёжности по свежему холмику трактором.

Отец с матерью всю войну провоевал в партизанском отряде в Белоруссии. Там же в августе сорок третьего года и родился Аркадий. В результате целенаправленной карательной операции отряд был разгромлен, а тех, кто чудом остался жив, смершевцы заподозрили в предательстве и начали дознание. Неизвестно, какие

показания давал отец, но мать на первом же допросе заявила следователю:

– Вы что, серьёзно полагаете, что обрезанный еврей, которого за один только горбатый нос фашисты немедленно поставили бы к стенке, мог контактировать с оккупантами? Или я с моей семитской мордой могла бы живой вернуться от полицаев? Мы виноваты в том, что нас не расстреляли немцы? Ну, так сделайте это вы!

– У вас не морда, а лицо, – поправил мать уставший разоблачать невинных пожилой следователь. Он хотел сказать «симпатичное лицо», но покосился на секретаршу, подумал немного, и этапировал семью на северный Урал на спецпроверку.

На этом милосердие Господне в отношении отца не закончилось.

На шахте, где отец работал начальником водоотлива, случилась авария: затопило штрек. Отец был признан виновным и отправлен в тюрьму на десять лет за вредительство. Освободился условно досрочно за примерное поведение через пять лет. Устроился работать начальником техснаба. Носил ждановские усики, широкие галифе и по штату имел дома казенную мебель. Аркадий хорошо запомнил чёрный кожаный диван. На деревянной спинке дивана были две симметричные полочки со слониками.

Следующий раз, тот, который наверху, ударил наотмашь по самому дорогому – по семье.

– Я вам с Розой билеты в кино купил, хорошая картина – «Сказание о земле сибирской», пойдём, Ефимыч, не пожалеешь – сказал сосед – поволжский немец, и протянул отцу два билета.

И нужно же было так случится, что именно в этот день отец купил пластинку «Что ж ты бродишь всю ночь одиноко, что ж ты девушкам спать не даешь». Крутил целый вечер ручку патефона, подпевал в лад.

– Сходи с Розочкой, а я пластинку буду слушать.

Прошло два часа, уже стемнело, но мать домой не возвратилась. Отец пошел встречать. Он открыл калитку, вышел на улицу и увидел, что Роза и сосед подходят к дому.

– Долго фильм шёл?

– Больше двух часов, все ноги отсидели – мать поправила вуаль на шляпке, и в следующую секунду отец опрокинул ударом соседа, дал пощечину матери, повернулся и пошёл домой.

«Вот, если бы Ганс стал с ним драться – много раз повторяла потом мать, – я бы их разняла, и на этом дело бы и кончилось, но он поднял с земли мою шляпу с вуалью, отряхнул её и попросил у меня извинения».

– За что? – я спросила.

– За то, что из-за меня у вас будут неприятности.

– Это у него будут неприятности.

Дальнейшее Аркадий видел сам.

– Или ты извинишься перед человеком, или я от тебя уйду, – матери шёл гнев: розовели скулы, усиливался блеск глаз, и лицо становилось ещё более красивым и значительным.

– Перед фашистом я извиняться не буду.

– Он такой же фашист, как ты – изменник Родины. Если ты хочешь знать, ты ногтя его не стоишь.

– Последнее ты зря сказала, – у отца изменилось лицо и сел от волнения голос.

Аркадий помнил, как мать швырнула в отца кувшин с молоком. Отец увернулся, кувшин выбил стекло, Аркадий выбежал, слышал, как страшно и истерично кричала мать, пробежал бо- сиком по осколкам стекла и не порезал ноги.

Отец сменил залитую молоком рубашку, подошёл к телефону, набрал номер:

– Ганс, забери мою жену или я её застрелю.

Ганс знал наверняка, что бывшие партизаны не промахиваются при стрельбе, но пришёл, и молча оперся плечом о дверной косяк.

Мать, в чём была, вышла с ним и больше к отцу не вернулась.

Аркадий посидел немного в сарае, он всегда убежал туда во время скандалов, зашёл в дом, спросил, где мама, отец молча погладил его по голове, взял ружьё и вышел в сарай. Раздался выстрел. Отец вернулся, из дула ружья вкусно пахло гарью.

Он снова набрал номер телефона.

– Коля, – сказал он в трубку, – у тебя выпить есть?

Трубка ответила утвердительно.

– Давай, неси, закуски навалом – я корову застрелил.

Пришёл старый приятель отца. Корову не освежали полностью, а отрезали заднюю ногу и пьянствовали два дня. На третий

день отец привёл в дом яркую женщину с кошачьей грацией и с красивой фамилией – Кадетская. У неё муж рассказал на работе смешной анекдот про счастливую жизнь и получил четвертак за антисоветскую пропаганду, а через неделю забрали в очередной раз за растрату отца, и Аркадий ушел к матери.

В малюсеньком домике-насыпушке у Ганса кроме матери ютились две сестры и какая-то дальняя родственница – тетя Тина. Они жили в гордой нищете, соблюдали в домике стерильную немецкую чистоту, заваривали кипятком прокалённый дочерна ячмень с сухарями, называли напиток – «кофе» и пили его из пол-литровых банок. Аркадий никогда раньше не пил самодельный кофе из пол-литровых банок, поэтому в новой семье ему очень понравилось.

Отец отсидел три года, освободился и уехал в город Шахты, где его ждала Кадетская. Рассказывали потом, что муж Кадетской приезжал к ним после тюрьмы, но она предпочла остаться с отцом.

Через тридцать лет Аркадий ехал из Сочи. В купе поезда было так жарко, пьяные попутчики были настолько непереносимы, что он не выдержал и вышел в Ростове, решив дальше добираться самолётом.

Аркадий поднял руку, пытаясь поймать такси до аэропорта, и в это время диспетчер объявила по громкоговорителю, что автобус в город Шахты отбывает через пять минут.

Через два часа Аркадий подходил к хрущёвской пятиэтажке. У подъезда на лавочке сидела старенькая Кадетская.

«Аркадий приехал», – сказала она так, как будто бы видела Аркадия вчера, а не тридцать лет назад, и заплакала.

– Как отец? – у Аркадия защемило сердце от нехорошего предчувствия.

– Плохо.

– Болеет?

– Консерву съел, кильку в томатном соусе, теперь живот болит, наверное, отравился.

Аркадий вошёл в дом. На убогом диванчике, накрытый застиранным одеяльцем, спиной к нему лежал отец. Аркадий наклонился над ним, отец почувствовал его взгляд, повернулся к нему лицом и волной мурашки у сына по спине – на него смотрел его седой двойник.

– Недаром мать приговаривала, когда была: «точный отец», – Аркадий помог отцу встать, обнял его, заплакал, мучительно пытаясь выровнять искажившееся лицо, – так, как плачут сильные неслезливые мужики, и отец не сдержался, и тоже заморгал, уткнувшись мокрым лицом в шею сына. Так и стояли, обнявшись, стыдясь слёз.

– Господи, вы и ростом, и комплекцией, как две капли, – Кадетская утиралась углом косынки.

– А Ганс не бил? – отец тревожно взглянул на Аркадия.

– Никогда.

– Я ему написал из тюрьмы: «Пальцем тронешь – убью».

– Да он и так бы не бил. Он хороший был мужик. В прошлом году умер.

– А мать была?

– Убивала. И всё из-за тебя, она же не меня била, а тебя в моём лице, – Аркадий умышленно улыбнулся, чтобы смягчить упрёк и обнял за плечи отца, боясь его обидеть, – не могла тебе простить, что ты сам предложил её Гансу.

– А почему на письма не отвечала, почему от алиментов отказалась?

– Все потому же. Я ведь уже взрослым специально посмотрел кино «Сказание о земле сибирской» – больше двух часов фильм идёт.

– Кто старое помянёт, тому глаз вон, а мать я всегда любил.

Аркадий покосился на Кадетскую, но она никак не отреагировала на слова отца – то ли не расслышала, то ли и без признания знала правду.

Через два года умерла Кадетская, а ещё через год отец появился у матери на Урале. Открыл дверь, прислонился плечом к косяку, точно так, как это сделал Ганс тридцать три года тому назад и спросил:

– Поедешь со мной в Израиль?

– А ты почему меня тогда не задержал?

– А ты почему мне сказала, что я его пальца не стою?

– Чтобы тебя побольнее уесть.

– Так поедешь со мной? Поедешь?

– А Аркадий поедет?

– Аркадий с женой уже там.

* * *

Аркадий невзлюбил Израиль сразу и навсегда. И дело было не в израильтянах, хотя вид еврейских ортодоксов выводил его из себя безмерно. Причина была другая. Он, выросший в тайге, не мог влюбиться в Восток, в эти камни, сушь, безводье и безлесье.

Попади он в Ливан, Иорданию или Египет – он точно также затосковал бы по Уралу. И когда, промаявшись несколько лет в земле обетованной, они вернулись домой, первое, что они сделали с женой – пошли на берег Камы, омыли ступни и лицо, посмотрели друг на друга и, не сговариваясь, запели, стараясь подражать Людмиле Зыкиной: «Когда придёшь домой в конце пути, свои ладони в Волгу опусти».

И что интересно? Израиль он не полюбил, а магнитофонные кассеты с эмигрантскими песнями, впервые услышанные там, бережно хранил. Вот уж точно: что прошло, то будет мило.

Когда умерла мать на Святой земле, он не приехал на похороны – не успел. Присутствовать на погребении отца тоже не было возможности, а вот на заранее запланированную установку надгробной плиты он прилетел.

* * *

«На крыльях Шехины, – раввин повысил голос до уровня трагичности, – на ступенях святых и чистых, лучащихся сиянием небосвода, душе Марка, сына Ефима, отошедшего в вечность; ибо, не беря на себя обета, я обещаю пожертвовать на благотворительность, чтобы была память о его душе, – да обретет он покой в Саду Эдемском».

«Три тысячи лет назад, как минимум, написана молитва, – думал Аркадий, – и уже в то время призывали к благотворительности. Умнее нас были предки наши, безусловно, умнее».

Ещё он думал о том, как поэтична и благозвучна молитва, ловил себя на мысли, что нет у него соответствующего настроения в душе – не было той непереносимой жалости к умершему отцу, как тогда, когда он увидел его живого через тридцать лет разлуки.

Он попытался понять, почему он так горько плакал тогда? Аркадий подумал и решил, что слёзы эти были от жалости к себе,

выросшему хоть и с хорошим, но с неродным человеком, а ещё жалче было отца и мать, всю жизнь проживших врозь, и всё из-за чего? По какой причине всё пошло наперекосяк? Жизнь, вся жизнь была поломана из-за обоюдного иудейского упрямства, из-за отсутствия самого малого, но такого дорогого – снисходительности.

Аркадий огляделся. Вместе с ним стояло ровно одиннадцать человек. Квота. Без нее раввин не начал бы молитву. Вспомнилось, как его точно так же пригласили однажды на церемонию открытия памятника. Он не знал покойного, стоял лицом к раввину, а сзади, прячась за его спиной, весёлый жулик с Мясоедовской улицы – Гриша Перельман – рассказывал ему шёпотом скабрёзный и очень смешной анекдот про негодя Вовочку. Кого гребёт чужое горе?

«Посему да укроет его властелин милосердия под сенью крыл своих навеки и приобщит к сонму вечно живых душу его! В Боге удел его! Да почиёт он на ложе своём в мире! И скажем: Амен», – раввин закончил молитву.

Аркадий поблагодарил присутствующих, постоял один около могилы, досадуя на себя за чёрствость, и пошел к выходу. Уходя, он обернулся, и вдруг больно пронзила мысль о том, что отныне он уже ничей! Вот был он чей-то сын, а теперь уже никто и никогда не скажет ему: «сын»». Осознание собственного позднего сиротства скорбью сдавило сердце, но в то же время стало морально легче оттого, что он не остался равнодушным на могиле отца, оттого, что опечалился всё-таки и не зачерствел душой окончательно.

У самых ворот Аркадий посторонился, пропуская очередную процессию во главе с раввином. Люди в черных кипах торопливо прошли мимо него к выходу, а, чуть поотстав, за ними шла женщина. Он не понял – была ли она с ними или приходила на кладбище одна. Солнце светило ему в лицо и, может быть, поэтому ему показалось, что её волнистые пшеничного цвета волосы отливают золотом. Она мельком взглянула на него, и этого было достаточно, чтобы он успел выставить ей диагноз – она не еврейка. Он знал евреек рыжих, русых и абсолютно блондинистых, но в этой женщине он не нашел ни одной семитской черты.

«Я жрец Изиды Златокудрой, и я родился в храме Фта, и дал народ мне имя – мудрый, за то, что жизнь моя чиста» – он шёл за ней, пытаясь вспомнить автора стихов.

Женщина обернулась, перехватила его заинтересованный взгляд и у неё изменилась походка. Аркадий отметил перемену, но если бы его спросили, в чём конкретно изменилась поступь молодой женщины, он не смог бы ответить определенно. Будучи неплохим рассказчиком, и, зная это, он, получая новые впечатления, всегда старался сразу же поточней облечь увиденное в словесную форму, чтобы потом, описывая произошедшее, он смог бы лучше сформулировать мысль и произвести на слушателей большее впечатление. Он перебрал в уме несколько вариантов, ничего оригинального не придумал, остановился на версии, что у незнакомки была фигура, а вот теперь – стан. Потом он решил, что это, в сущности, одно и то же, а в это время от толпы отделился седовласый мужчина кавказской внешности; он подождал женщину, они сели в машину и уехали.

Женщина не обернулась, садясь в машину, и это обстоятельство не сильно расстроило Аркадия. Кобеляж у могилы отца – это свинство. А если даже и не у могилы, то всё равно у него не было времени даже на очень маленький роман. Он уже выписался из гостиницы, решив заехать к приятелю в Бат-Ям, посидеть с ним, обменяться сплетнями, выпить за помин души отца по русскому обычаю, переночевать у него, и утром прямо от него отправиться в аэропорт.

Аркадий без труда нашёл квартиру друга, нажал на звонок – дверь не открыли. Из соседней квартиры вышел хорошо прожаренный солнцем мужчина. Аркадий хотел обратиться к нему на иврите, но взглянул ему на ноги и спросил по-русски:

– Натан Лернер – куда не уехал?

– Как вы узнали, что я из России? Все говорят, что я вылитый сабра¹.

– Сабры не носят носки. Они надевают сандалии на босую ногу.

– Я удивляюсь, как они ноги не стирают, – мужчина осмотрел собственные ноги, в белых носках, как будто он увидел их впервые, – а Натан перебрался в Хайфу, он там работу нашёл. Что же вы ему заранее не позвонили?

– Хотел сюрпризом.

* * *

Смеркалось. Аркадий зашёл в лавку, купил пива «Маккаби», чипсы и спустился к морю. Он прошёл мимо недостроенного

американцами отеля «Хилтон» (его начали возводить ещё при нем), разулся, походил по почти безлюдному в этот час пляжу, вдыхая запах водорослей и приятно ощущая натруженными за день босыми ступнями влажный мелкий песок, открыл о край волнореза бутылку, сел на сумку и с наслаждением сделал большой глоток. Почти мгновенно пиво притупило усталость, но приятно оживило при этом мыслительный процесс:

«А вот интересно, эта женщина, у которой изменилась походка и фигура превратилась в стан после того, как она поймала мой взгляд, что она делала на кладбище? Есть в ней что-то необычное. Определенно есть. Глаза? Да, пожалуй, глаза. Такие глаза называют лучезарными? Нет, – возражал Аркадий сам себе, – лучезарным бывает лицо. Или всё-таки глаза?».

Аркадий не успел закончить размышление. К нему подошёл приятный молодой человек в спортивном костюме фирмы «Адидас». Он присел рядом на песок, достал сигарету, попросил прикурить. Аркадий протянул ему зажигалку.

– Как вычислил?

– У тебя на сумке написано «Спорт» по-русски.

– Живёшь рядом?

– Если бы. Я в Холоне живу.

– Я тоже в Холоне жил. А почему в спортивном костюме?

– Представляешь, выбежал из дому за сигаретами, и дверь хлопнулась. Позвонил в службу по вскрытию замков без взлома, они требуют деньги вперед. А у меня деньги дома остались. Зашел к соседке, – она из Киева, попросил займы – не дала, сучка. Главное, бабки на комод лежат, а она говорит: «Денег нет». Вот гадина!

– Эмиграция портит людей. А сколько они просят?

– Двести пятьдесят шекелей!

– Инфляция в стране. В моё время – за сто тридцать вскрывали. В Холоне, по крайней мере, мне лично за сто тридцать двери открыли.

– Сейчас таких цен уже нет. Я вот тут, – молодой человек показал рукой на строения рядом на берегу, – договорился за двести, но деньги, говорят, вперёд.

– Утром деньги, вечером стулья?

– Вот именно, а где я их возьму? А ты что тут делаешь? – Сменил тему незнакомец и протянул руку: – Феликс.

Аркадий пожал протянутую руку, назвал себя.

– Я к отцу на кладбище приезжал. Сегодня надгробную плиту установили. Завтра улетаю. Хотел переночевать у друга, а он в Хайфу переехал.

– У меня переночуешь, я сейчас один живу, жена с дочерью в Киев укатили. Главное – двери открыть. Зачем тебе деньги на гостиницу тратить. Они же берут за сутки, а тебе только на одну ночь надо. А как тебе нравятся наши земляки? Главное, деньги на комод лежат, я их своими глазами вижу, а она не даёт. Недаром про нас анекдоты сочиняют.

– Я хотел маслины с собой купить – мне заказали, а я позабыл. В аэропорту ведь не купишь? – говорил Аркадий, прокручивая в уме предложенный вариант.

Феликс производил благоприятное впечатление. Похоже, было, что он не врёт. И зачем, действительно, отдавать за одну ночь в отеле сто пятьдесят шекелей, если можно переночевать бесплатно? А больше всего хотелось доказать приятному молодому человеку, что не все русскоговорящие евреи жмоты. Вот он – Аркадий, например, совсем не жмот.

– У меня дома четыре трёхлитровые банки маслин стоят. Я их сам по арабскому рецепту замариновал. Вот такие – Феликс показал размер олив на собственной фаланге. Язык проглотишь. Я их сам не ем. Дам тебе одну банку.

– Зачем дашь, я их у тебя куплю.

– Дам, – повторил Феликс, внимательно, как психиатр на больного, посмотрев на Аркадия, – твоей жене от меня подарок.

– Где этот специалист по вскрытию замков без взлома сидит?

– Да вот через улицу.

– Пойдем, я уплачу. Только я сам ему деньги дам.

Они пересекли улицу.

– Подожди, надо ему звякнуть, а то вдруг этот людоед на вызове.

Феликс заскочил в телефонную будку, плотно закрыл за собой дверь, набрал номер, о чём-то очень коротко осведомился и тут же вышел.

– Дома, слава богу. Пойдём, пока не убежал.

Они прошли параллельным переулком к облезлому дому.

– Давай деньги, – Феликс протянул руку.

– Я сам ему отдам.

– Нет, так не пойдет! Я же ему наврал, что у меня никого в городе знакомых нет и занять не у кого. Поэтому он мне цену скосил. Он тебя увидит – сразу цену поднимет. Ты что, их не знаешь, что ли?

Аркадий помедлил секунду и достал бумажник. Он знал, что в подобных домах нет запасного выхода – значит, сбежать Феликсу не удастся.

Феликс взял деньги и скрылся в подъезде. Аркадий подождал с полчаса и зашёл в дом. Он поднялся на первый этаж и потянул на себя ручку ближайшей двери. Дверь открылась. Аркадий вошёл в пустую квартиру, споткнулся о корыто для размешивания цемента, увидел рулоны старого линолеума на полу, открытые окна спальни и всё понял.

* * *

– Это «Адидас» тебя кинул, – говорил русскоязычный таксист по дороге в аэропорт, тепло поглядывая на Аркадия. Таксисту было приятно, что обманули Аркадия, а не его, и потому он проникся симпатией к пассажиру. – Это у него кличка такая. Всегда в спортивном костюме ходит. Он наркоман, его в Холоне каждая собака знает. В России убили бы давно, как собаку, а у нас нет. – Он помолчал немного и добавил: – У нас ведь как, у жидов? Херовенький, но свой.

– Аркадий просидел в аэропорту всю ночь. Спать сидя он не умел и надеялся уснуть в самолёте. Мягкое кресло лайнера – это единственное место, где он мог уснуть, не будучи в горизонтальном положении. Но утром в связи с метеоусловиями рейс задержали сначала до обеда, потом ещё на два часа, потом ещё; он зевал, вертелся на жёстком сиденье, пытался хоть на миг забыться сном – всё безуспешно.

Аркадий сидел с закрытыми глазами и прокручивал в уме вчерашнее происшествие. Он точно знал, где он прокололся. Феликс звонил специалисту, не опустив монету в прорезь телефонного аппарата. Как это он – стреляный воробей, не обратил внимание на такую существенную деталь? Да, конечно, этот аферист гениально изобразил разговор с мастером и этим развеял у него последние сомнения.

Мимо него, отбивая весёлый ритм каблучками, волнительно обдав его запахом дорогого парфюма, прошла женщина. Легонько скрипнув откидным сиденьем, она присела рядом с ним.

«Так энергично стучат каблучками при ходьбе только молодые особы. – Аркадий попытался, не глядя, определить возраст присевшей рядом дамы. – И потом этот запах! Так должны пахнуть только роскошные женщины».

Он приоткрыл веки, повернул голову и увидел, что рядом с ним сидит она. Да – это была она, та Златокудрая, у которой стан, а не фигура.

– Уж не снитесь ли вы мне? – Аркадий улыбнулся незнакомке. – Вы знаете, когда вчера на кладбище вы прошли мимо меня, и я увидел ваши чудесные локоны, у меня всплыло в голове вот это: «Я жрец Изида Златокудрой и я родился в храме Фта и дал народ мне имя мудрый за то, что жизнь моя чиста». Правда, у меня появилось сомнение: а Изида ли она? Проклятый склероз! Может быть – Исида? Может быть, но Изида вам подходит больше! Когда я был маленький, у нас в городке на Урале ходил очень милый сумасшедший и постоянно цитировал эти стихи. Убей, не знаю, кто автор. Я вообще ужасно отупел с возрастом. У меня полная голова чужих изречений, и ни одной своей мысли. А ещё этот сумасшедший знал наизусть «Соленую купель» Новикова-Прибоя, а ещё он имел первый разряд по шахматам и на вопрос, как здоровье, всегда отвечал: «Скоро меня будет судить Блок и Маяковский». А можно я буду называть вас Изидой Златокудрой?

– Он совсем не сумасшедший.

– Кто?

– Ну, тот, который говорил, что он жрец Изида Златокудрой.

– Конечно, нет. Сумасшедший я. Вы видели когда-нибудь, чтобы человек в моём почтенном возрасте отдал добровольно молодому человеку в модном спортивном костюме «Адидас» просто так двести шекелей?

– Видела, и не одного. Этого молодого человека так и зовут «Адидас». Он наркоман.

– Мне это нравится. Все знают, чем промышляет этот спортсмен, а он всё ещё не за решёткой. Либеральная страна. Вы тоже жили в Холоне?

– Нет, я живу в Кирьят-Шерете, но у нас он тоже персона известная.

– В Кирьят-Шерете? Значит, я ещё не совсем отупел, потому что я правильно определил вчера национальность вашего спутника. Я решил, что у него кавказская внешность и не ошибся. Кирьят-Шерет – это маленькая Грузия.

– Он из Абхазии. Это брат моего мужа.

– А что с мужем?

– Он умер.

– Отчего?

– От тоски. Он – журналист, здесь мыл посуду в грузинском ресторане.

– Примите мои соболезнования. А куда вы летите?

– В Тбилиси.

– У вас тоже задерживается вылет?

– Тоже. Зимой в Израиле часто проблемы с вылетом.

– Я вчера, когда за вами шёл, придумывал, с чего начать разговор. И знаете, что я придумал? Если бы вас не увёз от меня седовласый красавец, я бы подошёл к вам и спросил, а не знаете ли вы, что обозначает Шехина? Потом я решительно отмёл этот вариант.

– Почему?

– Во-первых, потому, что вы русская, а русские женщины хоть и лучшие в мире, это несомненно, но очень даже могут беспричинно нахамить и испортить пожилому человеку настроение. А во-вторых, вы могли не знать ответа на вопрос и тогда я поставил бы вас в неловкое положение.

– Шехина – это божественное присутствие, то есть проявление Бога в сотворённом им мире.

– Так! Вы не только красивая, но ещё и умная. Что редкость. Если вы считаете, что я сказал пошлость, я беру комплимент обратно и приношу вам свои извинения. Это всё из-за недосыпания. Я из-за вашего Адидаса не сплю уже почти сутки. Но я сказал правду. А откуда вы знаете про Шехину?

– Я проходила гиюр. Изучала иудаизм. Это из молитвы «Эль Малэ Рахамим».

– А вы можете спать сидя? Вы знаете, я совершенно не могу. Зеваю до хруста в челюстях, но не сплю. У меня, наверное, глаза красные, как у кролика?

– Хорошие у вас глаза, зачем вы на себя наговариваете? Вам надо кофе с коньяком выпить. Уснуть вы не уснёте, но взбодритесь обязательно. У меня растворимый кофе и термос с кипятком всегда с собой. Я ужасная кофеманка. Без кофе я увядаю.

– Это идея. Я тут на втором этаже видел мерзавчики французского коньяка «Шантрэ». Я беру коньяк. Там на улице под финиковой пальмой есть скамейка. Там и взбодримся.

– Мне нельзя пить коньяк. Со мной даже с малой дозы алкоголя происходит что-то невообразимое. Я становлюсь отвратительно правдивой, что не всем нравится, я делаюсь распушенной и почти сальной, а ещё я становлюсь непереносимо болтливой.

– Это безумно интересно. А еще интересней увидеть вас распушенной. Я убеждён, что вам идёт распушенность. И о чём же вы болтаете?

– Как это о чём? Всегда об одном и том же. Об Абхазо-Грузинском конфликте. Я пережила в Сухуми весь этот ужас с начала до конца и чудом осталась живой. О чём же мне ещё говорить.

– Все! Начинаем эксперимент. Вы будете патологически пьянеть, а я как врач буду наблюдать клинику.

– А неотложную помощь окажете?

– Окажу.

Они вышли из здания аэропорта, уселись на скамейку под пальмой, заварили в крышечке из-под термоса кофе, плеснули туда коньяку, и сделали по очереди по глотку.

– Пора познакомиться. Меня зовут Аркадий, а вас?

– Меня зовут Тamarой, но вы же обещали называть меня Изидой Златокудрой.

– Скажите мне, о, Златокудрая Изида, что вы делали на кладбище?

– Установили памятник очередному родственнику мужа. В Абхазии они долгожители, а здесь умирают – не успеваем хоронить. А вы что делали на кладбище?

– Отцу надгробный памятник установил. А что это за мерзкие птички на дереве? Вы замечаете, что чем громче мы с вами говорим, тем громче они кричат. Финики не могут поделить?

Подул ветер, и на подол Изиде упало несколько фиников.

– Вот и закуска. Смотрите, как мы будем их есть. Вы уляжетесь, наконец, горизонтально, положите голову мне на бедро. Вы ведь хотите этого? Хотите ощутить затылком мягкое тепло моего тела? Конечно, хотите. Я буду надкусывать половиночку плода, а вторую половинку буду давать вам, держась за косточку. Вы будете открывать рот, а я буду вас кормить. Есть в самой такой манере кормления нечто эротичное. Самый лучший секс – секс виртуальный. Правда? И я буду болтать, и моя болтовня будет действовать на вас, как снотворное и вы хоть чуточку вздремнёте.

– До сегодняшнего дня болтовня приятной женщины действовала на меня противоположным образом. А виртуальный секс называется – петтинг.

– Нет. Петтинг – это другое. Не спорьте со мной, я – специалист, можно сказать, профессионал. Вы, мужчины примитивнее нас в этом вопросе.

– А давайте хоть на период кормления перейдём на ты.

– Не перейдём. Так мы все испортим, и не спорьте со мной. Мужчины умные из книг, а мы умные от рождения. Вот видите, я тоже цитирую чужие мысли. Ваша манера обольщения безукоризненна, но не нужно ничего этого. Вы думаете – это вы меня совращаете? Это я выбрала вас на кладбище и, взглянув на вас, мысленно позвала вас за собой. И вы пошли.

– Расскажите мне про мою манеру обольщения.

– Пожалуйста. Вы начинаете с очень нестандартного хорошо продуманного комплимента и потом путём частого вкрапления его в нить разговора заставляете поверить в него. Я же повелась на Изиду Златокудрую? Повелась.

Вы безоглядно самоироничны и это умно. Море побеждает реки, потому что оно ниже их. Единственный ваш прокол – это лёгкая кокетливость. Вот вы сегодня несколько раз упомянули про ваш почтенный возраст, и если бы я поинтересовалась вашим возрастом, вы бы непременно спросили: «А сколько вы мне дадите?». Спросили бы с затаённой надеждой, что вам дадут меньше лет, чем вы имеете в метрике о рождении. Вы же точно знаете, что вы импозантный мужчина в самом соку и что выглядите моложе своих лет. Обыкновенный приём старой потаскухи.

– Грубо.

– А я вас предупреждала, что буду резать правду-матку в глаза. Не надо было поить меня коньяком. Самый главный ваш козырь знаете в чём? Вы предельно откровенны. А откровенность в разговоре с противоположным полом – это почти интим.

– Вы тоже предельно откровенны.

– Только когда я выпью. Хотите, я вам скажу, о чём вы сейчас думаете. Вы в процессе разговора незаметно прижались головой к моему телу, и когда я смеюсь, вы щекой ощущаете дрожь моего живота. Это возбуждает вас необычайно. Больше, чем если бы вы увидели меня обнажённой. А ещё я знаю, что при первом сексуальном контакте с новой дамой вы, как и большинство нормальных мужчин, страшно боитесь прийти к финалу раньше партнерши. А если, не дай бог такое с вами произойдёт, то вы будете расценивать это, как личную трагедию. Вы все хотели бы быть в постели столь же пролонгированы, как увиденные вами на экране телевизора сексуальные роботы из дешёвых порнофильмов. И невдомёк вам, что есть определённый сорт женщин, которых совершенно не интересуют ни количество, ни качество вхождений. Эти тонкие, необыкновенно чувственные женщины взрываются именно тогда, и только тогда, когда в себе ощущают первый удар излияния. Самым глубоким местом ощущают, и не отпускают вас потом до тех пор, пока не выжмут из вас последнюю каплю сладости. Как вы не можете понять, что тупое неутомимое размеренное движение поршня – это так скучно. Я лично при этом всегда ощущаю себя цилиндром.

– Цилиндр – мужского рода.

– Значит, я ощущаю себя при этом цилиндрой, а еще смешней – цилиндрхой. И зачем влетать в мадам на космической скорости? Это так ординарно. Я, например, обожаю ощущать по миллиметру, расширяющее меня проникновение. Вот, вы, судя по всему, стайер в постели и весьма гордитесь этим. А мне было бы намного интересней, если бы вы были закомплексованным интеллигентиком с сексуальным неврозом и с абсолютно неуправляемым извержением. Вы бы стыдились своей неполноценности, а я бы вас утешала. Это так по-бабски.

– Златокудрая Изид! Я торжественно обещаю вам переквалифицироваться в спринтеры. Давайте сдадим билеты, возьмём номер в отеле «Ами», и будем проникать друг в дружку буквально по микрону, и слушать при этом шум прибора.

– Романтично, но не пойдём. Я останавливалась в этом отеле, когда приехала в Израиль. Там тонкие перегородки и мой сосед привёл в номер темнокожую проститутку. Она кричала от чувств, как резаная, и я всю ночь не могла уснуть.

– На эту тему у Губермана есть стишок. Только он не совсем приличный.

– Пугать меня пьяную нецензурными выражениями – это всё равно, как пугать ежа голой задницей. Я забыла вам сказать про ещё одну интересную особенность моего опьянения: трезвую меня коробит от мата, а пьяная я нахожу в дозированном мате необыкновенную прелесть.

– Тогда слушайте:

*Мы закрыли все окошки,
Но уснуть мы не могли,
Ночью так кричали кошки,
Будто тигры их е..и!*

– Ой, какая прелесть? – Она сгибалась при смехе и он, воспользовавшись моментом, чуть приподнял голову и украдкой обозначил поцелуй на упругой округлости её груди. – Ой, я не могу, какая прелесть! Всё, переходим на ты. После подобных поэтических упражнений малокровное тургеневское «вы» считаю неуместным. Сейчас моя очередь говорить пошлости типа: «Я вас знаю немного, а такое впечатление, что знаю вас всю жизнь». Молчи, ничего не говори, всё испортим, – она закрыла ладонью его рот. – Я знаю, чего ты сейчас хочешь. Больше всего на свете ты хотел бы сейчас лежать затылком не на бедре, а между моих бедер. А потом ты захотел бы перевернуться, и уткнуться лицом мне в пах, ощутить ни с чем не сравнимый запах вожденной самки или, если ты находишь моё выражение грубым: вдохнуть божественный аромат женской сущности, и вздрогнуть от болезненно сладкого напряжения внизу живота.

Он целовал без конца её душистую тёплую ладонь, брал в рот её пальцы поочередно, кончиком жадного языка едва ощутимо дотрагивался до ногтевых фаланг, чуточку прикусывал их, и она не отнимала руку. Потом они ещё разбавили кофе коньяком, а потом случился с ним эффект запредельного торможения, возбуждение сменилось успокоением, и он действительно стал забываться сном под её рассказ.

– Какой мерзавец первым придумал такое определение: «Абхазо-Грузинский конфликт?». Конфликт – это когда муж повздорил с женой из-за пустяка. Нет, если рассмотреть значение слова энциклопедически, то конфликт произошел от латинского слова *Conflictus* – столкновение. Хорошо, пусть будет столкновение. Тогда скажите мне, сколько человек нужно убить, чтобы столкновение превратилось в войну? Когда я об этом думаю, я всегда вспоминаю моего любимого – Александра Новикова:

*А войну войной никто не называл,
Окромя солдатиков,
А тыловой мордастый генерал
Слал все интендантников.*

Столкновение! Ты себе не представляешь, какой это был ужас. А самое страшное было в том, что трусливые журналоги в то время стыдливо называли этот кровавый кошмар конфликтом. Конфликт! У меня маму убили в первый день войны. Грузинский вертолёт нанёс ракетный удар по зданию Абхазского парламента, и осколок попал маме в висок.

– А из-за чего всё началось? Я так тогда и не понял. – Аркадий открыл глаза.

– Ты думаешь, я поняла? Из-за какого-то пустяка. Все кричали про конституцию и суверенитет и все провозглашали благороднейшие лозунги. А потом началась бойня. Все ожесточились и истребили в себе остатки благородства. Сначала убивали абхазов, потом абхазы убивали грузин. С моим мужем учился на журфаке Миша Джинчарадзе – его убили и расчленили.

– Кто убил?

– Точно не знаю. Там же потом появились конфедераты и звиядисты. В общем, всё это ужасно и бессмысленно, как и в русском

бунте. И все говорили «Чвентан арс Гмерти» – Бог с нами, и с именем бога творили мерзости. У моей соседки на её глазах убили прямо во дворе её дома двух сыновей, двух красивых мальчиков, и она ходила безумная по городу в страшных седых космах и выла. Она выла безостановочно и жутко, как раненая волчица. И было страшно на неё смотреть. А потом меня арестовали и привели в военную прокуратуру.

– За что?

– Моя мама перед войной познакомилась на вокзале с одинокой женщиной. У неё на руках была маленькая девочка. Мама пожалела её и взяла к себе жить. А когда её убили, та женщина испугалась, что я попрошу её освободить мамину квартиру, и написала на меня заявление, будто бы я – грузинская шпионка. Это очень серьёзное обвинение. Шпионов во все времена расстреливали без суда и следствия. Сухуми не был исключением. У меня ведь муж был грузинский еврей. Меня привели к Гасану. Я не знаю его фамилии. Все обращались к нему по имени. Когда я вошла, он стоял у окна.

– Где твой муж? – спросил Гасан и подошёл к столу.

– Он уже год живёт в Израиле.

– Но ты русская?

– Да, я русская.

– Как можешь доказать, что мужа нет в Тбилиси?

– Можно позвонить ему в Израиль.

– А ты знаешь, кто на тебя написал заявление?

– Не знаю, но догадываюсь.

– А за что она тебя ненавидит?

– Она боится, что я попрошу её освободить мамину квартиру.

– Мать брала с неё деньги за проживание?

– Нет.

– Почему?

– Потому что она её девочку любила, как свою.

Гасан потянул на себя ящичек стола, достал пистолет и протянул его мне:

– Застрели её, я разрешаю.

– Нет, я этого сделать не смогу.

– Больше я ничего не могу тебе предложить, – сказал Гасан, и отпустил меня домой.

– Давай ещё по глотку микстуры?
 – Давай.
 – Я тебя утомила своей болтовней?
 – Ну, как тебе не стыдно?
 – Не успела я зайти домой, как услышала шаги в коридоре. Посмотрела в глазок и увидела, что перед моими дверьми стоят те же солдаты, которые уводили меня в прокуратуру. Я схватила сумочку с документами, и с моего балкона перелезла на соседский. Чуть не сорвалась с третьего этажа, распоролла ногу о кусок арматуры, а самое страшное – выронила сумочку. И соседи-абхазы не только не сдали меня, но ещё и ходили искать в кустарнике сумочку с документами.

– Нашли?

– Слава Богу, нашли. У меня в сумочке уже лежал билет на рейс Тбилиси – Тель-Авив. Потом воспалилась рана на бедре, поднялась температура и в таком состоянии я, ночами, минуя блокпосты, добиралась до Тбилиси. В общем, утомила я тебя, признавайся.

Аркадий приподнялся и сел.

– Я хочу поцеловать твой шрам.

– Нельзя.

– Ну, почему?

– Нельзя, потому что он высоко и на внутренней стороне бедра.

– Тем более хочу. Я умоляю тебя.

– Он некрасивый, заживал вторичным натяжением, его же не зашивали.

– Я умоляю, – Аркадий стал перед ней на колени, давя ими упавшие с пальмы финики.

Она задумалась на миг, потом с решительным лукавством огляделась, удостоверилась, что рядом нет людей, невыносимо медленно приподняла подол, и он увидел розовый жгут неровного шрама, стыдливой синусоидой уходившего по внутренней поверхности бедра под белое кружево белья. Он осторожно дотронулся губами до шрама, целовал всё выше и выше, и она, уступая ему, податливо раздвигала ноги всё шире и шире, а когда он дошёл до томившегося под тканью трусиков курчавого бугорка, она зажала на мгновение его лицо нежным шёлком бёдер, и тут же отстранила его от себя.

– Не надо, мы всё испортим, всё испортим и потом себе этого не простим. Будем каяться, а счастье – это удовольствие без раскаяния. Встань, пожалуйста, с колен, неудобно.

Аркадий встал, присел на скамью рядом. Колотил пульс молотком в виски, дрожали руки.

– А как ты думаешь, почему Гасан меня отпустил?

– Потому что ты красивая.

– Ну, я серьёзно спрашиваю.

– И я серьёзно.

– А почему потом передумал?

– Потому что когда, уходя, ты повернулась, то почувствовала спиной его заинтересованный мужской взгляд и у тебя изменилась походка и фигура превратилась в стан.

«Начинается регистрация билетов на рейс Тель-Авив – Тбилиси», – голос диктора бесстрастно сделал сообщение на иврите, потом на английском, потом на русском.

Она поднималась по трапу самолёта последней, и, навсегда исчезая в проёме дверей, обернулась на миг и махнула ему посадочным талоном, как платком.

* * *

Аркадий стареет по классической схеме: сначала наступает охлаждение к друзьям, потом к женщинам, потом к жизни. К женщинам он ещё не охладил, хотя и утратил прежнюю пылкость, но в отношениях с друзьями наступила некоторая перемена. Он ещё показательно хлебосолен, внешне радушно принимает друзей – «накрывает поляну», но сам уже старается в гости не ходить.

«В моём возрасте приличные люди уже не имеют много друзей», – цитирует он сам себе высказывание известного актёра.

Он выпивает с друзьями «для разговору», знает заранее их шутки, хохмы, приколы; тайком позёвывает, искусно прикрыв ладонью рот, и всё посматривает незаметно на часы. Алкоголь он переносит хорошо, но в компании пьёт немного, потому что после последнего посещения Израиля, всегда после застолья у него остаётся неприятное ощущение, что вот ещё бы немного, ещё бы одну только рюмочку, и он утратил бы бдительность и наговорил бы лишнего. Поэтому, совсем, не будучи пьяницей, он предпочитает выпивать в

одиночестве. Когда уезжает к матери в деревню жена (это случается не часто), он терпит до ночи, потом звонит ей, жалуется, что его опять достал разговорами крепко пьющий их общий знакомый, предупреждает жену, что он отключит телефон, чтобы этот алкаш его не разбудил, после чего с заговорческим видом он вытаскивает штекер из телефона.

– Купи себе телефон с определителем, – советует жена, – загорится номер этого пьяного идиота, ты его заблокируй и спи себе спокойно.

– Наша АТС не определяет его район, – возражает Аркадий.

На самом деле он не покупает телефон с определителем потому, что он не доверяет современной электронике. Он стал суеверен и боится, что в суперсовременном аппарате может замкнуться какой-нибудь анодик с катодиком, и телефон включится самопроизвольно, а ночью ему позвонит жена или какая-нибудь профурсетка, и они по голосу определяют степень его опьянения и испортят праздник. Примитивное же, ручное извлечение штекера из гнезда телефонного аппарата гарантированно исключает постороннее вмешательство в его личную жизнь.

Он напивается в лом. Ставит на бесконечный повтор песню Александра Новикова «Сон в стольпинском вагоне». Подпевает, частенько со слезой на глазах:

*Через плечо струились волосы
И мне впадали прямо в горсть.*

Потом с пьяной растроганностью он обращается к автору:

– О, достойнейший из антисемитов! Не обижайся, Александр! Не я же намарал твоё бессмертное: «Выплеснуть бы в харю этому жиду, что в коньяк мешает разную бурду».

Александр! Ты лучший из живущих на земле бардов! Ты мужик! Ты не пидар! Ты – замечательный поэт! Признайся, это ты про неё написал? Это же у неё струились волосы и мне впадали прямо в горсть. Властелин Многомилостивый, обитающий высоко! Как она там, на Святой земле? Унеси меня к ней на крыльях Шехины!

Аркадия не угнетает алкоголь. Он в диком возбуждении и может в таком состоянии выпить ведро. Он трезвой походкой идёт на

кухню, берёт большой кухонный нож, заходит в зал, приставляет острое лезвие очень близко к набухшей в локтевом сгибе кубитальной вене, делает решительное режущее движение, но не касается вены. Он хотел бы брызнуть тёмной венозной кровью на зеркало – эти намерения он всегда репетирует перед зеркалом – и улететь на крыльях Шехины к ней, к его Златокудрой, но каждый раз, боясь сделать себе больно – одумывается и относит нож обратно на кухню.

Новиков поёт:

*Окурков белые скелетики
Задохлись в собственном чаду.
Ты голая, в одном браслетике,
В каком, не помнится, году.*

– Гениально! – кричит Аркадий. – Гениально! Счастье – это удовольствие без раскаяния! Она мне так сама сказала!

Он оживленно жестикулирует и, пританцовывая, подпевает барду:

*А конь железный бьёт копытами
И все не жмёт на тормоза,
И снова кажутся забытыми
Её печальные глаза...*

Он уже не приплясывает, он беснуется. И если бы кто-нибудь в этот момент подсмотрел бы за ним через замочную скважину, он принял бы его за ненормального.

Потом он достаёт из книжного шкафа толстый том. В нём вырезано гнездо для пачки денег. Это заначка от жены. Его прагматичная спутница жизни никогда не станет читать эту ересь про знаки Зодиака. Аркадий открывает твёрдую обложку, вынимает деньги со словами: «Ибо сказано».

Он не говорит, о чём там сказано в красивой молитве «Эль мале Рахамим». Просто: «Ибо сказано» – и всё! Он кладёт деньги в карман плаща:

– Завтра же нищим раздам! Завтра же! Ибо сказано!

Когда яд в крови начинает превышать предельно допустимую норму, он падает, наконец, в постель. Какое-то время он упорно борется со сном, как с заклятым врагом, потом сдаётся со словами из песни Новикова: «Давай себе устроим праздник, друг другу снится в эту ночь».

Аркадий засыпает, бормоча нечленораздельное, но всегда сквозь тёмную путаницу слогов пробивается лампадный свет чётко произнесённого слова: «Златокудрая!».

Рано утром он тщательно уберёт за собой, чтобы ничто не напоминало о вчерашнем пиршестве, хорошо проветрит комнаты и хмурый выйдет на залитый дождём балкон. Он постоит самую малость и повторит с отвращением не ему принадлежащее определение плохой погоды: «На улице сморкался дождь слюнявый». А, вернувшись в дом, он спрячет деньги в лживую книгу про знаки Зодиака и обречённо вставит штекер в гнездо телефонного аппарата.

*8 декабря 2005 года
Вад-Кройцнах*

Алиса Поникаровская НАБЛЮДАТЕЛЬ

Дом имел странную форму. Еще издалека поражая количеством углов и почти отсутствием окон. Странные прорезы шириной в двадцать сантиметров в каменных серых стенах напоминали скорее смотровые щели бойниц. Наблюдатель хорошенько рассмотрел всю эту серую громаду с вершины небольшого холма, отстранено заметил все архитектурные нелепости и, проверив боевую готовность автомата, висящего через плечо, медленно пошел по тропинке вниз. Вокруг было очень тихо, словно вымерла вся живность, и только странное ярко-красное солнце недвижимо висело на фиолетовом небе, словно прибитая гвоздем тарелка.

Наблюдатель подошел к дому вплотную и еще раз осмотрелся. Сквозь камни стен кое-где пробивалась неизвестная рыжая поросль, гораздо больше похожая на тяжелые густые волосы, нежели на растение. Он снова поразился абсолютной тишине, потом, стараясь ступать как можно тише, хотя его шаги, как ему казалось, просто гремели, пошел в обход дома, вдоль стен, ища хоть какое-то подобие входа.

Дверь, забитая полусгнившими досками, не открывалась, видимо, уже давно. Порог ее зарос мхом и тем же рыжим растением, спутавшимся и скатавшимся. Наблюдатель осторожно достал из сумки, висящей на поясе, плоскогубцы и ржавые гвозди один за одним упали к его ногам. Отставив к стене доски, он нажал на дверь. Дверь поддалась как-то неожиданно сразу, и, вскинув автомат, он нырнул в образовавшуюся щель, пригнувшись, чтобы не удариться головой о низкую притолоку.

Внутри царил полумрак, и затхлый вонючий воздух мгновенно проник в легкие, заставив человека судорожно сглотнуть, сдерживая кашель. По темной полуразрушенной лестнице он поднялся на второй этаж, бесшумно ступая, и очутился в длинном, причудливо изогнутом коридоре. Наблюдатель, настороженно оглядываясь по сторонам, шагнул вправо и через несколько поворотов, стараясь не задевать закрытые двери, идущие с двух сторон, уткнулся в тяжелую кованую дверь, завершающую это крыло коридора. Он застыл перед ней, пытаясь определить, в какую сторону она открывается. Неожиданно сзади кто-то тронул его за рукав легко и осторожно. Наблюдатель резко крутанулся, вздернув автомат. Перед ним стояла девочка лет десяти, в сером бесцветном платьице, сшитом из мешковины, со странным взглядом огромных во весь глаз черных зрачков. Наблюдатель передернул затвор автомата и замер.

– Ты – сказочник? – спросила девочка с уверенной надеждой в голосе и, не обращая внимания на напряженную позу незнакомца с автоматом в руках, потянула его за куртку. – Пойдем. Тебя ждут.

И, повернувшись, пошла по коридору обратно, не оглядываясь. Наблюдатель, по-прежнему сжимая в руках автомат, пошел следом. Когда они поравнялись с первой дверью, та медленно открылась, человек напряженно дернулся, среагировав, но из-за двери показалась грязно-серая детская головка с изможденным старческим лицом, и одноглазый мальчик, поддерживая тонкой рукой подобие штанов, присоединился к идущим. Из следующей двери вышла девчушка лет семи с седой прядью в черных спутанных волосах и кульями вместо рук. Странная процессия в молчании двигалась по коридору. Двери, мимо которых они проходили, все так же бесшумно открывались, и все новые дети присоединялись к идущим: дети с горбами,

без ног и ушей, с раздробленными кистями и искривленными телами, с двумя головами, со странным, одинаковым взглядом огромных во весь глаз зрачков. И казалось, не будет этому конца. Коридор все не кончался, Наблюдатель повесил автомат на грудь, а девочка впереди шла все так же, не оглядываясь, дальше и дальше. Слышалось лишь тихое шлепанье босых ног по каменному полу, и зловеще стучали кованые ботинки Наблюдателя.

Девочка, наконец, остановилась перед странной, напоминающей по форме ключ, дверью. Наблюдатель застыл у порога, а дети, мерно обтекая его с двух сторон, просачивались внутрь этой огромной замочной скважины.

– Ну что же ты? – спросила девочка. – Иди.

Наблюдатель сделал шаг внутрь.

Большая комната с парой окон-щелей очень напоминала каменный мешок. Дети сидели на полу, кто как мог, и взгляды всех были прикованы к человеку, стоящему на пороге.

– Нам обещали. Тогда. Давно. Очень давно, – сказала девочка. – Что когда-нибудь придет сказочник. Придет и будет рассказывать сказки. Много-много сказок...

Наблюдатель еще раз обвел взглядом всех сидящих в этом каменном мешке и нажал на спусковой крючок автомата.

Петр Тушнолобов **ПЫЛЬ НА ДОРОГЕ**

Боже, дай мне **Разум** и **Душевный Покой**,
чтобы я смог принять то, что изменить не в силах;
Мужество, чтобы изменить то, что могу, и
Мудрость, чтобы отличить одно от другого.

(Из молитвы оптинских старцев)



Здравствуйте. Шестьдесят пять – восемнадцать – семьдесят? Ответьте, межгород, – резко и равнодушно проговорили в трубке.

– Да, я слушаю, – сказал Федор и присел в кресло.

– Это родственники Клюевой? Михайловский дом-интернат для престарелых. Она сегодня умерла. Забирать будете? Если не

приедете, то позвоните и сообщите. Похороны в понедельник. Мы долго ждать не можем, жарко.

– Хорошо, – произнес Федор спокойно и положил трубку.

Он понимал, что должен испытывать горе, печаль и тоску, но чувств не было никаких. «Может быть, я тоже уже умер?» – подумал он.

Его жена Наталья на кухне мыла посуду. Он вошел в комнату, которая показалась просторной клеткой, посмотрел на ровно побеленный потолок, прислушался к загудевшему, как трактор, холодильнику. Здесь отчётливо ощущался запах жареной картошки. Он вдруг почувствовал голод и, когда жена повернула к нему голову, негромко произнес:

– Мать померла.

В комнате повисла тишина. Жена и мать не просто не любили друг друга. Их неприязнь возникла еще тогда, когда Федор привез Наташу в деревню на смотрины. Матери нравились черноглазые, справные, а студентка была стройненькая, светлокожая, с темными пятнами под нижними веками.

– И чего ты в ней нашел, – выговаривала она сыну, когда девушки не было поблизости. Однако, в глаза Настасья Никифоровна ничего плохого Наташе не говорила. Наоборот, старалась всячески угодить ей: напоить парным молоком, предложить лучший кусок мяса и уложить на мягкую перину. Будущая свекровь девушке сразу не понравилась, но Федору Наташа тогда ничего не сказала.

Федор жил с Натальей уже двадцать лет. У них в студенчестве был бурный роман. Они то сходились, то расходились, то ссорились, то мирились. Наконец, подали заявление. Но, перед самой свадьбой, Федор расхотел жениться и сказал ей об этом. Да и мать, приехавшая к нему на регистрацию, не одобряла его намерения. Она считала, что сначала надо закончить университет. Наташа тяжело переживала разрыв и думала, что судьба совсем развела ее с Федором. Однако все обернулось иначе. Федор вскоре помирился с Наташей, наладил отношения с ее родителями и опять стал бывать у нее. Через несколько месяцев Наташа поняла, что беременна. Когда раздумывали о женитьбе, состояние Федора было двойственным. Он и хотел и не хотел одновременно. Он вообще не знал, на что

решиться. Тогда стали бросать монету: если выпадет орел – не женимся, если решка – идем расписываться, значит, судьба. Выпала решка... Регистрацию провели без всякой помпы: просто пошли в загс и расписались. Федор стал жить у Наташи вместе с ее родителями и братом.

Наталья вытирала посуду, а Федор наложил жареной картошки, отрезал ломоть хлеба, налил стакан молока, и стал неторопливо есть, уставившись в стену. Вот уже несколько лет семья едва сводила концы с концами. Деньги Наталье задерживали на полгода. Она работала врачом-педиатром в районной поликлинике. Жили на одну преподавательскую зарплату Федора. Он трудился в университете на кафедре философии и получал немного, но регулярно.

С некоторых пор он потерял интерес к своему делу. Ему казалось, что никого ничему нельзя научить. Рвения студентов к учебе он не видел. Скорее наблюдал, как те всеми возможными способами делают вид, что учатся. Он помнил себя в их годы и прекрасно понимал, что у них сейчас совсем другие проблемы, а науки, которые им приходится изучать, воспринимаются, скорее, как досадная помеха.

Федор долго метался по жизни в поисках себя, но так и не нашел, хотя внешне его жизнь выглядела благополучно: семья, квартира, профессорская должность в университете. Он не мог найти точки опоры, какого-то мощного основания. Все представлялось зыбким, неопределенным, расплывчатым и бессмысленным. Единственное, что еще несколько держало его в жизни, – творчество. Когда он писал, то забывался. Его увлекал сам процесс работы над текстом. Однако статьи, стихи и рассказы тоже никому не были нужны.

В последнее время он обостренно ощущал лживость всего, что его окружало, ненависть к людям и чувство вины. Чувство было не конкретным, а каким-то тотальным, всеобщим. Он ощущал вину перед матерью, женой, внебрачной дочерью, которую не видел восемнадцать лет, и даже не знал, жива ли она и где сейчас находится.

Только дети ещё вносили какой-то смысл в его существование. Их дома не было. Старший еще не пришел из университета, где он

учился на втором курсе математического факультета. Младший заканчивал восьмой класс. Сыновья, как это часто бывает, резко отличались друг от друга. В чем-то они, конечно, походили на Федора, повторяли его словечки и действия, сами не замечая того. Нельзя было не увидеть, что старший унаследовал от Федора его сильную волю. Казалось, границ для неё вообще не существует. У младшего проявлялось ярко выраженное женское начало, интуиция, хитрость. Он добивался всего, не затрачивая много энергии.

– Надо Евгению сообщить, – сказала Наталья и, повесив полотенце на стенку, опустила на табуретку.

Федор промолчал. У Жени не было телефона. Можно было попробовать передать ему сообщение через соседей. Он быстро дозвонился до них и попросил молодую девушку, взявшую трубку, передать брату, что умерла мать, и чтобы тот срочно позвонил.

Усевшись у телевизора, Федор тупо уставился в ящик. На экране иногда появлялись черные полосы, изредка пропадал звук. В конце этого учебного года Федор почувствовал страшную усталость. Работать ему не хотелось. Он часто болел, но, преодолевая себя, ходил на работу, ждал и никак не мог дождаться отпуска. По телевизору опять показывали бесконечный сериал о войне мэра и губернатора. На одном канале поливали грязью мэрию, на другом – краевые структуры. «Если бы наш тупорылый народ что-нибудь соображал, то прокатил бы на выборах и того, и другого», – подумал он. Эту войну, как и большинство жителей города, он воспринимал негативно. Просто две бандитские группы делят сферы влияния. Да и вообще, все, что творилось в стране, напоминало воровскую «малину». Полуживой президент, как перчатки, менял правительство, власть разворовывала остатки созданного народом богатства, работяги время от времени объявляли забастовки и голодовки. Но в целом, зомбированный средствами массовой информации народ безмолвствовал, все туже затягивая пояса, заливая тоску водкой и уже ни во что не веря.

Брат позвонил, когда уже началась программа «Время». Его недовольный голос вызвал в воображении Федора грузную, обрюзгшую фигуру с большим животом и лицо с красным носом.

– Что звонил? – хмуро спросил Евгений.

– У тебя машина на ходу?

– Машина-то на ходу, да бензина нет. Достанешь?
 – У меня нет денег. Кое-как наскребаем на еду.
 – У меня тоже. – В трубке воцарилось молчание.
 – Они попросили перезвонить, если не поедем. Звонить? – спросил Федор равнодушно.

– Звони. А какие у нас еще варианты?
 – Можно ехать на автобусе. Тогда надо выезжать завтра, в воскресенье. Ну что, поедем или нет?
 – Ты пока подожди, я тебе утром брякну. Пока, – сказал Евгений и положил трубку.

Утром он позвонил, сказал, что нашел бензин и обещал подъехать к трем часам.

Наталья, на всякий случай, дала Федору сто рублей. Он налил себе полторалитровую бутылку кипяченой воды и положил в сумку немного еды. По такому случаю, жена разорилась на копченую колбасу, которая была нарезана тончайшими ломтиками и запечатана в вакуумную упаковку.

Евгений подъехал раньше срока. Федор увидел в окно, как он выходит из шикарной иномарки – «Тойоты» тёмно-синего цвета.

– У тебя что, бриться нечем? – не здороваясь, недовольно спросил Евгений прямо с порога.

Федор недавно отрастил бороду, и брат еще не видел его в таком облике. Рыжеватая, с несколькими седыми волосками, борода делала Федора старше, смягчала жесткую, волевою линию губ, округляла лицо. Его голубые глаза смотрели вглубь человека, и, казалось, пронизывали насквозь. Взгляд был тяжелый и суровый. Не высокая, коренастая фигура источала силу, не физическую, а какую-то внутреннюю, волевою. Никто бы никогда не подумал, что этот внешне уверенный в себе человек, испытывает противоречивые чувства, растаскивающие его сознание на части. Только приглядевшись, можно было обнаружить опущенные уголки губ, выдававшие загаённое страдание и душевную муку.

Евгений бросил закрывать дверь, которая не захлопывалась без навыка, так как замок давно уже болтался, требуя к себе внимания. Перебрасываясь с Натальей и Федором ничего не значащими словами и двигаясь по комнатам, он оглядел квартиру. Здесь ничего не изменилось: те же старые обшарпанные обои в прихожей, в трех

местах у потолка висели кусками, грозя оторваться. На полу валялись трубы. В доме собирались менять систему отопления. Неудобные кресла с обглоданными подлокотниками, старый телевизор, кухонный гарнитур двенадцатилетней давности, – все говорило, что здесь не процветают.

Посидели перед дорогой. До Михайловского триста километров. Да еще переправа на пароме. Путь неблизкий.

– Ни пуха, ни пера, – пожелала Наталья.

Федор, ничего не сказав, быстро вышел вслед за Евгением. Он уже было смирился с тем, что никуда не поедет. А тут, в один миг, ситуация изменилась и ему стало тревожно и беспокойно. Брат говорил, что плохо видит, не знает дорогу, неуверенно чувствует себя в городе в потоке машин. Федор боялся ехать, но ничего уже было сделать нельзя. «Ведь решили же, вроде, не ехать, так зачем едем? Еще в аварию попадем», – подумал он.

Он вспомнил, что случилось с мужем женщины, которая несколько лет назад соблазнила его. Судьба, словно подглядев ситуацию, отняла у неё мужчину. Видно, Федор был у нее не первый. Она говорила, что у них свободные отношения. Супруг ехал в гололёд на «шестёрке». Машину выкинуло на середину дороги, и она столкнулась со встречной.

В последние годы Федор стал опасаться ездить на чем-либо. И делал это только в случае необходимости. Как легко закончить свою жизнь в густо набитом машинами миллионном городе! Сводки по радио и телевидению ежедневно напоминали об этом. И тогда зачем все это сорокалетнее дерганье? Зачем он столько учился? Зачем делал научную карьеру? Может быть, сыновья – его оправдание? Или два десятка публикаций и докторская степень?

Всю свою жизнь он выёживался, лез из кожи, чтобы стать лучше, умнее, сильнее и что в итоге? Он едет хоронить мать, которую они с братом несколько лет назад отвезли в дом престарелых. Похоже, судьба смеется над ним. Какую шутку выкинет она в этой поездке? Виноват ли он в том, что произошло? Мог ли он поступить по-другому?

Мать после паралича несколько лет жила у брата в Новокузнецке. В отношениях Жени и его жены, Любы, уже тогда была трещина.

Они расписались, когда им было по шестнадцать лет, сбежав от родителей в другой город. Но постепенно они стали отдаляться друг от друга. Думая, что можно найти где-то лучшее жильё, они мотались по стране и сменили четыре места. Когда Люба заболела и лежала в туберкулезном диспансере, она спуталась с таким же товарищем по несчастью. Люба была очень красива. Мужики за ней так и вились. Лицом она походила на Настасью Никифоровну в молодости. Федор в детстве тоже был влюблен в Любу. Не зря, видно, психологи говорят о том, что мужики ищут в своих возлюбленных черты своих матерей. Даже понятие есть такое, импринтинг, то есть запечатление новорожденным образа того человека, который первым появляется перед глазами младенца.

Люба безупречно ухаживала за свекровью. Она вкусно готовила и была тактична. Обращалась с ней только на «вы» и называла мамой. Настасья Никифоровна у Любы каталась, как сыр в масле. Но ей все не нравилось. Каждую весну она требовала, чтобы ее везли в деревню сажать картошку, закатывала скандалы, требовала лекарств, чуть что вызывала скорую, материла Любу, обвиняла ее в том, что та ворует ее вещи и деньги. Терпение у снохи кончилось через несколько лет. Евгений привез мать в Красноярск, к Федору, и сдал из рук в руки.

Федор тогда не знал, какой подарок он получил от брата. Он со своим приятелем встретил мать на вокзале. Они подогнали прямо к поезду мини-трактор с тележкой, погрузили на тележку мать и ее многочисленные узлы и доехали до специально заказанной машины, на которой благополучно добрались до дому.

Трехкомнатная квартира Федора матери понравилась. Вначале все было хорошо. Но потом все стало, как у брата. Мать начала бузить. Федор несколько раз возил ее в родное село. Она все пыривалась остаться там жить, хотя не могла уже обходиться без посторонней помощи после инсульта. Ее правая рука плохо действовала. А правая стопа вообще не слушалась, и она передвигалась с палкой, медленно ступая мелкими шажками и зорко глядя своим орлиным взором. Через несколько лет брат переехал в один из райцентров края. Он разошелся с Любой и сошелся с Ольгой. Федор, пожив несколько лет с матерью, перевез ее к брату обратно. Ольга была многодетной матерью с мужским, резким и волевым характером.

Её взрослые дети жили отдельно. В новой семье Ольга всем заправляла, подгоняя и поправляя флегматичного мужа. Через полгода, когда начались выступления Настасьи Никифоровны с криками и матами, Ольга привезла ее к Федору и высадила у подъезда.

Когда жить Наталье с матерью стало совсем нелегко, обратились к психиатру. Тот сказал, что у нее старческий маразм, но признал ее вменяемой и назначил лекарства, которые Настасья Никифоровна не пила. Внуки тоже возненавидели бабушку.

Периодически в квартире вспыхивали бои местного значения. Дошло и до рукоприкладства. Как-то Федору пришлось разнимать дерущихся женщин.

Ела мать отдельно. Федор сам ходил в магазин за продуктами и готовил. Наталья вскоре отказалась ее кормить, так как той не нравилась её стряпня, и она утверждала, что сноха её травит.

Три года назад Федор не выдержал. Они замучили его. После одного из скандалов он бросился на пол в своей комнате и громко зарыдал. А потом встал и сказал, что принял решение: мать сдаст в дом престарелых, а с женой разойдется. Наталью такой поворот явно не устраивал. Она кое-как уговорила Федора. Мать тоже не хотела идти в дом престарелых. А по закону, без ее согласия, этого было сделать невозможно. И опять круг замкнулся. Что же делать?

Наталья опять стала говорить, что нужно что-то решать с матерью. И вот он узнал в беседе, что есть свободные места в доме-интернате в Михайловском. Но нужно желание матери. И тогда Федор заставил мать подписать заявление... Единственное, чего та боялась, так это того, что ее не будут кормить. Страх перед голодом у неё остался с войны, когда ей приходилось запаривать и есть лебеду. Федор сказал, что если она не подпишет заявление, то он перестанет ей готовить. И мать согласилась. Федор быстро оформил все документы и созвонился с братом.

Все это Федор вспомнил, пока они выбирались из города. Он сидел напряженно, вжимался в кресло и поглядывал по сторонам. Как всегда, в стрессовой ситуации, у него возникли небольшие неприятные ощущения в левой стороне груди и левом плече.

Машина у Жени была классная, что называется, со всеми наворотами. Он показал Федору, как работает кондиционер, включил

магнитофон, продемонстрировал переключение ведущих колёс. Ясно, что автомобиль Жене очень нравится, но вида он не подает. Несколько раз он спрашивал Федора о том, почему тот не купит машину. У Федора к технике всегда сохранялось прохладное отношение. Он был, в отличие от Евгения, типичным гуманитарием. Да и, вообще, равнодушно относился к техническому прогрессу: не видел особой разницы между допотопной телегой и современным скоростным автомобилем, так как ему была открыта их сущность, а не проявление. Все замечали форму, скорость, цвет, комфорт, мощность, а он усматривал, прежде всего, назначение. В какие бы одежды не рядилась телега, она оставалась средством передвижения подобно тому, как изменение мощности дубины, как орудия убийства, от деревянной до водородной, ничего не меняло в принципе. Человечество, пойдя по техногенному пути, забрело в тупик, и вот-вот должно было уничтожить себя, разлетевшись в пух и прах вместе с созданной тысячелетиями культурой и цивилизацией. А в основе всего были лень, жадность, стремление к власти и тяга к удовольствиям. Не удовлетворять все более возрастающие потребности надо было, теперь уже ясно, а ограничивать и окультуривать. Да не делают человека счастливым все эти блага цивилизации! А что делает? Федор и сам не мог ответить на вопрос, который неоднократно себе задавал.

Проехав мост, они остановились у обочины. По дороге двигались потоки машин. Здесь уверенно катили джипы и тойоты, осторожно пробирались жигули, москвичи и волги. Все куда-то ехали, время от времени замирая перед светофорами и поглядывая из окон друг на друга. Однообразные железобетонные коробки высились с обеих сторон дороги. Вот справа от дороги зазвенел трамвай. Пугливые пешеходы переходили дорогу по полосатому переходу. У остановки затормозил автобус марки «Мерседес». Из него вышла веселая компания и отправилась через дорогу, лавируя между машинами. Дорога жила своей обычной жизнью, и никому не было дела до двух путешественников поневоле.

Федор подошел к владельцу красного жигуленка, широкоплечему красавцу-усачу, и спросил, как выбрать на трассу.

– Сейчас повернете направо, а потом все время прямо и прямо, – сверкнув золотыми зубами и выпустив облако дыма, сказал парень, роясь в багажнике.

И точно. Через некоторое время Федор успокоился и расслабился. Они выбрались за город. Машина прибавила ходу. А Федор старался запомнить дорогу, что у него всегда плохо получалось, и читал указатели. Трасса серою лентой уходила за горизонт и терялась вдаль в зелени деревьев. Дорожные указатели сообщали массу сведений: когда можно прибавить скорость, когда убавить, где какие повороты, сколько километров осталось до крупных городов, где главную дорогу пересекает второстепенная. Километровые столбы мелькали за окном, и Федор едва успевал читать названия населенных пунктов. На трассе Евгений осмелел, и машина птицей летела по дороге.

– И зачем жил человек?! – вдруг произнес Евгений, закуривая очередную сигарету, будто продолжая разговор с самим собой вслух.

– А ты зачем живешь? – спросил Федор и лукаво прищурился. Ему было любопытно, как ответит на свой же вопрос его пятидесятилетний брат, который имел восемь классов и работал слесарем на фабрике в райцентре.

– Раньше я думал, что ради детей. А сейчас... Прошлой весной Мишка женился. Так меня даже не пригласили на свадьбу. – В его голосе слышалась обида на старшего сына и бывшую жену. – Приезжал в гости к Кольке Панкову. Так я от Кольки узнал, приехал, приглашал к себе. Он не поехал, – с горечью сказал Евгений.

– А я, вот, не знаю, зачем живет человек, – задумчиво произнес Федор. – Хоть сотни книг прочитал на эту тему. Пишут каждый, кто во что горазд. Вот раньше все понятно было: смысл жизни в способствовании прогрессу. Как ты можешь ему помогать? Трудом. Значит, ты живешь, чтобы работать. А сейчас? Кто работает, те зубы на полку кладут. Им деньги вообще не платят. А кто не работает, а дурит народ, те по границам разъезжают, по несколько квартир имеют, да машины меняют.

– Да, развалили, разворовали страну. Ты посмотри, коровники все разграблены. Я по России поездил: везде такая картина. У нас фабрика три дня работает, два стоит. А директор себе коттедж отгрохал трехэтажный...

– Может, так и надо? Живи, пока живется... Все равно все в землю ляжем... А там уже ничего не будет.

– Некоторые же верят. Как начнут говорить про Бога, про загробную жизнь, заслушаешься.

– Все это лабуда, Женя. Никто Бога не видел, и никто оттуда, умерев, не возвратился, чтобы рассказать, а как там на самом деле. Бог – это только слово, универсалия, как говорят философы, общее понятие и ничего больше. Семьдесят лет людям твердили, что Бога нет. Разворотили церкви и храмы, уничтожили священников. Сделали из служителей культа стукачей и партработников. А после падения советской власти вдруг возлюбили Бога. К чему бы это? Ельцин всю жизнь был коммунистом, а к концу жизни в Бога поверил? Да нет, раньше народ верил в коммунизм, в генсека и его заместителей, а теперь ему подсунили для веры президента, Бога и рынок. Чем бы дитя ни тешилось, лишь бы не плакало. Всю страну заполонили религиозные организации и секты. И никто не сказал людям, что верить-то нужно, прежде всего, в себя.

Они надолго замолчали, задумавшись, каждый о своем. Федор вспомнил: еще в шестнадцать лет, как-то спросил у своего тренера по шахматам, когда они гуляли по Воскресенску после очередного тура, о смысле жизни. Черноглазый еврей Володя тогда сказал, что смысл жизни в самой жизни. Они поспорили. Но так ничего друг другу и не доказали.

Если смысл в самой жизни, то это равнозначно утверждению руководителя философского кружка в университете. Он утверждал, что смысла в жизни вообще нет.

– Тогда зачем ты живешь? – дотошно спрашивали его кружковцы.

– А, вот, утром просыпаюсь, открываю глаза, спрашиваю себя, чего я хочу. Хочу того, другого, третьего... А на общий смысл жизни человека мне глубоко наплевать.

Понятно, что общего смысла для всех шести миллиардов жителей быть не может. Может быть, у каждого есть свой? Если смыслы у всех разные, то как быть, если они начинают противоречить друг другу? Отсюда, наверное, и войны и скандалы. Человек и живет-то мгновение всего по сравнению с вечностью. Что он такое: стоит он чего-то в этой жизни или его роль ничем не отличается от камней, деревьев и животных?

Убогие деревеньки мелькали за окнами почти бесшумно двигавшейся машины. Дорога была пустынной. Солнце слепило глаза, и Федор прикрывал их и растворялся в мерном гудении двигателя. Иногда через дорогу двигались коровы и приходилось им сигналить. Покосившиеся деревянные дома равнодушно сверкали стеклянными бликами. Антенны, стоящие над домами, напоминали огородные пугала. Время от времени дорога пересекала высохшие речки по однообразным почти незаметным мостам. Лес в предвкушении скорого лета шелестел яркой листвой. Иногда на глаза попадались темно-зеленые хвойные деревья. Справа от дороги показалась черная пашня. Примерно за пятнадцать километров до Михайловского должен был быть поворот направо, к парому. Но они его проскочили. Федор почувствовал это и попросил остановить машину. Развернулись и поехали назад. На обочине стоял мотоцикл с коляской. Спросили угрюмого парня, который курил, сидя на седле мотоцикла боком. Тот сказал, что поворот они проехали всего на пару километров.

– Через два километра свернете налево, а там дорога прямо до парома, – махнул он рукой.

– Сколько до парома-то? – спросил Федор.

– Километров десять.

«Сколько мне еще осталось жить? Никто не знает... Может быть, всего десять минут, часов или дней, а, может, еще лет сорок. Умру ли я своей смертью в постели, у себя дома или в таком же доме престарелых, как мать? Буду ли я скитаться, как бомж, по помойкам в поисках объедков и жить в шалашах и подвалах, находясь в здравом уме, или сойду с ума и буду лежать среди таких же психов в дурдоме?» – думал он.

Федор задремал. В полусне перед ним мелькали картины из детства. Он любил ходить с матерью на покос, за грибами и ягодами. Мать была большой охотницей до ягод и грибов и таскала их ведрами. Бывало, набредут с матерью на полянку с красными крупными ягодами земляники и, распластавшись на траве, чтобы никто не заметил, рвут, пока не наберут ведро. Федя халтурил: он то собирал в ведро, то в рот.

Он рано научился косить траву. У него была маленькая литовка с короткой ручкой, которой он махал в свое удовольствие. Рядки у него получались спутанные, не такие ровные, как у отца и матери. Косили они всегда в одном и том же месте недалеко от села. Дорогу на покос он знал хорошо и ездил туда на стареньком велосипеде «Урал» без крыльев. Кататься на велосипеде он научился еще в первом классе. Сначала он ездил, держась левой рукой за руль, а правой за седло и стоя левой ногой на педали, потом под рамой и, наконец, по-взрослому, но еще не доставая до сиденья. Однажды, катаясь вокруг старого заброшенного дома, он врезался в столб. Колесо в восьмерку, колени в ссадинах, под глазом синяк. Мать кричала на него, говорила, чтобы больше не гонял. Но он выправил колесо, поправил руль, и, не залечив ран, вновь стал носиться на своем железном коне.

Отец Феи сильно пил и, напившись, буянил. Мать часто сама его провоцировала. Она была выше и крупнее мужа. И вот иногда Федя наблюдал эти родительские побоища. До школы он прятался от пьяного отца за круглой черной печкой.

Федя часто болел. Фельдшер сельской больницы убеждалась, что хрипов нет, и прописывала анисовые капли. Мать баловала сына: тепло укутывала, обкладывала подушками, согревала зимой постель горячей грелкой.

До шести лет она брала мальчика с собой в женскую баню. Федор вспоминал огромных, толстых теток с большими кусками жира на боках, в клубах пара, с намыленными головами и черными треугольниками между ног.

Однажды к матери пришел какой-то мужик. И Федя, лежа в другой комнате, прислушивался, как под ними скрипит кровать.

С четвертого класса занимался спортом: бегал, прыгал, выступал в пионерском четырехборье. В восьмом классе он был избран секретарем комитета комсомола школы. Федя отказывался, страшно не хотел, но его заставили. И вот после восьмого класса он решил уехать в райцентр, чтобы там доучиться в девятом и десятом классах и, самое главное, чтобы заниматься в спортшколе. Никто не мог его убедить остаться: ни мать, ни отец, ни директор школы. Когда он учился в райцентре и университете, мать частенько помогала деньгами и продуктами.

Федор очнулся, когда они подъехали к реке. Паром должен прийти через час. Они поставили машину в сторонке и, выгасив пакеты с едой, поели.

На другом берегу реки величаво высились сосны. Река мерно катила свои темные воды. Федор подошел к мостику и вымыл руки. Вода прохладная и жесткая. Река в этом месте раскинулась метров на триста-триста пятьдесят. Левый берег, на котором они ждали паром, покатый, а правый – крутой, гористый.

Федор загляделся на равнодушно движущуюся и, как будто, стоящую на месте, воду. О том, что вода движется, можно легко догадаться по щепке, которая попала в поле его зрения. Она то скрывалась из виду, то снова показывалась на поверхности. Несколько раз ее крутануло из стороны в сторону, вот она завертелась волчком и, поравнявшись с Федором, навсегда исчезла из виду. «Господи, может, и на нас кто-нибудь так же смотрит», – подумал Федор и глубоко вдохнул чистый, влажноватый речной воздух. Ветер показался прохладным, и он надел свою черную кожаную куртку.

Тогда, когда они отвозили мать в дом престарелых, он тоже был в этой куртке. Машина, которая подъехала к дому, походила на катафалк. Федор с братом переглянулись: выдержит ли эта колымага шестьсот километров? Погрузили вещи. Их было много: несколько чемоданов, коробки, шуба, ковры, мешки. Вдвоем они посадили мать на ступеньку и усадили на лавку. С ними увязался старший сын Федора. Ехали долго. Машину сильно трясло. Переправившись через реку, не сразу нашли дом-интернат. Он стоял в живописном месте, со всех сторон окруженный хвойным лесом, на берегу реки. Федор вошел в двухэтажное здание, покрашенное зеленовато-бурой краской. В коридоре он встретил худых, каких-то черных, страшных людей. Старики играли в углу в домино, а старухи стояли и разговаривали. В нос ударил вонючий запах могильной гнили и плесени. Федор отметил, как изменилось его состояние: чувства безнадежности, обреченности, покорности судьбе быстро-быстро сменяли друг друга. Впечатление от дома-интерната было гнетущее. Внимание всех сразу приковалось к Федору. Его отвели к медсестре. Она же, быстро проверив документы, стала распоряжаться. К машине подвезли

инвалидное кресло, пересадили общими усилиями туда мать. Из вещей разрешили взять лишь коричневую цигейковую шубу да чемодан. Остальное пришлось везти назад.

Подошел паром. Тойота мягко въехала и стала в сторонке. Евгений все беспокоился, что зацепился днищем, когда въезжал на паром. Федору вспомнились древнегреческие мифы о подземной реке Стикс, о переправе в подземный мир мертвых. Молоденький парнишка, который собирал с них деньги за переправу, мало смахивал на страшного мифического перевозчика, да и паром совсем не напоминал утлую лодочку, направлявшуюся в царство Тартар. Что, в сущности, наша жизнь? Переход. Прогулка между жизнью и смертью. Мы ничего не знаем ни про тот, ни про этот берег. Только предположения, только домыслы и теории. Жили ли мы раньше, будем ли жить потом? Загадка бытия...

Переплыли реку. По указателю быстро нашли дом-интернат. Когда подъехали к проходной, был уже вечер, и тучи комаров едва не выбивали глаза.

Федор прошел по знакомому коридору, спрашивая попадавших стариков, где найти медсестру. Ему говорили и направляли. Через несколько минут он стоял перед молодой, ослепительно красивой женщиной в белом халате. Она показала, где поставить машину, дала ключи от комнаты для гостей и сказала, что завтра им скажут, когда будут похороны.

Федор и Евгений побродили вокруг убогого здания, посидели на скамейке, поговорили с двумя женщинами, жившими здесь. Федора поражал контраст между величественной природой, царившей вокруг убогой богадельни, обнесенной железным забором с остроконечными пиками вверху, и нищим социальным изобретением государства. Стоило только отойти несколько шагов от ворот, и тебя окружали громадные, в обхват, сосны, уходящие в небо. Лес источал хвойные запахи. Под ногами хрустели прошлогодние шишки. Двигаясь по лесу, братья заблудились, но плутали недолго и вскоре вышли к большой куче угля и поленнице дров.

В десять часов вечера раздался клич, и женщины поспешили в дом, так как двери на ночь закрывали. Братья тоже пошли спать. Через десять минут Евгений захрапел, а Федор не спал. Если

человек ничто, тополиный пух, пыль на дороге, то зачем жить? Жить, чтобы есть? Жить, чтобы потреблять? Дети? Старший отвезет его так же, как он отвез свою мать. Дорогу знает. Его мысль билась, не находя ответа, как пойманный в силки заяц. «Хорошо Жене, – подумал он с завистью, – дрыхнет. Видно, у него нет таких проблем. Он просто отбрасывает эти вопросы и живет. А я не могу». Наконец, он тоже уснул.

Ему приснился фантастический сон. Он видел себя умершим и лежащим в гробу. Одновременно он ощущал себя матерью, глядящей на гроб со стороны и оплакивающей его. Она каталась по полу, дико выла и рвала волосы на голове. Гроб с телом опустили в глубокую могилу, и два нетрезвых мужика стали быстро закапывать яму. Через некоторое время тело разложилось и смешалось с землей. Над могилой выросла трава и две маленькие соsenки. Он видел, что частички его уже просочились в траву и поднимаются вверх по стволам деревьев. Потом на кладбище забрела молодая красно-черная корова. Она съела траву. И Федор ощутил мельчайшие атомы того, что когда-то было им, в крови коровы. Корова принесла теленка. Он дрожащий, беспомощный стоял на подстилке в сарае, и возле него суежилась хозяйка. Частички, бывшие когда-то Федором, теперь были в новорожденном теленке. Хозяева решили зарезать бычка на мясо. Его ела вся семья: муж, жена и двое детей. Теперь Федор видел, что уже опять попал в человека и не в одного, а сразу в четверых. Следующий кадр: маленький мальчик, купаясь в речке, утонул. Его похоронили, и опять Федор вместе с ним попал в землю. И все началось сначала. И никакого смысла в этом не было...

Проснувшись, он еще несколько минут лежал, не открывая глаз. «Так мы и переходим из праха в прах», – подумал он, размышляя об увиденном.

Утром сидели в комнате и ждали, когда позвонят. В комнате для гостей стояла односпальная кровать и диван. В углу висело вычурное круглое зеркало с розовым пластмассовым ободом и местами для мыла, зубной пасты и щетки. На скрипучем столе за вазой с искусственными цветами притаился графин с мутной протухшей водой. Окно закрывали бесцветные шторы в полосу. Два колченогих стула издавали похоронную мелодию, когда на

них кто-нибудь садился. Спертый воздух и решетка на окне, ограниченное пространство вызвали ощущение давления, чего-то гостиничного, временного и ненадежного. Евгений вышел покурить. Местная старушка приняла его за новенького и пыталась познакомиться. В десять часов к ним заглянула старшая сестра и пригласила идти за ней. Пока Федор закрывал дверь комнаты, Евгений и женщина куда-то ушли. Федор вышел на улицу, обошел здание слева, потом справа. Брата нигде не было. Какой-то старик указал ему, где находится морг. Когда он подошел туда, гроб уже заколотили и грузили на телегу, собираясь ехать на кладбище.

– Где ты был? – спросил Евгений недоуменно.

– Дверь закрывал, а когда вышел, вас уже не было.

– Высохла она вся, похудела. Руки какие-то синие, ты бы видел...

Федор промолчал. Ехал триста километров, чтобы проститься с матерью и вот... Не затевать же скандал. Что они, будут вскрывать гроб, что ли? Он даже после её смерти не сделал всё, как принято у людей. При жизни сыновний долг мешала исполнить семья; сейчас какая-то случайность не дала посмотреть на неё и попросить прощения. Может, она не захотела показаться ему, не простила?

Процессия двинулась к кладбищу. Идти было недалеко, всего метров четыреста. Лошадь шла шагом, отмахиваясь от комаров хвостом. Вышли за железную ограду, и пошли по лесу. Телега, обутая автомобильными шинами, мягко катила по едва заметной в траве колее. Гроб не был обит ничем, как это принято сейчас. У администрации денег не нашлось, а братья привезти материал не догадались. Желтеющая впереди домовина вызвала у Федора горькое чувство. Мать всю жизнь честно и тяжело трудилась медсестрой, и паралич случился тогда, когда она тащила со свинофермы купленного поросенка. Едва перешла через дорогу, упала. А вот ведь не заработала ничего, даже приличных похорон. Последний ее путь на этом свете в наскоро сколоченном ящике и на повозке, которую везет старая, измученная жизнью кляча. Вот и говори после этого, что счастье в труде!

Федор вдруг увидел мать такой, какой он ее видел три года назад, когда он, торопливо прощаясь, поцеловал ее в щеку. На

кровати сидела седая старуха в пестром цветном халате, в тапочках серого цвета и чулках, обвисших ниже колен. Дряблое лицо выражало испуг и надежду. В глазах были слезы. Шамкая беззубым ртом, она заголосила. Федор успокаивал мать, как маленького ребенка уговаривают, впервые сдавая в садик. Евгения рядом не было, он понес лишние вещи в машину. Те вещи, которые не разрешила оставить старшая медсестра. Запах какой-то прокисшей капусты и помоечной вони стоял в комнате.

– Ты хоть пиши мне, сынок, – сказала мать, уцепившись костлявыми пальцами левой, здоровой руки за плечо Федора.

– Мне пора, мама, – сказал Федор и, пожав ее сухонькую руку, быстро вышел и пошел, не оглядываясь.

Часто на покосе или, разговорившись, дома мать спрашивала маленького Федю:

– А, когда я буду старенькой, ты меня кормить будешь?

– Конечно, буду, мама, – говорил Федя.

И ведь кормил, поил и поставил на ноги, когда ее разбил паралич. Весь отпуск просидел у постели матери, вселял в нее веру в выздоровление. Он массировал ей пальцы рук и ног, ходил с ней сначала по палате, а потом по коридору. Мать не могла нарадоваться сыном, а соседи по палате завистливо шушукались. Кто же мог предположить, что закончится все на кладбище дома престарелых...

*«А жизнь, как помотришь
С холодным вниманьем вокруг,
Такая пустая и глупая шутка», –*

вспомнилось вдруг ему.

На кладбище были вырыты трактором две могилы. Одна из них предназначалась матери. Федор и Евгений подошли и заглянули в яму с метр шириной. Под ногами посыпалась желтая глина, и несколько комьев упали с глухим стуком. Евгений опасливо отошел от края и остановился у деревянного креста, воткнутого в трех шагах от могилы. На Федора пахнуло из глубины сыростью и мраком.

Хоронили сегодня двоих. Мужики четко знали свое дело. Они трудились молча и споро. Каждый знал, что делать, заранее. Видно,

работа эта была для них привычной и никаких эмоций не вызывала, а, может быть, они скрывали их за нарочито суровыми лицами. Они отстегнули вожжи и опустили гроб в яму.

Федору показалось, что сейчас что-то должно произойти: разверзнутся небеса, грянет гром, сверкнет молния, глас божий начнет грохотать над притихшим кладбищем. Но ничего не происходило. Зарокотал трактор и быстро присыпал яму. Мужики лопатами стали делать глиняное надгробие и установили свежеструганный крест.

– Надо им дать рублей тридцать, – сказал Федор.

– Да, да, – спохватился Евгений, – я бутылку-то забыл взять, закрутился. Венок-то мы тоже в машине оставили.

Федор, не глядя, сунул старшему могильщику три червонца.

– Помяните мать. Да подровняйте все, как следует.

Возвращались с кладбища молча. Евгений пошел отдавать ключ от комнаты для гостей старшей медсестре. А Федор понес венок на могилу матери. Он повесил венок на перекладину креста и пошел назад. В лесу его прорвало. Полились слезы, и он зарыдал. Он чувствовал вину перед матерью, знал, что уже ничего нельзя сделать, поправить, и что этот крест ему придется нести до последнего вздоха. После слез легче не стало.

Фёдор шел по лесу и знал, что уже наказан и еще будет наказан. Последние три года, с тех пор, как он отвез мать в дом престарелых, удача стала изменять ему. Куда-то ушла сила и энергия. Он много болел. Врачи нашли язву желудка. Никогда раньше он не испытывал таких материальных трудностей. Иногда дома, на самом деле, нечего было есть.

Машина вырулила из ворот последнего приюта матери. На встречу им попало старое, маленькое, сморщенное существо неопределенного пола с ведром, удочкой и рюкзаком за плечами.

Через несколько минут тойота исчезла за поворотом, подняв облако пыли. Пыль медленно оседала на бурую придорожную траву, на поленья, разбросанные у дороги, и, крутясь в воздухе на солнце, достала двух стариков, стоящих на проходной.

11 апреля 2006г.

Рифмы и ритмы



Лариса Березина
ЧУТЬ СЕРЕБРИТСЯ СВЕТ ДРОЖАЩИЙ...

* * *

Чуть серебрится свет дрожащий,
 Чуть золотится диск луны.
 О, в этом облаке летящем
 Такие выси нам даны!
 Такие тайны и отгадки,
 Такие дали... Что же ты?
 Шагни, не бойся. Без оглядки –
 Сквозь лунный свет, сквозь свет мечты...

Самое ценное в жизни и в стихах - то, что сорвалось.
Марина Цветаева

ЮЛЬКЕ. НА ПАМЯТЬ О ДЕЖУРСТВЕ

И только вы, лишённые приюта,
 Берёте розы пальцами наяд.
 И грустно улыбаются кому-то,
 Умершему столетие назад

Т. Готье

«Красавицы в ореховых овалах» –
 Ты это как-то прочитала мне.
 Так буднично, так просто, так устало,
 Так утешающе. Забытые в весне,

В траве, в капели... В чём ещё, Бог знает...
 А наши спят с тобой часы и дни.
 И наша радость к звездам улетает,
 И розы наши тоже отцвели.

Любовь, сонеты, счастье, нежность, память, –
 И мы касались этого весной...
 И вдруг понять, что ничего не станет,
 И вдруг понять: не станет нас с тобой.

Ну, а пока идёт за строчкой строчка...
 Уставший голос, тайны бытия...
 В конце сонета крошечная точка, –
 Коснувшаяся роз рука твоя...

* * *

Каир. Египет. Солнце над пустыней.
 Глаза в глаза. И уголёк горит
 Любви. Но над землею стынет
 Тень незнакомки. Тень твоя, Лилит.

Сад яблоневый. И тебе навстречу
 Я по ступенькам вниз бегу, скользя.
 И море возле ног. Весенний вечер.
 Но бьётся у виска: «Нельзя, нельзя!»

Война – и кровь – миры опять столкнула.
 Но что с тобой нам до чужих миров?
 Мы сами – мир. И смерть не обманула.
 Не победила, а спасла любовь.

И яблоневый сад. И это лето.
 Я по ступенькам в вечность ухожу.
 Каир. Египет. Солнце. Море света.
 Я по его лучу скольжу. Скольжу...

* * *

Если мы станем травой полевой,
 Может, так лучше, кто знает...
 Нежной, прозрачной, июньской травой...
 Радугой хрупкой над маем!

Может, мы станем росой на цветах,
 Чистой слезой на рассвете, –

Влагой живою на чьих-то губах
 В будущем жизнь нас отметит...

Или мы станем поющим дождём,
 Каплей из призрачной выси, –
 Нитью серебряной, тающим днём,
 Отблеском света и мысли.

И притаившись под чьим-то окном,
 Жизни коснувшись случайно,
 Станем чудесным и сказочным сном,
 Непобедимую тайной.

МУЗА

Босоногая девочка Муза,
 В синем платье из боли и слез,
 Ты под тяжестью странного груза
 Где-то рядом со мною идёшь.

Взгляд задумчив твой, тонкие руки
 В непонятном призыве... Прости! –
 Эти странствия, эти разлуки
 Слишком страшно по жизни нести!

Ты уходишь. И замер последний
 Чей-то крик, чей-то сдавленный стон.
 Ты – моё наказание, спасенье,
 Мое счастье и горе, мой сон.

И, когда я, узнав всё на свете,
 Задыхаясь, останусь в огне, –
 В летнем, душном, последнем рассвете, –
 Ты, я знаю, вернёшься ко мне.

Сергей Гудалов
А ЛЮДИ СПЕШИЛИ,
НЕ ВИДЯ НИ ЖИЗНИ, НИ СМЕРТИ...

* * *

Что мне осталось? Звёзды в горсти,
 Сонная лунная рябь.
 Лёгкое тёплое слово: «Прости».
 В глаза мне упрямая прядь.
 Серый унылый асфальт мостовой,
 Лента дорожной тесьмы.
 Что мне осталось, коль я не с тобой?
 Что мне осталось? Весь мир.

* * *

Можно подумать: «Бесчеловечно».
 Можно подумать: «Божественно».
 Просто сказать-то особенно нечего,
 Если уходит женщина.

Любых объяснений докучная пошлость...
 И проще ответить: «Я сам решил...»
 Прошлое только тогда уже прошлое,
 Когда наступает день завтрашний.

Но если уже не вчера и завтра
 Ещё? И откуда ждать помощи,
 Когда осознаешь, что ты тоже автор
 Этой сегодняшней полночи.

ГРЕХОПАДЕНИЕ

Ну что ж, допустим, что Луна всего лишь спутник
 В асфальта зеркало глядятся ночь и дождь;

Романтика пустилась на уступки:
 Темно и слякоть.... Рядом ты идешь.

Ночь плачет, в водосточных трубах ропщет;
 Что дать тебе взамен тебя самой?
 Ты намекни мне, милая, попроще;
 Чуть раньше, чем откроется замок

Двери входной.... Смеёшься ты.... Красива!
 Смеёшься – пусть, но красота – талант...
 И ничего взамен не попросила,
 И половинку яблока дала.

ALTSTADT IM BREMEN

Медный император не выдернет
 ногу из стремени,
 Я ищу душу Бремена.
 Я ищу душу Бремена...
 На заплёванных ступенях музея –
 окурки.

В кожаных куртках,
 В лицах студентов, в походке
 беременных

Я ищу душу Бремена...
 В каменных сфинксах,
 В пятнах резинки жевательной.
 Луны ножик финский.
 Я найду обязательно
 Душу древнего города –
 На узких его мостовых
 мокро, холодно.

Я ищу душу Бремена...
 Душу времени.
 Двое рядом со мной
 Упоённо целуются.

В раю февраль, и Ева словно ива –
Созвучно ветру шелестят слова...
Слова без веса, красота изгиба
Ветвей и губ заставила солгать.

В раю февраль. Кран капает на кухне,
Вода стучит в реальности ладонь.
Однажды этот рай, конечно, рухнет,
И будет март, и всё возьмёт потоп.

Игорь Егоров
ВРЕМЕНА

* * *

Солнечный, с морозцем день.
И Вы – розовощёкая богиня Эос!..
И эта пьянящая, настоящая смелость! –
Когда на Вас замерла моя летящая тень...

* * *

Вы улыбались.
От холода ёжась.
Я торопил Вас.
И всё же, всё же...

* * *

Безудержным гомоном в двух шагах –
Весна!.. И на самом деле!
Шагренево́й кожей лежат снега
Под градом кипящей капли!..

* * *

Я знаю: ты прочтёшь,
Что простучал мне дождь.

Я знаю, ты найдёшь
В словах открытых дрожь...
И многое поймёшь!

* * *

На озере так тепло.
Ты окунула весло
В воду ль, в бескрайний свет...
А на губах ответ!

* * *

А жизнь происходит быстро,
Как всё, что начистоту.
А дождь от солнца искрится,
Поёт про твою красоту!..

* * *

Твои мне строчки от руки –
Излучки памяти-реки...

* * *

О, как легки и близки
Твои дорогие шаги!
А вдруг – это только дождь,
И ты никогда не придёшь!..

* * *

Какая осень! И песчинки снега
Срываются из мглы к земле с разбега!
Я прикурю на плачущем ветру.
Твоё лицо припомню... и замру!

В твоих глазах я вижу, что не видел, –
И понял вдруг, как я тебя обидел, –
Как будто мой рассудок помутился –
Обидел, и ушёл, и не простился!

* * *

И дело не в суете.
А дело ведь в нас самих.
Вот встретились, те – не те,
А жизнь – одна на двоих!..

* * *

А знаешь, между нами нет границы:
Есть расстояние и второпях слова.
Но многое уже не повторится,
Как за окном – летящая листва...

* * *

След от колеса –
Вмятина, шаг, судьба...
Смотрим глаза в глаза.
Жизнь, как всегда, – борьба?

* * *

Как тогда – снегопад...
В мыслях сплошной разлад.
Да и слова невпопад.
Нам опять по пути!
А я рад в душе, рад:
Нам уже
от себя
не уйти!..

Ади Кусин
БОГ РОНЯЕТ МЕНЯ...

От переводчика. Где-то в середине 80-х годов, работая над первыми переводами стихотворений Кусина на русский язык, я писала: «Стихи Ади Кусина брызжут жизнью. Краски, запахи, звуки сливаются здесь в стройную симфонию,

пронизанную, однако, современными созвучиями. Вся его поэзия построена на парадоксах: классический размер и современный язык (чем Кусин неуловимо напоминает Бродского); яркие мазки и тончайшие оттенки; шутка, игра – и рефлексия, глубокая, часто грустная, иногда отчаянная. Это не Аргежи, не Баковия, не Никита Стэнеску. А Ади Кусин. Создатель подлинной поэзии – столь же традиционной, сколь и современной.

Нынче, переводя его самые свежие, последние на сегодняшний день, стихотворения, я наблюдаю, как певец мучительных переживаний, но и радостных всплесков души, создатель ярких, красочных картин, образов, сцен «живой жизни», Ади Кусин целиком уходит в мир рефлексии, погружается в поэзию «последних вопросов бытия»: тяжёлая болезнь усугубила всегда драматические, иногда трагические размышления стареющего человека о мимолетности жизни, выдвинула на первое место тему смерти – конца. Но от греха субъективизма, от гнета «морбидных» настроений эту поэзию по-прежнему спасает господствующая и здесь прочно сложившаяся, неповторимая авторская манера, верность красоте и добру и – непогрешимый вкус поэта.

Е.Л.

АРИЯ ПОБЕДИТЕЛЯ

В осень вхожу, как корабль на песок –
Октябрь – восхитительнейшая авария!
Радость *терять* – с напряжением бьется висок.
Слез ни следа.

Пою арию.

Хлопают пробки тысяч бутылок, льется вино –
Миг столкновения славного отмечается.
Ужас настиг.

Приношеньем его назовем.

Из-под земли волны тоски поднимаются.

К ШАПОЧНОМУ РАЗБОРУ

Я пришел после,
Я прошёл мимо...

Я пришел после,
окольною тропой,
Всё, что я взял, я взял
левою рукой.

Кто-то мне накапал в ухо отраву:
Мол, здесь, наконец, ты найдешь себе пару.

Я принёс колокол, глухой,
безъязыкий –
На то, что не меняют,
обменять на рынке.

К шапочному разбору
пришел искать родных,

Все товары кончились,
лежат лишь кочаны.

После танцев звонких тихо пыль садилась,
Стулья опустелые парами кружились.
По одной, легонько, сняли все мишени,
Птицы прикорнули на цепях качелей.

Вот меня ведёт по узкой дорожке
Свечка, зажженная в айве на тонкой ножке.

Я прошёл мимо,
опоздал слегка,
Тропою окольною пришел

Бог роняет меня...

Издалека.
В моей опустелой –
твоя белая рука
Знак между знаками: быть
и никогда.

БОГ РОНЯЕТ МЕНЯ

Бог роняет меня,
скольжу меж его пальцами,
как серебряная
монета.

В глубины возраста моего
кидаюсь, пытаюсь
ее поймать
и на ладони своей
удержать.

ВОЗНЕСЕНИЕ

Душа моя мчится
К самому чистому
свету.

Лёгкие расширяются, полнясь
бессмертьем.

Но увы!
В ясные ночи
так ясно видно,
Как я падаю камнем,
который пнули ногой,

Из рая
В устье колодца
с холодной водой.

Ади Кусин

ВИЗИТ

В комнате нет никого.
По крайней мере, так кажется.
Ключ на месте, под ковриком,
Значит, всё подтверждается.

Бог, пользуясь случаем,
Мирно листает
Книгу
И, на софе прикорнув,
Засыпает.

Но, рассеянный, перед тем, как уйти,
Перекладывает шёлковую закладку
На ту страницу, что лежит
у меня на пути.

СОВЕРШЕНСТВО

Одной рукой опираюсь
на костыль из воды,
Другой – на дуновение
ветра.

Лишь шаг мне нужен ещё, о Боже,
чтобы пройти

Сквозь огонь и сквозь пласт
земли.

Сентябрь 2005г.

ЖИЗНЬ В КУБЕ

В куб вступай,
В куб вступай,

Бог роняет меня...

Расслабься,
Расслабься,
Твои
эти плоские полосы,

На которых не произошло
никогда ничего.

В зеркало
погляди –
Нет у тебя ни корней,
ни ствола,

Нет у тебя колоса.

ВЫХОД

Дерево я посадил
По свету рассеял детей
В могилу родителей
опустил
Исполнил девять из
Десяти Заповедей.

Есть дом у меня и забор
Свет вечерний
не устанет мерцать.
Больше делать мне нечего
на земле.
Не заставляй же меня писать.

SIC TRANSIT

Каждый раз, как распахиваю окно, –
Все то же неблагоприятное
расположенье светил.

Ади Кусин

Захлопываю его
одним пальчиком.

Ни мага,
ни падучей звезды,
ни НКО,
По свету скитается тот же народ.

Я завариваю чай и сажусь на Калипсо,
большой пароход,
Чтобы стать
Великим Ныряльщиком.

ГЛИССАНДО

Я пишу.
И когда я пишу,
Шорох шёлка, как веянье снов.
Шорох девственный, еле слышный,
Словно снег идет меж домов.

Иссякает иль только сейчас
возникает – откуда? –
Отдалённый духов аромат.
Наважденье иль чудо?
Мотыльков трепетанье
в напряжённых ноздрях
Иль фиалок струенье
вдоль комнат?
Колыханье полёта
к Полям Елисейским,
Смерть с названьем цветка
Или длинные женские пальцы.
Не помню.

Исчезаю
и когда исчезаю,

Шорох шёлка, как веянье снов.
Шорох девственный, еле слышный,
Словно снег идёт меж домов.

Вариант

Я пишу.
И когда я пишу,
Шёлк струится – нетяжкая ноша.
Шорох девственный, еле слышный,
Словно лёгкая в доме пороша.

Иссякает иль только сейчас
возникает
Отдалённый духов аромат,
Но откуда?
Не помню.
Мотыльков трепетанье
Иль, может, фиалок
в ноздрях напряжённых,
Колыханье полёта
к Полям Елисейским,
Смерть с названьем цветка
Или длинные женские пальцы...

Исчезаю
и когда исчезаю,
шелк струится - нетяжкая ноша –
Шорох девственный, еле слышный,
Словно легкая в доме пороша.

ALTER EGO

Чуешь, как кто-то тебе нажимает
На руку, когда ты дверь открываешь?

Как кто-то другой тебе отвечает,
 Как кто-то другой исчезает,
 а ты и не знаешь?

Господи, преврати же меня в того,
 Кто себя мне дарить
 не устал!

Если я всё равно так похож на него,
 Сделай так, чтобы меня не стало,
 не знал.

30 декабря 2005г.

ЧТО-ТО

Нынче пью один на кухне
 И о чем-то размышляю –
 Что-то мне не отвечает

То ль не хочет, то ль не знает

7 сентября 2006г.

РАВНОВЕСИЕ

Тружусь над маминой могилой,
 гоним закатом, со смиреньем,
 А крест в вечерней мгле двоится
 между грехом и всепрощеньем –
 На перекладине одной
 мою рубаху сушит
 А на другой качает тень
 надежды обманувшей.

11 сентября 2006г.

Перевод Елены Логиновской

Аладар Ласлоффи **ЧТО МЕНЯ ПОБУЖДАЕТ К ЖИЗНИ**

Если б хоть что-нибудь было моим –
 так, как мне бы хотелось ... Но
 меня покидает даже случайное
 настроение, рожденное этой минутой,
 видом зеркала неба в весенней воде –
 покидает, потому что оно не моё, его уже, верно,
 кто-то другой пережил, и всё, что в человеке
 может оно возбудить, – возбудило, наверно.

Луна – фамильная драгоценность, женщины
 преходящи, они теряют
 себя в тебе, даже и не понимая, что сами,
 одни, они не могли бы остаться
 тем, чем были
 в любви, напряженно
 вытягиваясь, вырастая, раскрываясь, как почки,
 потому что любовь – это к жизни призыв бесконечной,
 любовь может
 быть – и быть может ничем. Деревья
 не способны передвигаться, книги твои,
 вещи твои достаются чужим,
 а родные – чаще всего – умирают ещё до тебя.

Если б снова ожил поэт, вернувшись
 из пропыленных книжных анналов,
 в его искушённом сознании
 сплетались бы нити тысяч ответов
 и небывалые сцены разыгрывались бы
 вокруг
 и казалось бы странно, что его наконец уважают
 и никто не посмеет больше
 его обмануть.

Перевод с венгерского Альберта и Илоны Ковач

Павел Маркин (Ёж)¹
ДОМОВОЙ-МАЛОЙ

* * *

Блазнится, как отправился я в школу
 С хозяйственной сумкой на ремне,
 Как без конвоя сам приехал в Колу,
 Где в интернате быть придётся мне.
 Как, обжигая, сигарета тлела,
 Как обзывались модным словом «тварь»,
 Но слишком резко память впечатлела
 Витые буквы, как открыл Букварь.
 Они сияли сразу за обложкой,
 Такие непонятные тогда,
 Что обводить стал деревянной ложкой,
 заныканной в кармане завсегда.
 Про всё забыл, но наш преподаватель
 («училка» так себя велела звать)
 как крикнет: «Что за первооткрыватель?
 Я тут о главном – а ему плевать.
 Ну, всё для них! Образование даром,
 Внимали бы – они же вот шалят,
 Как будто кто намазал скипидаром
 По месту, на которое велят.
 Да мне за то, что неучей учила,
 Златая полагается медаль,
 А я мигрени токо получила –
 До пенсии ещё такая даль».
 Неловко перед нею за оплошность,
 Но я не понял – в чём был виноват?
 Я б со стыда сгорел за эту пошлость,
 Когда б сосед мне не шепнул: «Быв-ват».

И я подумал, глядя ей на тщицы:
 Не заржавеет за меня медаль...
 А со страницы Буквенные птицы
 Влекли меня в неведомую даль.

* * *

Ведом этапом через город Киров,
 до Вятки был «стольпинский» вагон.
 И вот попал по воле конвоиров
 соседом малолеток в перегон.
 Мальчишки колбасу на всё меняли,
 им «западло»: похожа, мол, на член...
 И мужики в глазах себя роняли,
 сдаваясь голоду гурьбою в плен.
 А где-то мамы этих вот мальчишек,
 кровиночек желая поддержать,
 посылки собирали с мелочишек,
 но вот чужие дяди будут жрать...
 Когда пошла вечерняя оправка,
 в одном я сына будто бы узнал,
 и на листе, какая-то там справка,
 «маляву» к ним с вопросом отогнал...
 Вот так совпало, что пацан похожий
 мне жизнь свою в «малявах» рассказал,
 мол, подвернулся раз такой прохожий,
 что, их скрутя, доставил на вокзал.
 А на вокзале сразу в спецприемник,
 пошли «все ночи, полные огня»...
 И вот их гонит по стране наёмник,
 мотаются уже четыре дня.
 Нигде их не берут, везде избыток,
 а в Вятичах прекрасная тюрьма,
 но с «хавкаю» у них сплошной убыток,
 мол, предки поналожили «дерьма».

Нас в ночь пригнали, в «воронки» набили...

Ну, здравствуй, город Вятка, Боже мой,
зачем без окон те автомобили?

Сильней в этапах хочется домой.

Хорошая тюрьма! Шикарна пайка!

Я мог все впечатления сравнить,
лишь несвободы страшная напайка
все тюрьмы может на земле равнить.

Ах, как приятно грусть свою вселенской
тюремной вечной грустью наполнять...

В своей стране с тоской военнопленной
хоть что-нибудь, хоть раз – не выполнять.

В чужом монастыре своим уставом

Ты ничего не сможешь доказать...

И по «дороге» гнал сплошным составом
«малявы», чтоб мальчишке показать,

Что есть еще на белом свете счастье,
что истечет песком любейший срок,
когда людей хорошее участие
поможет вдруг ответить на зарок.

Я уводим этапами всё дальше,
где будто бы лишь тундра и пустырь,
но так надеялся, что блёстки фальши
не повлекут в тюремный монастырь.

2 марта 2001г.

ДОМОВОЙ – МАЛОЙ

Добрался до дедова дома,
И слёзы текут по щекам,
И память, тоскою ведома,
Скулит в подголосье щенкам.

И снова листочек багряный
У дома в снегу подберу,
Когда возвращаюсь весь пряный
От хвойного духа в бору.

Нарочно теперь ежедневно
Мой путь осыпают листвой.
Решили они вот так гневно
За всё рассчитаться с лихвой.

Ша, ветер, свисти мелочишку,
Я сердцем всю скорбь угадал...
Мой дом помнит токо мальчишку,
Сейчас он меня увидал.

И тянется память невольно
Осмыслить всё в этих годах,
Но лает сука недовольно,
Хохочут ветра в проводах.

Нашёл я загадки решение –
Из кадки берётся листва,
Обычное, в общем – свершенье,
Без всякого там волшебства.

Досадно, что это так просто,
Но думы идут по кольцу, –
Когда кто-то маленький ростом
Листву раскидал по крыльцу

ПОДСНЕЖНИКИ

Приснилась, давешь, бывшая жена.
Стояла так в глазах с немым вопросом,
как будто бы она поражена,
что я один сырым питаюсь просом.
Да не к тому, что некогда варить,
мне просто лень дрова и силы гробить...
Ещё стихи пытаюсь сотворить,
как отыскать подснежники в сугробе.

Она сказала про таких людей,
 которые мне жить не помогают,
 что мир подразделился на судей
 и за стихи лишь штрафы налагают.
 Да и стихами то не назовёшь,
 точнее будет, если словоблудья...
 Подснежники под снегом не сорвёшь,
 как не простят ошибок прежних судьи.

И я проснулся нравственно больным
 и утро не зарядкой встретил – водкой...
 И по селу в глазах с огнём шальным
 пулял снежками в баб прямой наводкой.
 А вечером хочу я ей сказать:
 не снись мне так, такие сны к хворобе.
 И вот пытаюсь пару слов связать,
 как отыскать подснежники в сугробе.

ТАЙНОЙ ПОДРУГЕ

Н.Г.

Ты пришла сейчас из института,
 Косу расплела на водопад...
 У трюмо минута и вот тут-то
 Обо мне подумав невпопад, –
 Вспомни: перед зеркалом старинным
 Много раз и я с тобой прошёл.
 Ты косой своей гордилась длинной,
 Я гордился, что тебя нашёл.
 В свой черёд свалилось наказание –
 Под руку другого ты взяла...
 Я читал в глазах Судьбы сказанье
 О добре с большою долей зла.

Так вот я не стал уже гордиться,
 Но сказал в ответ из куража:
 Ничего, сей опыт пригодится
 До очередного виража.

Ну а жизнь кружила, как хотела,
 Я не сдался, бедам сдачи дал...
 Вихрем перемен не завертело –
 Видно, сам не очень был удал.
 Ты, наверно, и поесть успела
 Или телефон тебя зовёт.
 Ты над смыслом вовсе не корпела,
 Думая, что боль не оживёт.

Но, быть может, в зеркале старинном
 Отразился образ: мы вдвоём –
 Иногда всплывает субмариной,
 Расплескав зеркальный водоём.

ВСКРУЖИЛ

Вы образ тот обмолвили случайно,
 Мол, как так можно: «Голову вскружить?»
 Я взял Вас на руки, сказав печально,
 Что в этом я готов вам услужить.

Я Вас кружил, пока не закричали,
 потом, смеясь, поставил на паркет...
 удары сердца что-то означали,
 морзянкой пробиваясь сквозь жакет.

Не знаю, так ли прочитал шифровку,
 но Вас в своем объятье крепко сжал,
 что ребра хрустнули, за бус шнуровку
 я искрометным взглядом пробежал.

Потом мы слились в долгом поцелуе,
 но Вы уже совсем пришли в себя...
 И, отстранясь, сказали мне: «Балуешь,
 как можно целоваться, не любя?»

И я стоял, забыв, что лишь в начале
хотел Вам токо голову вскружить...
Вы убегали, я в слепой печали
уже не знал, как мне без вас прожить.

ЛЕТУЧИЙ ГОЛЛАНДЕЦ

В Сатке зримо с искусственных гор
Отплывает голландец летучий.
Заводскую трубу как багор
Зацепляя за местные тучи.
Слышен звонкий русалочий смех,
Как прекрасно хохочут девчата, –
В этот миг в голове без помех
Долгожданная сказка зачата.

Жил однажды молоденький принц
В нежилой коммунальной квартирке,
Всё богатство его: от мокриц
До игрушечной медной мортирки.

Ничего этот принц не умел,
Как и всякий, кто в мир появлялся,
Но в мечтах своих был он так смел,
Что великим царём стать поклялся.

По соседству принцесса жила,
С книгой токо девчонка дружила
И заветной мечтою была
Для неё сказотворная жила.

Принц влюбился, затеял писать,
Добывать из сказаний трофеи...
Он увлёкся, – стал годы бросать
Прямо в ноги задумчивой Феи.

Эта Фея иль Муза, – не так
Уж проста, как могло показаться...
Принц годов разменял четвертак,
Токо сказка не хочет сказаться.

Перепачканы сотни страниц,
Да всё кажется всем, что впустую...
И упал он пред Музою ниц,
Рядом сложил и жизнь холостую.

Та принцесса давно за другим
И ей сказок...

Ну ладно, не надо.

Заскучал по местам дорогим,
По взрывным вдалеке канонадам.

Мнится: будто с искусственных гор
Отплывает голландец летучий.
Заводскую трубу как багор
Зацепляя за местные тучи.

И упали тут капли дождя
Остужающей влагой тверёзой
На лицо короля ли, вождя, –
Поглощённого сказочной грёзой.

ГОРГОНА

Грозный блеск от глаз твоих, Горгона,
Каменит сомнения в груди...
Кто поверит – только для разгона
Я забыл всю старь, не шуруди.

Ну а ты, наверно, не забыла...
Страшно, если ужас нападёт?
Потому что то, что прежде было
Статуйей никак не упадёт.

Стынет кровь... Ведическим обрядом
Блещут стрази иль алмази, ма...
Но живой, не каменный, я рядом
Лучше, когда близится зима.

Сам боялся в те глаза всмотреться,
Не припомню – кто мне говорил,
Мол, с такого взгляда не согреться –
Каменит, но взгляд мне отворил

МЁРТВЫЕ ПТИЦЫ

Цвета землистого птицы
 с перьями мшистыми птицы
 с крыльями заплесневелыми птицы
 птицы в маленьких белых манишках
 птицы с ангельскими крылами
 лежат у окровавленных ног великого века
 холодные и немые.

ТРИ АНГЕЛА

И опустились из тьмы крошечной три ангела в масках
 первый с крепкой верёвкой
 второй с острым кухонным ножом
 третий с ампулой яда

Верёвка лопнула не сдержав девяноста пяти моих
 килограммов
 выщерблен нож о мои бетонные рёбра
 ампулу с ядом я раскусил и пьянея
 с горькой усмешкой пролепетал заикаясь:

Ты уходи ангел в маске с обрывком верёвки
 ты с кухонным ножом улепётывай тоже
 ангел с осколками ампулы можешь и ты убираться
 не пришло ещё время вашей победы
 Я жду четвёртого
 этот приходит без маски
 Этого я боюсь.

РАССВЕТ I

Чуть забрезжил рассвет, и уже из листвы
 поднимаются птицы,
 возвещая трагедии ночи.

Твой стан, словно стан козули...

На опушку лесную врываются, обезумев, в пене,
 лошади,
 возвещая трагедии ночи.
 Но солнце восходит в сиянии и славе –
 Что за дело ему до трагедий, пережитых
 ночью
 птицами и лошадьми?

РАССВЕТ II

Пять часов утра: заалело у линии горизонта.
 И вот уж несмело,
 наощупь, запеваёт стая дроздов.
 Свистят, неистовствуют, изощряются в трелях,
 Как невыспавшиеся музыканты после ночной попойки –
 Откуда знают дрозды, что утро наступит,
 Что утро всегда наступает –
 Каждый день, в тот самый момент,
 Как заалеет у линии горизонта?

Перевод с венгерского Альберта и Илоны Ковач

**Эльвира Миляева
ИТОГИ****МАРТ**

Озадачить норовит
 юный март:
 то ли финиш у любви,
 то ли старт...

Оседают талый снег
 под ногой.

Эльвира Миляева

То ли любит, то ли нет
дорогой...

А за мартом – апрель
молодой.

То ли омут, то ли мель
под водой...

Половодье разорвёт
невода
и отпустит битый лёд
в никуда...

На задачи даровит
юный март.
Где-то финиш у любви,
где-то – старт...

ЛЮБЛЮ

Р.М.

Что ты чёртиков рисуешь
в свой растрёпанный альбом?
Знаешь что – пойдём, станцуем
под грозою,
под дождём!

Пусть нам молнии сверкают!
Пусть грохочет добрый гром!
И пускай весь город знает,
как нам здорово вдвоём!!!

Я люблю тугие струи
сумасшедшего дождя!!!

А ещё...

Тебя люблю я...

Слышишь...

Я...

люблю...

тебя...

ДВЕ КОМЕТЫ

Мы из разных миров,
мы из разных столетий...
Просто Время
слегка

заигралось Судьбой...

И живущие в нас любопытные дети
увлеченно следят за опасной игрой.

Наваждение чуда!

Грозы приближенье!

И мгновенье – стрела на тугой тетиве.
И вот-вот заискрится дугой притяженье,
что рождается в сердце, а не в голове.

Но расходятся в космосе наши кометы,
устремляясь к иным неизвестным мирам...
И смеётся им вслед голубая планета.
Не над нами смеётся, а нам...

ТИХО ПАДАЕТ СНЕГ

Тихо падает снег
на дома и трамваи...
Белый, белый снежок,
самый первый снежок...

Постоим... Помолчим...
 И без слов понимая,
 Отчего хорошо –
 нам вдвоём хорошо...

На ресницах твоих стайка лёгких снежинок,
 а в глазах глубина неостывших озёр...
 Заблудиться бы мне в тех студёных глубинах
 и разжечь в твоём сердце огромный костёр!
 Только падает снег, фонари ослепляя.
 На горячей щеке тает ласковый снег...
 Не спеши объяснять. Я сама понимаю:
 не отпустит тебя свет в далёком окне.

И пускай этот вечер забудется скоро.
 Но потом... иногда... будешь видеть во сне:
 кружевные сады, белый сказочный город...
 А над ним в синеве тихо падает снег.

* * *

За невидимый сучок
 Зацепился каблучок –
 Разлетелся на слезинки
 Мой хрустальный башмачок...

Жизнь отчаянно мала –
 От костра одна зола...
 Что же в том огне сгорело,
 Так я и не поняла.

ЛЮБОВЬ БЫЛА ПРАВА

И всё-таки весна пришла опять.
 И тихо бродит пепелищем сонным,
 где для того, чтоб место дать влюблённым,
 деревья начинают прорастать.

Сквозь камни пробивается трава.
 Над серым пеплом яркие соцветья...
 А я – за все сожжённое в ответе, –
 Любовь была. Она была права.

* * *

Я уговариваю боль:
 «Оставь меня, уйди!..»
 Но боль, как первая любовь,
 Как уголёк в груди.

Я уговариваю боль...
 Но шепчет боль: «Уймись.
 Я – как последняя любовь, –
 Расплатою за жизнь...»

КОНЧАЕТСЯ ОСЕНЬ

Ты видишь – кончается осень.
 Дождями размыт небосклон...
 А сердце отчаянно просит
 Тепла от ушедших времён!

И ждёт воплощенья надежды,
 И верит несбывшимся снам...
 А лес золотые одежды
 Раздаривает ветрам.

Ну что же... И мы угасаем.
 Уносим свои «Никогда».
 Озимым зерном прорастая
 В грядущие чьи-то года.

ПОМИНАЛЬНЫЕ СВЕЧИ

Средь суеты, толпы и брани
 живем, толкаясь и спеша,

не замечая тонкой грани,
где покидает нас душа...

Она одна – судья и пастырь,
наш проводник к иным мирам...
А мы на совесть клеим пластырь,
когда с собой не сладить нам...

Нет, на земле никто не вечен, –
Уходим, каждый в свой черёд.
И молча зажигает свечи,
без нас оставшийся народ.

И только звёзды издалёка
на землю шлют свои лучи –
душе, что реет одиноко
над скорбным пламенем свечи.

РЯБИНА

На могилу мою
не носите бумажных цветов.
И живые не рвите...
Положив неотёсанный камень,
посадите рябину.
Пусть алые гроздья плодов
запоздалую стаю ко мне на поминки заманят.

Посадите рябину. И я по стволу поднимусь –
все побеги и листики кровью своей напитая, –
и вернутся ко мне ранней осени тихая грусть
и весенних рассветов надежда моя молодая.

Будут ветры летать над зелёной моей головой...
Будут птицы садиться в мои шелестящие руки...
Только слившись с землёй, я навеки останусь живой –
Вопреки и назло медицинской науке.

Посадите рябину – и в мир я вернусь красотой –
Бесконечною, доброю, даже бесспорной...
Я уйду... Пусть уйду... Но оставлю за этой чертой
огонёк несгоревшей души непокорной.

ШЕЛЕСТ

Мой голос шелестит,
как падающий лист.
Я слышу шум дождя
и ветра тонкий свист...

Я падаю в листву,
я падаю в траву.
Я падаю,
я падаю...
Но всё ещё живу...

Я скоро упаду,
простившись с вышиной,
моля свою звезду
ещё побыть со мной.

Обнимется трава
с опавшею листвою,
как вечные слова
с мелодией живой.

Домокош Силади **БЕЗУМНЫЙ ХУДОЖНИК**

Тот, кому тесен мир,
Творит.
Так земля обживает космос
И космос земле говорит.
Безумный художник! Неужто
Так бесцветен, бесцветен наш мир?

Для чего же века наведения лоска
и блеска
И брэнчание лир?

Да, ты прав: дай нам только – что есть,
так, как есть,
пусть не будет ни выкриков шумных,
ни зазывной игры.
Потому что все вещи значат больше, чем просто вещи,
В каждой из них – миры.

Безумный художник! Ты знаешь, ты подсмотрел,
Что ни в чем безразличия нет,
Что бездонные солнца – в зрачках человеческих глаз,
Что на каждом булыжнике – свет.

И серое это небо, без цвета, без света – оно
Влечёт и волнует нас – неспроста.
Пора человеку понять,
Что скрывает в себе простота.

Тот, кому тесен мир,
Творит.
Так земля обживает космос
И космос земле говорит.
Перевод с венгерского Альберта и Илоны Ковач

Елена Чач
И ЗВЁЗДЫ ЖАЛИСЬ В ОБЛАКЕ ЛОХМАТОМ...

* * *

Нет, мы не бабочки, и мы не мотыльки,
но мы прибой раскатистый и мерный,
когда у края солнечной реки
июнь рождается из тополиной пены.

И звёзды жались в облаке мохнатом...

Мы тот костёр в заснеженной тайге,
который греет руки и бормочет,
о чём – не разберёшь... Тепло руке.
И главное – чуть-чуть светлее ночью.

И новый день меняет оболочку,
и новый вечер ястребом плывёт...
мы – просто те, кто отыскивали точку,
с которой лучше виден небосвод.

* * *

Ты потерпи. Впереди не видать ни зги.
Это такое унылое время года:
длинными спицами вяжут и от тоски
шепчут себе: потерпи, потерпи немного...

Всё ничего... потерпи, потерпи, дружок
...в тёплой ладони – горсточка мёрзлых ягод.
Ветер румянец твой растравил, разжёл...
Ты потерпи... ничего, ничего не надо.

Ты его смерть прочувствовала сполна,
день ото дня всё сгладится, жизни ради...
Только рябина, не видная из окна,
будет болеть в тебе памятью об утрате.

* * *

В траве кузнечики строчат, не умолкая,
но вслушаешься, что – не разберёшь.
Здесь каждый день – как слово из молитвы,
и оттого спокойно и не страшно.
А вся земля пропахла земляникой,
и смерть – всего лишь девочка с лукошком.

* * *

И шли толпой. Их голоса гудели.
Свет фонарей перетекал во тьму.

Елена Чач

Не верилось, что кто-то в самом деле
 путь через сад указывал к Нему.
 Не верилось, что этот провожатый
 свою беду доводит до конца.
 И звёзды жались в облаке лохматом,
 чтобы не видеть хищного лица...
 «Учитель!..» И пророчество сомкнулось:
 Пилат, Голгофа... Пала темнота.
 И в ней земля вдруг глухо содрогнулась –
 всей глубиной – под тяжестью Креста.

* * *

За этой Землёю не будет (не надо!)
 лубочного рая, лубочного ада:
 есть в сердце отрада далёкого сада,
 небесного града.
 Но, может, неправда и выдумка это,
 а есть лишь надежда в стихе у поэта,
 где главная тайна не спета,
 где ливнями скошено лето.

И я еле слышно по листьям иду
 встречать нашу раннюю осень
 в земном и доступном саду,
 где бьются яблоки оземь.

* * *

Море! Ты всюду
 в этом убогом,
 пропитанном бляньем коз
 городке.
 Море –
 в гроздьях тугих виноградин,
 в зелени сочной,
 в раковине на песке.
 Чермное, Чёрное –
 в дымчатом тёмном агате,
 в гривне луны на волне.

Море,
 когда пред тобой
 в мокром, просоленном платье –
 ты – во мне.

* * *

Место войн, место «тёплой» ссылки
 стало местом отдыха – вот
 влажный ветер с приморских рынков
 адыгейский акцент несёт,
 южный зной обжигает кожу
 день, другой, ещё много дней...
 море пляжи целует... всё же
 край «холодной» ссылки родней.
 Пусть – снега. Не медвежий угол.
 Жизнь вступает в свои права.
 И лежат нефтяные трубы
 там, где Меньшиков зимовал.
 А избушки – всё чаще в сказке...
 Но курортный ищут уют
 там, где люди у гор Кавказских
 минеральную воду пьют.
 ...эвкалипт, голубая сойка,
 клён в лиане, как в бороде, –
 о Сибири напомнит только
 ковшик месяца на воде.

* * *

И посыпался снег, будто кто небеса разломил, –
 задевает лицо, обступает – себя не услышишь.
 Это просто метель по-медвежьи облапила мир,
 тот, где я не умру – где уйду я по снегу – всё выше.
 Что останется здесь? – Здесь пребудут земные слова.
 Так в засохшем листке остаются и осень, и жалость.
 Вы простите меня, если в чём-то была неправда,
 ведь важнее прощенья для нас ничего не осталось...

А пока помолчим. Пусть снежинки навстречу летят,
 пусть клубится зима и рассвет оседает на крыше.
 Никого. Ничего. В тишине не узнаешь себя.
 И окликнут по имени – не разберёшь, не услышишь...

* * *

Это стало стечением, созвучьем,
 убыстряющим внутренний ритм...
 Не бывает случайностей – случай,
 незаметно – тебе: «Говори!..
 я впервые так искренне рада
 совпадениям...» – мой голос стихал...
 я в тебе узнавала собрата
 по чернильной прожилке стиха.
 И родство не забуду, не скрою...
 Мы не ведаем, что донесём,
 если даже молчать нам – строкою,
 той, которой ответим за всё.

Вероника Шелленберг
ИЗВЕЛА БЕССОННИЦЕЙ ЛУНА...

* * *

Однокрылая бабочка – дверь –
 трепетала в горячем потоке
 сотен рук, будто билась под током,
 а другая, в соседнем дворе,
 точно так же рвалась над порогом –
 однокрылая бабочка – дверь.

Половинки на разных осях
 отмахав, отскрипев полукругом,
 сквозь толпу замечали друг друга,
 и теряли опять, голося.

А во сне улетали вдвоём
 тихо-тихо поющие двери,
 и в каком-то заброшенном сквере
 открывали невидимый дом.

Выше – окна успели зажечь
 те, кто ждал и дождался кого-то...
 ...а всего-то и надо, всего-то...
 опустевшую ночь
 пересечь.

* * *

Потому что мой корень – гор,
 потому что мой друг – звонарь,
 я ещё люблю... До сих пор.
 И смотрю с колокольни вдаль.

Оглушенная высотой,
 по железной лестнице – вон,
 приголубленная тобой
 колокольный не помню звон.

Но, проси меня, не проси,
 (то, что отдано – не вернёшь)
 прорезается в страсти – синь,
 холодеющая, как нож.

* * *

Это станет землёй,
 ну, конечно – землёй...
 и травой...
 круг очерчен уже, подытожен.
 Только кто же тогда
 в серебристой прихожей
 перед кругом зеркальным
 качнет головой?

Полно!
 Полная вздрогнет пред нами луна,
 и верховная
 зазеленеет волна...
 Всё, что здесь не успели – начнётся.
 По земле и траве –
 по тебе и по мне
 лёгкой поступью дальше пройдёт.

Так финальные кадры берёт режиссёр
 в круг, что всё уменьшается...
 (в зале – пустеет).
 В круге – двое.
 Они, безусловно, робеют
 и поэтому
 вечности смотрят в упор.

РОМАНС...

Если что не так – друзья простят.
 Дверь открыта в белое пространство...
 И следы неясные двоятся
 прямо от порога и – назад.
 Может быть не сразу, но простят.

Может быть, не сразу и не все,
 но один ещё с аэродрома
 наберёт по памяти мой номер,
 подъезжая к взлётной полосе.
 А не надо чтоб любили все.

Все гораздо меньше одного...
 Он тряхнёт седою львиной гривой,
 там, над среднерусскою равниной
 пристально посмотрит он в окно.
 Только бы дождаться одного.

* * *

А казалось бы – что?
 Шерсти глупый комок.
 Кошкой брошенный
 тихий, слепой сосунок,
 на ладонь аккуратно положен.
 И не ведая наших забот и тревог,
 вздох ещё – и поплыл
 червячок, дурачок,
 до кошачьей матери
 Божьей.

А своя-то вернулась.
 И мордой седой,
 острой мордой,
 пропахшей синичьей бедой,
 роет, роет подстилку...
 Глядит мне в глаза,
 как животным
 смотреть в человечьи – нельзя.
 И трясётся её
 иссушенный живот.
 И на белой ладони
 котёнок плывёт.

* * *

Суховой меня сморил,
 сухой – состарил.
 Жилы досуха скрутил.
 Душу измытарил.

Где же ты, моя гора, –
 отраженьем в озере?
 Вместе были мы вчера,
 а теперь разрознены.

И на кой мне чёрт сдалась
душегубка города –
скрючен клён, повязан вяз, –
зелены и молоды!

Да мне по белой бороде
пуха тополиного –
лишь бы плыть куда-то где...
Таять белой глиною.

И зовёт – «Пора! Пора!»
чадо колокольное,
отражённая гора,
над водою вольная.

* * *

Спичкою – чирк!
Потрясён коробок.
Тонких лучинок
сухой говорок.

Что ж ты «за так»
только душу растряс!
Был березняк,
были тополь и вяз.

Остановилось
течение смол,
задран, ободран
зелёный подол.

И – штабеляком –
голова к голове...
Эй!

Угости огоньком!

Слышишь?
Это тебе.

* * *

БОЛЬНИЧНЫЙ РАЗГОВОР О ПОЭТАХ, КОТОРОГО ЛУЧШЕ БЫ НЕ БЫЛО СОВСЕМ

И.К.

Мы вдвоём в палате прозябаем,
то припоминаем, то зеваем,
три недели мимо просыпаем,
остальное – мелочи уже.

И однажды, кушая печенье
(у больных всегда полно печенья)
говорит она – Воображение –
это ведь не всякому дано!

Он, поэт, страдающий и бледный,
от любви, к примеру, безответной,
в одиночестве, в камерке бедной
на луну невидяще глядит.

И луна высвечивает скупое
резко выдающиеся скулы,
тёмный силуэт и стул сутулый,
и тетради жесткий переплёт.

– Да, чего уж, – говорю, – конечно,
не жилплощадь у него, – скворечник,
если он не песенник-потешник,
эти загибают будь здоров!

В остальном же, твой портрет не точен,
есть поэт – розовощёк и склочен,

многодетный весь... И, между прочим,
женщины повадились писать
(можно до утра перечислять).

Может, где-то есть пророк-отшельник,
по законам писаным – бездельник...
Выписали б лучше в понедельник, –
извела бессонницей луна!

* * *

А в последнюю ночь
приходит она, печаль.
И одна рука у неё пуста,
а в другой – печать
запечатывать прошлое
в серый простой конверт,
где всего-то брошено –
«Радость моя, привет!»

А, быть может, свидимся?
Прочен ли тот сургуч...
А, быть может, спишемся?
Вечно ли на бегу...

Но одна рука
недаром совсем пуста –
ни обратного адреса...
ни листа...

* * *

Молчание в тишине
больничное – для чего-то...
Но эти крылья – не те,
и эти – не для полёта.

Двустворчатое окно,
задворки да воробьишки...

Молчание... Вдруг оно
затягивается слишком?

Больничная пелена
для голоса и для ока...
Да та ли это луна
дотаяла раньше срока?

* * *

Под топот каурых, гнедых, вороных
замедленным солнечным диском под дых
ударена степь, опрокинута в пыль,
и небо оранжево ржавит ковыль.

И небо, и степь под присмотром орла,
тропа, что коней к водопою вела
в закатном чаду раскалённых, как медь,
солёных от пота, уставших лететь.

И с ходу разбит водомерный покой...
Копыта, копыта и шеи дугой,
и мокрые гривы, дугою летя,
достанут туда, где начало дождя.

Начало дождя над степным сушняком...
Тропа поперхнулась полынным дымком.
Горячие звёзды горячих коней
восходят над степью и тают над ней...

ДОМ У ДОЖДЯ

Детства двор,
а верней – задворки
в мокрой листве
до пятого.
С первого
не заметно кромки

в сонме дождя
невнятного.

В сон мне...
Виниловая пластинка –
ночь
в царапинах улиц.
Сорванный голос...
Твоя былинка
деревом обернулась.

Вот она,
плещущая зелёным,
старых домов причина,
чтобы вернулось
опять – зелёным
то, что теперь –
лучина.

Не разобрать
слова...
И не надо.
Голос винила
хрустнул.
Где-то на пятом,
опять на пятом,
корочкою арбузной.

* * *

Как же мы хищно
друг друга при встрече не ценим!
Всё-то мы ищем
от собственных бед панацею!
Требуем, кланчим печально,
а нет – промолчать бы...
Все – изначальные чада,
и тут же – исчадья.

«Ты отвечай за себя! –
прорычит мне тигрица, –
а не примазывай
всё поголовье зверинца!
Ты б ещё льва
попрекала бы мышью-полёвкой...»
Да! Не права...
Но и правую быть – так неловко...

Я бы сама
притупила клыки и язык свой.
Я бы вполне обошлась
без словесных изысков.
Лишь наострила бы уши,
послушные речи.
Острые уши,
ещё не совсем человечьи.

* * *

Ещё не вышедшим в тираж...

А и пусть редакторский топор
заржавеет в лесополосе!
Мы не облетели до сих пор,
шелестя во всей своей красе.

Вон, бежит на склон зелёный клён
и никак не может добежать...
Этой сладкой мукой удивлён,
длит свою земную благодать.

Острый запах зелени и трав
режет наш ветвистый черновик...
Тоже ведь редактор... Тоже прав
для ещё бегущих вероник.

* * *

Я только подумала – «Слишком тепло...»
И тут же дождя ледяное стило
стирает границы предметов.

Теряются мокрые листья в саду,
и я, растерявшись, обратно иду,
по-летнему тонко одета.

Шафраны ещё по привычке яркие,
оранжево крепкие, как позвонки
сквозь тело тепла проступают.

И тает тепло, – ты о нём не тужи,
и дождь, на лету замерзая, кружит,
и падает он, и не тает.

А разве бывает, чтоб слишком тепло?
Пригреешься только – пургой замело...
Последними – эти шафраны.

И перемещается лето туда,
где южные скалы утюжит вода...
Но как же внезапно и рано!

* * *

Слова лиши и хлеба,
глиной забей уста,
только, прошу, не требуй,
только, прошу, оставь

тем, кто дороже крови,
плечико и крыло...
Жилке височной вровень
бойкой – Твоё тепло.

Господи! Мне не надо
речи, когда она
горестная расплата
плечика и крыла.

апрель - октябрь 2006г.

Альберт Щербинин¹
ПОКИДАЯ ОСТЫВШЕЕ ТЕЛО...

* * *

Ты в курилке пускаешь нимбы
Из каждой затяжки,
Кольца дыма
Как божьи фуражки;

На затылок колечко наденешь –
Хочешь стать пресвятою девой,
Два колечка поменьше,
Сережки
Жаль, что тают они понемножку,

Ты стоишь под колечком дыма,
Стену обняв
Под сенью нимба,
Дым без огня –
На фоне стенки
Сеанс экстрасенса.

На твой ковер как моль
Лечу,
Тобой свою боль
Лечу,

Ты стоишь под колечком дыма,
И твой взгляд проносится мимо,
Как выстрел дулетом,
Теряясь где-то

В обтекаемых фразах
Твоих рассказов.

* * *

Это тело во власти эротики,
Когда мозгом владеют мечты:
Парадоксы мысленной логики
Накрывают одеждами стыд.

Небом полнится мир огромный,
Но Вселенная так мала,
Когда тело жгуче и томно
Раскаляется добела.

Одуряюще пахнет озоном,
Предвещает дикий разряд
Монотон огнеземного лона –
Электрическая змея.

Облака сминает в морщины,
Разрывая молнию женщины,
В рок-н-ролл обращая мужчину,
Со случайным болидом смешанный.

Стратосферы прочь покрывало,
И, открытая звездным лучам,
Нагота наготу источала,
Знойным шквалом мелодий звуча.

В оглушительном ритме рапсодии
Затонул тихий голос цикад,
Пароксизмы одной преисподней
И блаженной сомнабулы яд.

Покидая остывшее тело,
Улетают, оставивши мощи,
Души выпущенные из жерла
Безгранично бушующей ночи.

К 55-летию Никиты Данилова



Елена Логиновская
ЧИСТОЕ ЗОЛОТО ПОЭЗИИ

Поэт Никита Данилов увидел свет в день Вознесения Господня, 7 апреля / 25 марта 1952 года, в селе Мушеница, что на северо-востоке Румынии. Родился он в старинной крестьянской семье, сохранившей фольклорное наследие и книжные традиции русских староверов, липован. В 1960 году Никита начал говорить по-румынски, а через несколько лет – писать на этом языке стихи.

В 1980 году выходит первый поэтический сборник Никиты Данилова, «Картезианские колодцы», награждённый премией за дебют Союза писателей Румынии. Новый век и новое тысячелетие поэт встречает девятой по счету книгой стихов. Последующие годы приносят ему ряд новых поэтических сборников, в том числе на английском, французском, русском языках. К поэзии добавляется проза: в 2002 году выходит сборник его рассказов «Жена Ганса», затем романы: «Стопы» (2004), «Маша и инопланетянин» (2005). Оригинальность стиля, актуальность тематики и неустанное обращение к вечным проблемам, «последним вопросам» бытия предвещают Никите Данилову широкую известность в читающем мире, славу прозаика. Но при этом он остаётся прежде всего поэтом – одним из самых ярких, вдохновенных – и читаемых – поэтов Румынии.

Насыщенность содержания и яркое своеобразие стиля поражают читателя и в его стихах. Золотое сечение подлинно художественного произведения возникает здесь на скрещении линий, идущих от самого страстного порыва чувства до самого глубокого отчаяния. Ищущая, напряжённая мысль определяет обращение к символике, своеобразно окрашивающей его основной приём: повсеместную, глубоко содержательную метафору. Но язык Данилова – это и слово-предмет, и слово-мысль, всегда пронизанное, однако, чувством и овеянное музыкой звука и ритма. Его лирический дискурс – образы, картины и сцены – воссоздаёт странный, загадочный и чарующий художественный мир, в котором повседневное погружено в трансцендентальное, трагедия вчерашнего – и сегодняшнего – села в его легендарное прошлое, а отчуждённый

Только истинные таланты зреют и мужают с годами...
Виссарион Григорьевич Белинский

город – в раму вечно прекрасной природы. Здесь звучат пространства и говорят предметы. Здесь и правда чувства, и торжество буйной творческой фантазии. И в основе всего, неизменно – традиция высокой, классической – в том числе и русской – поэзии, рождающая новую, поистине современную форму.

Отсюда впечатление красоты – и совершенства – каждого стихотворения, каждой поэмы Никиты Данилова, будь они написаны рифмованным или белым стихом. Остаётся лишь пожалеть, что произведения эти не написаны прямо по-русски и – попытаться передать в переводе хотя бы их подобие. Или – прообраз?

Альберт Ковач **АПОКАЛИПСИС И** **АПОФЕОЗ ЖИЗНИ**

Золото чистой поэзии Никиты Данилова – которое читатель получает, я сказал бы, даром, а, точнее, за два-три (дорогих для него, конечно) евро, покупая экземпляр книги, – в принципе, не требует особой рекомендации. Всё же скажу несколько слов, как читатель и критик, который, будучи редактором его сборника «Иной век», оказался благодаря этому первым человеком, одарённым этим золотом.

Вначале было ощущение красоты, правды и искренности. К этому, по ходу дела, прибавлялись ценности подлинной культуры, мудрости и чувство ответственности за судьбы мира – человека вообще – и человека русского, как представителя меньшинства – в Румынии и во всём мире.

Никита Данилов – поэт божьей милостью. Его дар столь же сложен, сколь и оригинален.

В авторском я на первом плане именно эта сложность как богатство мира чувствований и идей, это единство резко противоположных черт характера. Устремлённость к недостижимому, к идеалу противопоставляет вчерашнему я поэта его сегодняшнее – и завтрашнее – я, и раздвоение – (вспомним «Чёрного человека» Сергея Есенина!) – становится частым гостем поэта Данилова. Этот мотив пронизывает уже заглавное стихотворение, «Иной век»: второе я говорит первому:

*– В твоём возрасте я был другим /.../
у тебя словно нет крови в жилах, нет жизни,
нет демона*

– и в памяти читателя возникает целый ряд ассоциаций – от платоновско-сократовского даймониона к даймону Гете, к Демону Лермонтова, даже к Лучафэру Эминеску – к душе, к духу, к гению. Знаменателен и ответ первого я: «Вторая моя половина осталась там ... унеси и меня туда, в иное время, в иной век ...» Эти «иное время» и «иной век» – не только отголоски романтического видения, они – составные неповторимого поэтического мира автора.

Размеры этого мира – поистине космические. Его основная онтологическая категория, время, определяет – вечностью – историю универсума, и – веками – тысячелетиями – историю человечества, чтобы дробиться затем на историю лирического я: дни – часы – мгновения – миги. Книга насыщена философскими размышлениями. Мир – универсум – космос – предстаёт в столкновении и борьбе всех своих элементов. Отсюда и напряжённая динамика, и ложное равновесие мира, и – поиски точки опоры, стремление к равновесию подлинному, к «тишине» и внутренней свободе человека.

Заглавное стихотворение сборника, «Иной век», вместе с двумя другими: «Век» («Все стулья выброшены в море») и «XX век» (два последних из названных стихотворений, равно как и многие другие, в подборку «ГС», к сожалению, не вошли, – *сост.*), составляет триптих, образующий его инфраструктуру. В центральном из этих трёх стихотворений звучит мотив Апокалипсиса, судьбы человечества, в заключительном – судьба человека нашего времени. Судьба поэта, его близких – любимых и врагов, судьба твоего, читатель, и моего я – воплощается в обширнейшем видении благодаря высшей концентрации значений в словах-образах, именах-словах, знаковых реалиях. Проследим, как поэт произносит, как бы «мимоходом», имена людей, определивших лицо XX века: «Я умер, когда Господь Бог / ещё не родился, / и родился, когда Бог / был уже мертв! / XX век был на исходе. / Маркес уже написал «Сто лет

молчания», / Ницше – «Так говорил Заратустра», / Человек ступил на луну. / С неба падали мёртвые ангелы! // На горизонте предвещалась / третья мировая война. / Эйнштейн умер, / и Бог был уже мёртв! // Кончался конец целого века / и начиналось начало / человека, / в которого уже никто не верил. / Улицы подметал ветер, всё более чёрный, / по небу кружили орлы / всё беспокойнее // И звон колокольный всё траурнее / возвещал начало / нового начала». Судьба выступает как катализатор и в прекрасной большой поэме «Час рока». И здесь – характерное единство двух полярных значений мотива и главное – внутренняя структура реквиема с его масштабным, симфоническим звучанием. Трагическая доминанта судьбы определяется символом Рока – носителя жизни и смерти. Но это стоящее под вечной угрозой существование утверждается поэтом, **укрепляется** в любви, в красоте, в добре и правде.

Земля и небо стоят друг против друга – как у романтиков. Но и они уже изменили свой облик. Небо не просто наказывает человека, оно угрожает самому бытию человечества; земля по-новому ужасна и по-старому прекрасна. Один из центральных персонажей-мотивов поэтического мира Никиты Данилова – Чёрный ангел – не случайно даёт заглавие одноимённому стихотворению и первой русской книге автора.

На фоне событий космических, апокалипсических, возникают координаты семейного круга, фрагменты из истории старинной, благополучной в прошлом крестьянской семьи – матери, отца, деда – в воспоминаниях автора, в старинных преданиях и легендах. Но и трагическая судьба деревни – во времена коллективизации, в наше смутное время... Им противостоит мир вечно живой природы и образ любимой, воспетый с такой чудесной силой.

У поэта всё – по мерке человеческой, но и по мерке современного, а, значит, чаще всего абсурдного, мира. Абсурд в жестокости и преступлении людей, абсурд – в апокалипсической судьбе человечества. Такая психологическая и философская данность опирается в поэзии Данилова на искусно проведённый через весь сборник приём поставленных друг против друга странно-чудесных зеркал, многократно повторяющихся, преобразующих негативы цветных изображений.

В сфере поэтического искусства роль первой скрипки играет фантастическое как соперник реального. Но это не просто художественный

приём, это абсолютная свобода фантазии как второй психологической и художественной реальности, равноценный компонент поэтического мира. Источники фантастического везде – в мифах, в быденном бытии, в фольклоре, в литературе, в самом слове... Фантастикой пронизан один из автопортретов, рисующий реально-воображаемый образ лирического героя. Стихотворение называется, с ссылкой на Джойса, «Портрет художника в молодости», а в мотивоносном рефрене возникает имя Борхеса. «Поэт Никита Данилов», важно следующий по улице «с сотенной банкнотой» на лбу – «только» двойник авторского я, но всё же автор узнаёт себя в этом двойнике и дополняет его «по человечески» – когда размышляет, вспоминает и зовёт – в иной мир и иной век. Потому что этот мир – этот «иной век», который он именует, с ноткой автоиронии, «запредельным, нездешним», составляет лучшую часть его собственного внутреннего мира:

*Он снова идёт впереди, жестикулирует,
сам с собой говорит по-английски, цитирует.
Я иду за ним и шепчу ему на ухо, по-человечески,
какой-то стих древне-греческий.*

*... Он останавливается, прислушивается, сердешный
перенесённый в мир запредельный, нездешний.
Я иду за ним, размышляю,
Борхеса читаю.*

Раздвоение оказывается здесь чисто условным приёмом, выражающе-впечатляющей поэтической формулой.

Художественный мир поэта органичен, синхроничен, поливалентен и многосторонен. Это мир личных чувств, осязаемых идей и говорящих вещей. Поэт приумножает в мире жизненную энергию, красоту, любовь, добро и правду. Может быть, прежде всего правду – о современном человеке, залогом подлинного существования которого может быть лишь избавление от иллюзий и осознание бытия в координатах реальности; реальности подчас жестокой, угрожающей, противостояние которой становится условием нашего сугубо личного бытия.

Магия мифа и фантастического овеивает все картины, все образы, все слова и даже паузы. Здесь и идея-вещь, и безудержная фантазия.

Это и сюрреализм, и постмодернизм – если этот термин понимать не как брань, а как определение некоторых важнейших сторон сегодняшней литературы. Это и вечная поэзия, преодолевающая границы литературных направлений и школ. Это – как уже сказано – чистое золото поэзии.

Никита Данилов¹
ИЗ СБОРНИКА «ИНОЙ ВЕК»

ИНОЙ ВЕК

Мой ангел-целитель,
без ореола, без крыльев,
нащупывает мою рану:
– Ну как, существуешь, Данилов,
существуешь?

– А как же, существую, – отвечаю ему,
– вот уж больше четверти века
только и делаю, что существую.
– Тогда будь увереннее в себе
и существуй, как положено.

– Да я и так существую.

– В твоём возрасте я был другим, – говорит он.
– У тебя словно нет крови в жилах, нет жизни,
нет демона.

– Нет, почему же, я ведь стараюсь.
Вот уж больше четверти века
стараюсь существовать.

– Тогда отыщи свою вторую половину
и существуй как взаправду – он говорит.
– Вторая моя половина осталась там, – отвечаю.

– Унеси и меня туда,
в иное время, в иной век...

СЫН ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ

Грустного отца моего укутала тень,
отец мой косит. Идя за ним следом, моя мать собирает
скошенное в стога. Их тени
пролегли по сожжённому лугу.

Отец глядит на меня из-под тени, и я чувствую это,
но не поворачиваю к нему своего лица.
Слышу, как мать кличет меня мне вослед,
но не поворачиваю к ней лица.

О сын человеческий, сын человеческий...
Нет, ничего, молчу ...

ЛИЦО

Ты бьёшь по воде кулаком,
но лица своего не коснёшься.
Ты суёшь обе руки в воду,
но лица не коснёшься.
...Как медный пятак,
оно скользит,
ускользая
всё глубже и глубже.

ЗОЛОТО МИРА

Тому, кто за золото продал родину,
пусть и оплатят золотом!
Пусть усадят его на почётное место
во главе стола – чтоб он развлекался!
Пусть поставят на стол ему лучшие блюда,
лучшие вина.

Пусть кликнут музыкантов и женщин
– чтоб он пил, ел и наслаждался.

А народ чтобы видел, как он доволен.

Пусть потом навалят пред ним золотые горы,
пусть рассыплют пред ним золотые монеты,
пусть он ложками поглощает золото,
пока не раздуется, словно мехи!

...И на куче золота пусть оставят его разлагаться,
и золотыми буквами пусть сделают надпись:
«За золото продал он родину,
и ему отплатили золотом!»

МИР В РАВНОВЕСИИ

И самое Слово, снедая Дело,
не склонит Весов ни вправо, ни влево.
Свет и тени; чаши – то вверх, то вниз –
всю подноготную их вещей извлекли.

И колокол сферический
тоскует в бездне величественной,
пустой сам в себе,
бессмысленный сам по себе.
И не явится
ни глазница из урны,
ни рука из сферы,
чтоб нарушить сон Существа,
возведённого в степень мрачнейшую
самого Люцифера.

В ПУСТЫНЕ И ПО ВОДАМ

Они пришли и нанесли ему на подошвы
кресты из песка.

И сказали:
Теперь ступай в пустыню,
гряди по водам...

РЕБЁНОК

В пролом, специально пробитый
в четырёхметровой стене, окрашенной в жёлтое,
можно было увидеть ад. Но мы, старики,
не могли в него заглянуть:
нам приходилось довольствоваться
старинными фотографиями,
которые малый ребёнок
показывал издали.

НА ДВОРЕ СРЕДА ТОСКЛИВАЯ, СЕРАЯ...

На дворе среда, тоскливая, серая,
день, в который я в одиночестве расхаживаю по комнате
свежевыбритый и нарядный,
то и дело бросая
беспокойные взгляды на улицу.

Но вот и ты
осторожно спускаешься по ступенькам трамвая
в роскошном-роскошном зелёном платье
и медленно-медленно пересекаешь улицу
и ещё медленнее поднимаешься по лестнице
и тихо-тихо открываешь дверь
в то время как я продолжаю прогулку
свежевыбритый и нарядный
с отёками под глазами
и таким печальным лицом.

А теперь вот и ты
осторожно-осторожно спускаешься по ступенькам трамвая
и медленно-медленно пересекаешь улицу

и наконец тихо-тихо поднимаешься по лестнице
в то время как я по-прежнему расхаживаю по комнате
свежевыбритый и нарядный
заложив руки за спину
невероятно серьёзный...

АРЛЕКИНЫ НА ОБОЧИНЕ ПОЛЯ (картина без рамы)

Стоят три обезглавленных ангела
на обочине жёлтого поля.
Над ними сочится вечер.
Первый ангел зелёный, как травы,
второй красный, как пламя,
третий дымно-лиловый, словно луна.

Головы их упали на землю,
и вокруг вырастает трава.

Первый держит в руке трубу,
но у него нету рта, чтоб в неё протрубить.

Второй держит меч,
но у него нет сил, чтоб поднять его к небу.

У третьего в руке огненная сфера,
и в сфере растёт трава.

Пары влюбленных собрались вокруг них
и танцуют в траве.

Лежат три обезглавленных ангела
на обочине желтого поля.
Первый зелёный, как травы,
второй красный, как пламя,
третий дымно-лиловый, словно луна.

Головы их упали на землю
и вокруг вырастает трава...

ПЕЙЗАЖ С ПОЛНОЙ ЛУНОЙ

Мама, что там за колодец, в этом стволе?

Огненный глаз и в нём рябь луны,
огненный глаз, и в нём луна
чистит свои опалённые перья. Бездонный
сонный водоворот, сквозь который мелькает
пустота!

Что там за ствол в этом колодце, мама?

МОЛЧАНИЕ НАШИХ СЕРДЕЦ

Плывут тысячи колоколов, плывут
по великой реке
Су-

мер-
ки.

Как корабли, замерзая, горят
красные воды реки.

Рулевые монахи, ловкачи, что тайком
пробрались на суда,
монахи и херувимы
машут руками:

Сюда!
сюда!
сюда!

На вёслах размокшие
люди утопшие,
на вёслах-крестах
евнухи-гребцы
обмокшими вёслами машут в лад:

Назад!
 назад!
 назад!

Так плывут тысячи колоколов, плывут.
 Плывут и впадают
 – горе! –
 в Сожжённое море.

ПЕЙЗАЖ С УЛИЦАМИ И ТЕНЯМИ

Тебе приснится тень этой улицы, сказали ему,
 и он увидел во сне зелёную тень.
 Тебе приснится тень этой руки, сказали ему,
 и он увидел во сне зелёную тень.
 Тебе приснится тень этих ртов, сказали ему,
 тень этих голов, этих глаз, этих черепов,
 и он увидел во сне зелёную тень.

ГЕНЕРАЛ

Дверь захлопывается, распаивается окно
 и луна, словно камень, срывается с неба...
 О, но кто это там на пороге и что это у окна?
 Чьё тело иссиня-черно? Чьё лицо багрово?
 Чьи волосы зелены?

Эполеты и сабля. Эполеты и выпушки.
 Красные сапоги и шпоры,
 Фуражка, монокль, и усы, завихрённые вверх.

Кукареку! Я мёртв, – говорит.
 Уж давно, – говорит. А ты, ты готов?

ОПЯТЬ ФЕРАПОНТ

К старости уши
 старика Ферапонта

стали такими вот аграмадными
 вечерами
 он прикладывал к ним руку воронкой
 чтобы лучше расслышать
 как зреет
 в поле пшеница.

Его огромная голова
 похожая на колокольню
 (языки голубого пламени были его глаза)
 то появлялась то исчезала на горизонте
 хлопая большими ушами
 когда звонили к вечерне.

Он выходил на балкон и усаживался на стул
 раскидывая бороду на весь город.
 Со своими приглаженными волосами
 зачёсанными назад и с опущенными
 на колени руками
 он всё больше походил на старую бадю
 которая веками
 сторожила дом и которую сейчас
 кто-то увёз в город.

Наклонялся над самим собой
 чтоб убедиться что, существуя, он еще есть,
 но вода его не отражала
 или может быть то была не вода,
 то, что он видел, а тень

тень желания быть
 ещё быть
 ещё раз.
 Всегда.

БЕЛОЕ

На белом холме я воздвиг себе красный дом.
 Красным покрасил его снаружи. Красным внутри.

Белый-белый лицом, на руку посмотрев,
ногтем царапаю на стене:
«Приходящий – сильнее!»

На белом холме я воздвиг себе красный дом.
Приходящий – сильнее.

ЛАЗУРЬ

Ты за мною следишь
неотрывно святыми глазами
из которых текут
руки руки – ручьями

(с бледного потолка
сквозь бледные стены с мороза
словно сосульки длинные
унизанные розами)

и во мраке ночном исчезаешь
и пальцем мне делаешь знак:
не делай так,
больше не делай так.

.....

Ты в лазури паришь и очи святые
за мною следят как и прежде следили
и в них расцветают цветут
столько лилий столько лилий

(с бледного потолка
и сквозь стены бледные трезвые
словно сотни слепых мотыльков
с прозрачных светил из бездны)

я сплю – а ты смотришь
и знак посылаешь в ночи:

не молчи,
больше не молчи!

ПЕЙЗАЖ АЛКОГОЛЬНЫЙ

Пшеница усталая,
ты опускаешь веки,
хмуришь брови,
покачиваешь ресницами,
заклятая той же
старинной клятвой.

Солнце смотрит
сквозь затуманенные очки.
Посередине пашни
отдыхает ладонь,
а в ладони тридцать серебряников.

... Стоит святое дитя
с книгой в руке.
И каждая буква – проклонувшееся зерно.
А из зёрен струится земля,
чёрная-чёрная.

Перевод Елены Логиновской

Никита Данилов МАША И ИНОПЛАНЕТЯНИН (из нового романа)



Но всё-таки, – повторила Маша, – зачем Вы сюда прибыли?
– Сказать - не сказать? – как бы раздумывал Инопланетянин, перекидывая из руки в руку свою дорожную сумку.
– Глядишь, – подумала Маша, – вот сейчас, перед уходом, он, даром что подвыпивши, мне и объяснится и попросит моей руки.
Инопланетянин кивнул в знак согласия и продолжал:

– Может быть, мне хотелось найти себе в этом путешествии подходящую пару. Но моё тело, а также и душа, устроены таким образом, что я не могу никого полюбить. А ведь столько раз пытался, – продолжал он своё признание, – так хотел привязаться к какому-нибудь живому существу или хоть к какой-нибудь вещи, и всё мимо! Слишком уж здесь шумно, слишком много возни в этом вашем мире. Здесь даже рыбы слишком болтливы... Столько шума, столько истерии!

Сказав это, Инопланетянин застегнул пуговицу на пиджаке и спустился в палисадник.

– Для чего засорять себе голову такими пустяками? Много ли разума может таиться в мозгу существа, состоящего из одного мяса.

– Скажите же всё-таки, зачем Вы к нам прибыли.

Маша чуть не плакала. Расставание с гостем, оказалось, причиняло ей боль. Она было уже почти совсем освоилась с его повадками и обычаями. Одиночество, которое источало, кажется, само его существо, было ей невероятно близко...

– Просто так, – проговорил гость из другой галактики. – У меня было что-то вроде уикенда, и так как я уже давно не отдыхал, я решил остановиться здесь. Воспользовался командировкой и немного свернул со своего пути... Просто мне захотелось во что бы то ни стало рассказать тебе историю Ипполита. В этом и была, по правде говоря, моя настоящая цель!

Гость направился было к воротам, но по дороге раздумал и вернулся. Маша решила, что он хочет попрощаться, поблагодарить её за пристанище, обнять её, по-отечески поцеловать в лоб и, конечно, оставить что-нибудь на память.

– Вы что-то забыли?

– У меня к тебе небольшая просьба, – сказал инопланетянин, приближаясь к ней.

– Пожалуйста! – ответила Маша, – чем я могу Вам помочь?

– Знаешь, я вынужден выполнить некоторые формальности... Как я тебе уже говорил, наш мир просто задымается от бюрократии. Мне нужно... как бы это сказать... доказательство, что я здесь побывал...

– Можете взять отсюда всё, что захотите, – сказала Маша. – Что я должна сделать?

– Всего лишь расписаться. Вот тут... И, вытащив из нагрудного кармана что-то вроде пергамента, он протянул его, вместе с ручкой и чернильницей, Маше.

– Это моя командировка. Распишись вот под этим знаком, – предложил он ей.

Маша не успела даже как следует взглянуть на записку, ей показалось, что гость очень спешит. Она разглядела какой-то странный почерк, множество красных и синих цифр, треугольников, шестиугольников и линий, которые, казалось, кружили по бумаге, то и дело меняясь друг с другом местами и цветом. Инопланетянин указывал ей точку – не внизу, а сверху страницы, и жестом торопил поставить, наконец, свою подпись. Маша стояла в раздумье. Страх и сомнение снова закрались ей в душу. Вспомнились слова бабули... Но её правая рука двигалась, казалось, независимо от её воли. И женщина с удивлением увидела, что её подпись, тщательно выведенная пером, уже красуется на бумаге, сияя над всеми другими знаками.

– Правда, это всего лишь командировка? – спросила она, замирая от сомнений.

– А что же ещё? – несколько иронично ответил гость, посыпая подпись золой, которую он носил в коробочке, привязанной на шее.

Смешавшись с порошком, чернила вспыхнули, и Машину подпись охватило голубое пламя, испускающее удушливый дым.

– Откуда мне знать? – ответила Маша, наблюдая, как буквы, составляющие её имя, превращаются в дымящиеся цифры.

– Пустяки. Предрассудки.

– Что вы там насыпали? – спросила хозяйка, чувствуя, как её грудь снова сжимает коготь сомнения.

– А что мне сыпать? – подмигнул гость. – Золу, что же ещё? Это чтобы запись поскорее просохла, – ответил Инопланетянин, явно желая её успокоить.

– Какую такую золу? – по-прежнему глядя на него, как околдованная, ответила хозяйка.

– Имперскую золу, – jovially произнёс инопланетянин. – Я это специально ради тебя устроил. Если б ты знала, чья она, ты бы запрыгала от радости.

– Чего это мне прыгать от радости, когда я вижу, что вы насыпали на мою подпись человечесью золу?

– Ну и что? Если бы я другую насыпал, ты была бы спокойнее?
 – Скажите мне хотя бы, чья она, – недовольно проворчала Маша.
 – Отгадай! – потребовал посетитель, сделав важную мину.
 – Наполеона? – сама не зная почему, спросила Маша.
 – Да, здесь и Наполеон, но есть и другие. Здесь, в этом амулете, – все императоры мира, – важничал Инопланетянин.

Маша приписала его хвастливость многочисленным стаканчикам водки, выпитым этим утром. «Видать, хочет напоследок произвести на меня впечатление», – подумала она.

– Я ни на кого не собираюсь производить впечатление, – сказал гость как-то более по-человечески. – К чему мне это? Я сказал чистую правду...

– Какая честь! – воскликнула Маша иронически. – Ну а теперь, когда я подписала, чего вам ещё угодно?

– Есть ещё одна мелочь. Мне нужна и печать...

– Печати у меня нет. Идите в школу или в сельскую контору, – посоветовала она.

– И что же я там скажу? Что вот, мол, я прибыл из черт знает какой галактики и мне нужна их печать? Они меня за сумасшедшего примут... Но это бы ещё ничего, если б речь шла только обо мне. Я-то к этому привык. Но когда я вижу, что неприятности грозят и другим... Хуже нет – иметь дело с милицией, – закончил он.

Маша тоже подумала о возможных осложнениях. В самом деле, пойдя гость в контору, и вещи тут же примут чёрт знает какой оборот. Сельский голова – человек настолько же подозрительный, насколько и непредсказуемый. Он, конечно, тут же позвонит в милицию и поднимет на ноги всю деревню. С милицией ведь шутки плохи! Маша вспомнила, сколько она пережила после исчезновения мужа и решила сделать всё, что угодно, лишь бы ни она, ни гость не попали в переделку – ни здесь, ни там, в его мире.

– Ваши отпечатки пальцев могли бы заменить печать, – подсказал ей Инопланетянин. Это было впервые, что гость, говоря с ней, прибегал к формуле вежливости.

– В конце концов, чего вам это стоит? – добавил он. И, не ожидая согласия хозяйки, он намазал большой палец её руки чернилами и прижал его к пожелтевшей странице. Потом просыпал на её щепотку золы, которая вспыхнула, едва коснувшись бумаги.

– Что вы делаете? – вскрикнула Маша, суя горящий палец в рот.
 – За Наполеоном и Навуходоносором не мог не последовать и Иосиф Виссарионович. Не почувствовали его вкуса?... Или хотите, чтоб я вытащил на свет и маленького капрала?

Гость подул на папирус, загасив мелкие игривые язычки пламени, пытавшиеся распространиться на колонки цифр, и, свернув странный документ в трубку, сунул его в карман. Слова посетителя поселили в машинной душе отраву. Она заволновалась – не подписала ли она договор с Антихристом?

На небе сгущались тучи. Ветер нёс их, как снопы пшеницы, разбросанные по полю после жатвы. По двору распространился тяжёлый запах жжёных перьев. Куры кукарекали, прячась в кустах смородины, окаймлявших садик. Остальные птицы тоже издавали самые разнообразные звуки, ища пристанища в сарае. Под сильными порывами ветра колокола церкви Успения жалостно зазвенели. Их перезвон, клочками эха, покатылся по крышам домов. Аисты зачавкали своими длинными клювами, распуская широкие крылья, готовясь к полёту. Огромная стая ворон тёмными вихрями потекла с запада, кувыркаясь над улицами деревни, погруженными в странное молчание. Что-то тяжкое блуждало в воздухе. Ожидание. Конец.

– Пора, – повторил гость, целуя Машу в лоб в знак прощания и благодарности за гостеприимство.

Ветер поднял во дворе огромные клубы пыли, потряс окна и двери, загремел ими о стены.

– А вот и София Платоновна, – воскликнул Инопланетянин, широким жестом указывая на странное существо, возникшее возле них словно из-под земли.

Крысиха вытащила из своей кенгурячей сумки пачку банкнот и протянула их Маше. Она появилась не одна, за ней следовала целая свита крысят в апостольских одеждах. А за ней – свежесбривший и напомаженный – Ипполит Субботин.

– За пристанище, – уточнил Инопланетянин, делая ей знак не отказываться.

– Мне не надо, – сказала Маша, отступая на пару шагов.

– Берите, берите, – посоветовал Инопланетянин. – Кто его знает, какие времена вас ждут, – произнёс он чётко и торжественно, как предупреждение.

– А с остальными вашими телами как же будет? – спросила Маша, вспомнив рассказ Инопланетянина о том, что он прибыл сюда в шестидесяти девяти экземплярах.

– А, чуть не забыл, – сказал гость, распахивая калитку.

– Надеюсь, вы не оставите их нам здесь в наследство, – пошутила Маша, в то время как ветер, вырвав из её рук пачку денег, рассыпал их по двору.

– Я унесу с собой всё, что мне положено унести, – ответил пришелец из иных миров, бросая на Машу через плечо взгляд, который казался полным глубокого страдания и сожалений. – Не беспокойтесь, – добавил он с грустью. И, вытащив из своей крошечной дорожной сумки флейту, заиграл песню, такую заунывную, что всё, что было вокруг, живого или мёртвого, внезапно тронулось с места. Даже листья, травы и мертвецы в могилах не составили исключения.

– Вот, видишь, – сказал Ипполит, складывая колоду игральных карт многоцветным веером и подбрасывая их вверх. В воздухе карты вспыхнули и загорелись. Смешавшись с банкнотами, они кувыркались в воздухе. Хватая клювами, аисты переносили их с крыши на крышу, укладывали на трубы, на купола. Скоро вся деревня была охвачена пламенем.

Инопланетянин, в сопровождении своей странной свиты, двигался по улице, играя на флейте. Из каждого дома выходили его двойники и присоединялись к нему на ходу, постепенно складываясь в гармошку в его теле, с каждым шагом принимавшем всё более невиданные размеры.

Окутанная облаком дыма, Маша стояла посередине двора, следя за тем, как её гость, в сопровождении свиты, приближается к границе и исчезает вдали. В её животе, круглом, как тыква, полном формул, цифр, треугольников, шестиугольников и других абстракций, смешавшись козлиными рогами и дрыгая копытцами, новый Адам и новая Ева готовились выйти на свет, в новый мир...

Маша вздрогнула: бляенье старушки Евлампии предвещало наступление полдня. Один демон уходил, другим суждено было прибыть на его место.

Перевод Елены Логиновской

Цветы усопшим



Елена Кузнецова
ЖИВОЕ ВОПЛОЩЕНИЕ ПОЭЗИИ
Памяти Никиты Стэнеску
и Аурела Ковача

Зимой 1983-го умер Никита Стэнеску, весной 1993-го – Аурел Ковач. Я вспоминаю их всегда вместе не только потому, что они почти однолетки, (родились в 1933 и, соответственно, в 1932 году), и даже не потому, что они были ближайшими друзьями. Я вспоминаю их вместе потому, что сама я чаще всего встречалась с Никитой в доме своих ближайших тогда друзей – Стелы и Аурела. Потому, что в этом доме я слышала чудесные стихи Никиты и ещё чаще – его странные, косноязычно-вдохновенные монологи прирождённого поэта, не менее вдохновенно воспринимаемые влюблёнными в поэзию и в него – как в её живое воплощение – слушателями. И встречала направленный на меня удивительный взгляд этого человека; взгляд, поражающий, сражающий тебя своей беззащитностью и – казалось бы несовместимой с ней, удивительной добротой, расположенностью к ближнему, почти небывалой в том, да и не только в том мире, в то – да и не только в то – время.

Доброта – более скрытая, защищённая налётом лёгкой иронии и всегдашней (может быть, начавшей изменять ему лишь в самое последнее время) трезвостью, столь неожиданной у этого отнюдь не пренебрегавшего стаканом доброго вина, а то и рюмкой русской водки (виски случалось тогда не часто) – сквозила и во взгляде Аурела Ковача. В отношениях с женщинами Аурел маскировал её и иначе: это было старомодное – не по форме (вполне современной), а по сути своей – изящно-куртуазное поведение средневекового барда – певца прекрасной дамы, поклонника вечно-женственного. Именно так звучали для меня те бесконечные стихотворные послания, которые он писал мне на титульных листах даримых книг или – ещё чаще – на белых салфетках, подаваемых Стелой к прекрасно (и так экономно!) приготовленным ею блюдам. Мне он писал по-русски (с этого языка, выученного им в тюрьме, куда Аурел попал в 1958 году, после Венгерской революции, он перевел целый

Большой талант всегда сопровождает великодушное сердце.

Геофиль Готье

ряд авторов, в том числе «непереводимую» Марину Цветаеву), как Ингрид по-немецки, как Роксане по-португальски. И, кроме тёплого дружеского расположения и изящной рыцарской позы, я находила в этих строках отголоски его повседневного труда – пяти переведённых им великих эпопей человечества, десятков романтических – и не романтических – поэм, сотен старинных и современных стихотворений, тысяч, десятков тысяч строк, написанных самыми разными – европейскими, американскими, азиатскими – поэтами и воспроизведённых им на удивительно богатом, сочном – и поэтически точном – румынском языке. Было интересно улавливать отголоски этих строк в сочиняемых им самим стихах – сочиняемых чаще всего «на случай», в счастливые минуты свободных от труда вечеров (ведь, принуждённый работать постоянно – и потому тяжко, он, так же точно, как Анна Ахматова, по её горьковому выражению, «питался собственным мозгом»). И хочется сохранить в читательской памяти хотя бы некоторые из них – во всей их первозданности – с языковыми неловкостями и виртуозным мастерством стиха, во всей прелести стихийного чувства и жеста.

Я воспроизвожу их здесь без изменений, сохраняя и его столь ёмкие и выразительные знаки препинания

Многие стихи автором не датированы; время их написания угадывается, однако, по отголоскам того или иного переводимого им поэта – например, Лермонтова в тот период конца 70-х, когда Аурел помогал мне в работе над моей книгой «От Демона до Лучафэра» (*De la demon la Luceafar*).

Другие датированы – и мы можем восстановить по ним историю этой трудной, но стоически-гордой и – наперекор всему – удивительно плодотворной жизни.

Аурел Ковач **ИЗ НАДПИСЕЙ НА САЛФЕТКАХ¹**

1

Она сказала: неподвижный
Ты для меня, о демон книжный;

Я настоящая, жива;
Люблю другого, не тебя
(*Окончание следует*)

2

И он сказал себе: светины,
Конечно, ласковы и милы,
А их лучи – всегда кинжалы,
Не пазухи, как вы, бокалы
(*Окончание следует*)

3

Меня навечно обвиняй:
Ты мне сказала: пусто, пусто,
А я тебе: я негодай,
А здесь твой рай, лишь здесь твой рай,
Где всё и сладостно и грустно.
(*Окончание следует*)

4

Печальный демон
У тебя уют,
Где я гегемон
А тебя нет тут.

Лишь расширеньё
Разбитых крыл –
Мировоззреньё
Во сне светил

5

О, ссылка вечной той свободы!
Теперь я жажду кандалы
Ревную якори, скалы;
Люблю я жизнь земной природы
(*Исполнение следует и тоже окончание*)

6

На отъезд к сыну

Вытяни шею лебяжью,
Этого не будет опять,
Отдано сердце миражу
Минувшего поезда: глядь

Только назад: о, как приятно!
Глаза твои остались здесь;
Им не вернуться обратно,
Они здесь – я в них, весь.

Вариант второй строфы
(на другой салфетке, другими чернилами):

Только назад: о, как приятно!
Я свои стихи позабыл.
А что забыла ты, что я был,
Так ладно, так ладно, так ладно!

Всё же я рад – очень рад
Да здравствует мой ВОДКОПАД!

7

Ложь,
Рожь,
Всё ж,
Для меня
Дрожь

8

Ты,
Я.
Зря,
мы
ка
бы

Да,
сны,
суть.
Их
не
сдуть.
В них –
путь

9

Тот чёрный день
Твоя тень,
Дочь
Белая южная ночь

10

Русской женщины тихая суть!
Тебе надо меня – сдуть,
Чтоб найти суровый путь,
Где жить можно... чуть-чуть

11

Холод, голод, вот табу(н)
Моей жизни – а я всё же...
Никого я не моложе,
Только молод я и юн!

12

Царит над нами, лая, стая
Прошедших лет – как грех.
А мы увянем, расцветая,
И чёрт возьми их всех.

1984

13

Жил да был на свете певец,
 Который всё говорил: «окончание следует».
 Когда он стал «не как следует»,
 Храбро написал: «окончанье – конец»
Перевод Елены Кузнецовой

Никита Стэнеску
MEMENTO MORI¹

АВТОПОРТРЕТ

Словно бы правый мой глаз
 поссорился
 с левым глазом,
 по ком плакать тому человеку,
 что умирает по причине рожденья.
 Эй, взгляните сюда:
 Я тот самый орёл
 которому снова пришили
 голову,
 после того
 как её отрубили.

Только моя
 голова отрубленная
 пришита
 иглой шатровой
 к телу
 человеческому.

ДОМА

Моё *дома* – слово,
 задуманное другим.

Моё *дома* – в поцелуе,
 придуманном мною
 для других двух подростков.
 Моё *дома* внутри
 стрелы, нацеленной на божество гетов.
 Моё *дома* это мысль твоя
 ко мне.
 Моё *дома* это имя моё,
 тобой произнесённое.
 Моё *дома* – это слово, и друг, и курва.

Убегаю из времени преходящего
 Ах, время, бордель моей жизни!

КОСТИ ПЛАЧУТ

Посвящается моему дядюшке
Адаму Пуслоичу

Если вытрясти из меня
 всех моих предков,
 в конце концов,
 в конце концов,
 из меня упадёт звезда!
 Боже мой, что за жизнь теснится,
 торопясь, между двух столбов!

О БОЛИ ЗА ЧЕЛОВЕКА

Я всё думаю
 о чём вспоминал
 мой отец
 в ту минуту когда
 умирал?

О крике любовном
 змея
 к змеихе?

О себе самом и, и, и,
и – почему он один?

СТРЕКОЗКА

На окровавленном листике моего сердца
заснула стрекозка Дора,
золотя своими глазищами
звёздного неба
безну

19 ИЕРОГЛИФОВ БОГДАНА БОГДАНОВИЧА

Каменная кровь
запечатлённая в 19
иероглифах!

Только каменной рекой
моего рожденья
можно нащупать твой пульс!

КАМЕНЬ

Камень
это человек
в которого другой человек
продевает руку
словно в перчатку
и выворачивает наизнанку
словно перчатку!

ПРИЧИТАНИЕ

Мать камня
держала
своего сына новорожденного
окаменелого
в объятиях его держала
и причитала, причитала.

Ой ты, гора,
каменная слеза
моего сердца каменного!

СВЕТ ОТТЕСНЁННЫЙ

Камень это свет
оттеснённый.
Он не видит,
Его можно видеть.

У него ничего не болит,
Он болит,
Как болит вершина горы
у орла,
оттесняя его в полёт
и в слова.

ПРЕДСЕРДИЕ БЕЗ ЖЕЛУДОЧКОВ

Адам, нас изгнали с земли.
Земля очень чёрная,
но, грязня нас, она белеет
и отряхает нас с себя, как свет.

Земля – единственная чистота
копыт
наших слов.

ПОСЛЕДНЕЕ

*Никите Стэнеску и
Богдану Богдановичу*

Как ты думаешь: родился ли кто-либо
когда-либо
по причине круговращения?
Как ты думаешь: родился ли кто-либо
когда-либо

по причине стоянья на месте?
 По какой причине, крысиной, крысы
 рождаются крысами?
 Почему стрекозы размножаются тоже стрекозами?
 И свиньи, вместе с Игнатом своим, только свиньями?

И лишь мы с тобой, дураки, идиоты без идеала,
 размножаемся – один словами,
 а другой знаками.
 И всё же, спрашиваю я тебя: почему
 полевая мышь
 хочет родиться и рождается полевой мышью?

Чёрт знает что за дрянь эта жизнь!?
Перевод Елены Кузнецовой

Валериу Матей
О ВОЛШЕБСТВЕ ЖИЗНИ И
БЕСПОЩАДНОМ ХОДЕ ВРЕМЕНИ
(Поэзия Леонарда Тукилату)



Каждый раз, когда первые хлопья снега разрушают золотое
 полотно осени, на память мне приходят и я произношу, за-
 детый меланхолией, волшебством жизни и беспощадным
 ходом времени, эти будоражащие душу строки:

Хлопья
 с твоими
 сплетаются
 белыми
 прядями
 Снежным
 потоком
 уносятся
 годы
 твои

К счастью
 какому
 глядят
 эти очи
 заплаканные

Сквозь
 покрывало
 прозрачное
 старой
 луны

Стихи как бы высвечивают контуры летящих снежинок, паде-
 ние слезы, тень бесконечности, запечатленной в слове. Их автор,
 поэт и прозаик Леонард Тукилату, ушедший в вечность всего в 24
 года, оставил богатое и неподвластное времени наследие.

Сборник стихотворений «Sol» («Посланник»), вышедший в свет
 посмертно в 1977 году, стал настольной книгой любителей поэзии,
 а неизданные стихотворные и прозаические страницы оказались
 доступными только узкому кругу пишущих, и долг издателей дать
 им возможность обрести новую жизнь.

Появление полного собрания сочинений Леонарда Тукилату
 изменило бы как восприятие творчества этого поэта, так и общий
 взгляд на творчество писателей, дебютировавших в 70-е: Николае
 Дабижа, Леониды Лари, Василе Романчука, Марчелы Беня, Нико-
 лае Виеру, Нины Жосу, Валерии Гросу, Иона Мынэскургэ, Людми-
 лы Собецки, Иона Хадьркэ и т.д.

И если бы были опубликованы его роман «Nea Naе» («Дядюшка
 Нае») и новеллы, мы могли бы с уверенностью говорить об одном из
 значительнейших дебютов в прозе второй половины XX века.

О поэтическом творчестве Леонарда Тукилату было написано
 немного, хотя понимание значимости каждого поэта всегда про-
 блематично и одновременно является необходимостью, которую
 эволюция литературы, рано или поздно, делает неизбежностью.

Оценивая стихи поэта, Георге Менюк, Георге Водэ и Леонида
 Лари отметили известный в литературе и искусстве феномен – ком-
 пенсацию времени через интенсивность жизни и творчества.

«Ограниченный во временном пространстве, Тукилату ус-
 пел написать много страниц на благозвучном и ясном языке»

(Г. Менюк); «Поэзия, оставленная нам Леонардом Тукилату, по мере того, как мы ее открываем для себя, явно и безошибочно представляет нам огромную личность Поэта» (Г. Водэ); «Леонард Тукилату, угасший в 24 года, прожил все же полную жизнь поэта, потому что быть – это не количество дней, а время, спрессованное в состояния, когда для человека даже глоток воздуха – счастье» (Леонида Лари).

Я не буду обсуждать эти первые оценки творчества Леонарда Тукилату – они бесспорны. Но я попытаюсь, анализируя сборник «Sol» и часть неопубликованных стихотворений, выявить черты лирического мироздания поэта, которые показали мне определяющими.

* * *

Поэзия Леонарда Тукилату, единственная в своем роде в контексте поколения, которому он принадлежит, покоряет, прежде всего, своей безграничной искренностью, глубочайшим гуманистическим содержанием и особым миром чистоты и очарования. В ней нет ничего праздничного, ничего искусственного, все покорено всеобъемлющей естественностью; стихи проистекают из тотального бытия и из особой восприимчивости, обостренной в последние годы жизни безжалостной и мучительной болезнью.

Стихи последнего периода жизни являются исповедью духа перед лицом вечности, которая бессмертна в каждом элементе окружающего мира, в самом себе, это искренняя и болезненная вера человека, влюбленного в жизнь, но обреченного на преждевременный уход.

Понимание его поэтического опыта не может быть полным без осознания неперемного условия – единства человеческой личности, так как судьба поэта и его творчество неотделимы друг от друга.

Жизнь Леонарда Тукилату, ушедшего от нас столь рано, остается почти неизвестной, и я считаю, что ее восстановление для сегодняшнего и завтрашнего читателя является долгом тех, кто его близко знал.

Леонард Тукилату родился 10 ноября 1951 года в учительской семье. Он, как и большинство коллег его поколения, знал не на словах сельскую жизнь с ее народными обычаями и традициями, еще неискаженными в тот период полностью, и отголоски деревенского мира часто заявляют о себе в его творчестве.

Период после окончания средней школы и до призыва в советскую армию осенью 1969 года до сих пор мало известен. Вероятно,

корни болезни, сократившей ему жизнь, берут свое начало с армейской службы в 1969-1971 гг.

В последующие два года поэт находился в Кишиневе, сменив несколько мест работы. Это был период, когда, судя по его рукописям, он много читает из Райнера Марии Рильке, Сальваторе Квазимодо, Георга Тракля, Георга Хейма, Джузеппе Унгаретти, Итало Свево, Лучиана Благи, готовясь к приемным экзаменам в московский Литературный институт им. А.М. Горького. Это и время, когда его поэтический мир обретает собственные контуры: на читательский суд были представлены свыше сорока стихотворных произведений, но которые тогда, к сожалению, так и не были изданы.

Осенью 1973 года он начинает свою учебу в Литературном институте, но в начале 1975 года неизлечимая болезнь приковывает его к постели, и Леонарда определяют в одну из московских больниц, где он уходит из жизни 4 ноября 1975 года, за неделю до своего 24-летия.

Сознавая свою участь, он с достоинством и бесстрашием взял на себя крест своей беспощадной судьбы и не оставил пера, создавая до последней минуты выдающиеся страницы поэзии и прозы.

Жизнь поэта, увиденная сквозь призму его творчества, предстает смиренной жертвой на самом возвышенном алтаре поэзии.

* * *

Доведенная до совершенства поразительная простота поэзии Леонарда Тукилату, с неожиданным последствием на восприятие читателя, полностью соответствует чувственной личностной природе поэта и зримо создает впечатление отсутствия намеренного поиска концептуальной системы эстетических принципов, т.к. эта поэзия – отражение спонтанного вдохновения, а сам поэт – преданный иллюстратор собственного мира, тождественный самому себе и оригинальный. Самобытность – одно из неоспоримых преимуществ поэзии Леонарда Тукилату; созданное им собственное лирическое мироздание – это вселенная, которая впечатляет как своей гармоничностью, так и своей обстоятельностью, благодаря насыщенному и безудержному лиризму, исходящему из исключительной чувствительности поэта и почти неуловимой поэтической выразительности.

Исследователи не исключают интереса или привязанности поэта к определенным литературным течениям и эстетическим принципам.

Поэзия Леонарда Тукилату, уникальная в контексте своего поколения, не может быть все же отделена от литературного контекста, в котором она появилась: многое из того, что занимало его, как и его коллег-«семидесятников», относится ко времени создания его произведений. Поэт просто и искренне признавался в своих предпочтениях и симпатиях: «Меня уносит вихрь к современному классицизму», – звучит его голос в стихотворении «Идиомы», а в другом – пред нами предстает великий итальянский поэт Сальваторе Квазимодо («К Сальваторе Квазимодо»):

Услышь меня,
 маэстро Квазимодо,
 Сегодня
 я получил цветы
 И хочется с тобой мне поделиться.
 Вот лепесток за лепестком
 хочу воздвигнуть храм,
 Где избивать не будут ветры,
 Храм,
 где очи мира,
 в надгробья врезанные,
 Скажут о тебе.
 Отныне ты навеки здесь,
 Ты высечешь большие кубки
 Для дня источников,
 где дети носятся с веселым шумом,
 сквозь дождь
 о радуге
 взывая к небесам.

Конечно, обращение к какому-либо поэту не обязательно свидетельствует о родстве с его произведениями. В творчестве настоящего поэта «влияния» имеют второстепенное значение – они только могут ускорить дерзость еще несмелых попыток, являясь тем

чудотворным посохом Моисея, который высвобождает источник от оков скалы.

В случае Леонарда Тукилату глубокое уважение, высказанное великому итальянцу, является душевным признанием в чувстве истинной симпатии к его произведениям, в которых молодой поэт находил и некоторые точки соприкосновения с собственной духовной структурой, а также воплощение определенных поэтических принципов, на которых он настаивал. Больше, чем какие-либо «влияния», для творчества имеют значение те решающие черты, которые создают великие духовно-родственные связи.

Проистекая из храма традиционной поэзии, лирика Леонарда Тукилату близка к творчеству Сальваторе Квазимодо своим характером, напряженностью лирического переживания, гармонией стиха, «насыщенным, строгим и уравновешенным лиризмом», который и «заставил критиков Квазимодо заговорить о неоклассицизме его поэзии» (А. Баконский). И Леонарду Тукилату удалось достичь, в большинстве его стихотворений, гармоничного и строгого лиризма, но, в отличие от Квазимодо, в его поэзии более ощутимо тяготение к прозе. И отзвуки итальянского герметизма – поэтической формулы, имеющей слишком мало общего с оригинальным французским вариантом этого литературного направления, – смутно ощущаются в произведениях Леонарда Тукилату, которого очень сильно привлекало и творчество Джузеппе Унгаретти.

Сжатость поэтической выразительности, максимум экономии художественных средств, кажущийся прозаизм, за которым скрывается гармоничная поэтическая архитектура, использование предельной краткости и диссонанса – вот основные элементы современной поэтики, которыми насыщена лирика Леонарда Тукилату, как и у названных великих итальянских поэтов: «Послушай,/ Отпели дневные петухи,/ Мама./ Давно унялась их тревога./ Лишь кое-где/ еще вспыхивает их одинокий выкрик,/ Зависнув в ночной тьме.../ Широко распахнулись ворота Вселенной,/ Мама!» («Рапсодия»).

Хотя, казалось бы, Леонард Тукилату не предлагает в своей поэзии определенной системы этических и эстетических принципов, при более внимательном прочтении наблюдается его интерес и к поэзии немецких экспрессионистов, в особенности Райнера

Марии Рильке, Георга Тракля и Георга Хейма. Рожденная в период кризиса начала XX века, определившего драматический разрыв между человеком и Вселенной, исходя из ницшеанских «сумерек богов», «поэтика крика», характерная для поэтов «потерянного поколения», станет орудием борьбы в противопоставлении природы и цивилизации и утверждения космической сенсительности личности.

В поэзии Леонарда Тукилату «крик» является основным связующим элементом мира исчезающего и иного, элементом едва ощутимой гармонии, контуры которой проглядывают в будущем: «Крики, свисающие с вершин елей./ Страшно слышать о своей кончине./ предопределенной природой...» («Крики»); «Здесь завершился/ последний день Помпеи, —/ кричат у дверей солнца гномы./ обласканные нищими духом» («Последний день Помпеи»); «...я крикнул свету/ чтобы он убрал свои холодные когти./ распрощался и ушел отсюда...» («Странник в одежде ворона»); «Давно унялась их тревога./ Лишь кое-где/ вспыхивает их одинокий выкрик...» («Рапсодия»).

Эстетика экспрессионизма, поэзия Лучиана Благи и принципы итальянского «герметизма» способствовали обрисовке очертаний лирического мира Леонарда Тукилату, опирающегося на национальную почву – этот фольклорный, «пастушеский» базис, что является одной из основных его черт.

Однако определяющим для возведения этой лирической вселенной было влияние поэзии Благи. Таким образом, поэтическое творчество Леонарда Тукилату, органично вписанное в литературные традиции Ардяла, исходит из модели Лучиана Благи. Некоторые строки из поэзии Леонарда Тукилату напоминают знакомые лирические образы великого румынского поэта: «...Отпели дневные петухи./ Мама./ Давно унялась их тревога./ Лишь кое-где/ еще вспыхивает их одинокий выкрик./ Зависнув в ночной тьме...» («Рапсодия») – «Петухи Апокалипсиса все еще кричат, все еще кричат в румынских селах./ Колдцы ночью открывают глаза/ и слушают темные вести» («Трансцендентальный пейзаж» из книги «Хвала сну»); или «Ты напиши мне, что слыхала где-то/ звук трубный неба./ и что в этот час/ нам провиденье изменило./ и что мы играли так./ как не играл до нас никто» («Пиши мне») – «О, я хочу зыграть как никогда, чтобы Господь не ощущал себя во мне рабом./ закованным в темнице» («Хочу танцевать!» из «Поэмы света»).

Приближение Леонарда Тукилату к фольклору не было формальным, оно было мерой существования поэта, который взял из народного источника не столько форму, сколько поэтическую этику, ее смысл. Его произведениям, вдохновленным народной поэзией («Баллада о мастере Маноле», «Так, как в Брязе», «Народное», «Игра в прятки»), чужд песенный лиризм – легкий и поверхностный. Леонард Тукилату приблизился к почти неуловимому оркестровому звучанию фольклора, раскрывая его многозначную суть. Даже в его «сумеречных» стихах, написанных в период мучительной болезни, в которых доминируют образы пустыни и душевная усталость, общий тон остается оптимистическим, потому что осознание неумолимого конца не пугает поэта и не опутывает его сетями мизантропии и пессимизма – «Суши мои губы/ и печальны глаза./ лишился я всего, моя Фата Моргана.../ этим хмурым утром/ легких воздушных хлопьев/ я не хочу./ чтобы хоть кто-то/ попрекнул тебя в час./ когда я, землянин./ отхожу к Великому сну» («Фата Моргана»), – а наоборот, демонстрирует огромную жажду жизни, подобно герою народной поэмы «Миорица»: «Ухожу ли я отсюда? Мир вам, люди» («Не нарушай во мне покоя»); «Любите жизнь! – Засушенный мотив, но он единственный, – и следовало б нам смеяться».

* * *

В поэзии Леонарда Тукилату доминирующим концептом, доведенным до степени высшего закона, является единство мира. Вся вселенная отражается в каждом земном феномене, являющимся одновременно и элементом Земли, и атрибутом Космоса: «Диск солнца./ паутиной оплетая сад./ вдруг загорелся редкостным венцом на лбу твоём./ его я осыпаю лепестками./ Вот музыка небес —/ аккорд начальный/ созвучия природы и вещей» («Поэма»).

Перед нами вечная общность земли и мира, а сама земля – воплощение космической гармонии, бесконечная «рапсодия солнца», где каждое из человеческих творений – «светлая болезнь неба» («Поэма»). Элементы связи между этими двумя полюсами бесчисленны, но главным, как и в поэзии Лучиана Благи, остается свет. И именно в свете, а не в тени, не во тьме видит поэт чудо существования, свет

является великой тайной: «Воздвигли дети храм/ для поклоненья свету,/ Огромными глазами они охватывают/ По утрам его./ Откуда он приходит?»; условие «великого сна» – новое обращение к Вселенной Лучиана Благи, и, ни в коем случае не пробуждения: «Величественные деревья/ засыпают при свете дня./ Медленно ступают они/ К новому созвездию сна» («Почти пастораль»).

Корреляционное движение «Я – Вселенная», свойственное каждому творцу прекрасного, является завершающим и становится одной из доминант его поэзии: «И пронизанный вами,/ ветры, поющие сквозь пески,/ я остановился у края земли/ в ожидании дня грядущего» («Дрожь»).

Как земное, так и космическое обретают в поэзии Леонарда Тукилату объем человеческого существования и одновременно желание самопознания и отождествления себя с каждым элементом макрокосмоса в отдельности: «Вкушаю/ от этого огромного солнца/ на высочайшем из небес/ – невидимой опоре разума, украшенной горечью увядших дней»; «Во мне преобладает небо,/ И я так светел» («Срезанные ветви»); «Наши тени, ушедшие за солнцем, вернулись ни с чем» («Восхваление теней»); «В моем городе на краешке небес огромные, высохшие от жажды камни насыщаются дождями» («Апокалипсис»).

В каждом растении или существе обретается частичка собственной жизни поэта, его судьбы. Неизлечимая болезнь еще больше обостряет страдания поэта, расстающегося с ними: «... Слишком сильное страданье/ отчуждает тебя/ от самого себя,/ от дождей,/ от старых кодр...» («Я поселил в себе волнение моря...»), «... Меня изводит трав тоска,/ зов шелеста,/ меня сжигают сухие ветви/ деревьев,/ и сжимается душа моя,/ что больше не смогу прижать к груди/ цветы доверчивые твоих рук» («Уставшему путнику»).

Свободный доступ к сердцу поэта открыт, в нем бьется жизнь каждого, вся природа причащается к его радостям и печалям: «Змеи приползали/ с цветами в сжатых челюстях,/ чтобы узреть мои сожженные поля». Сердце поэта, открывается, как книга, которую он читает, печалась о своей участи: «Тучи собираются в узкий мост,/ окаймляющий небесную лазурь./ Миллионы комаров мчатся в бесконечность,/ унося с собою свет солнца», «Редкие капли потихоньку исчезают,/ оставляя на стеклах беспорядочные

следы./ Дождь угоняет в осень моих гномов» («Дождь угоняет моих гномов»).

Мотив осени присутствует в поэзии Леонарда Тукилату не только потому, что это его любимое время года, но и потому, что полностью выражает его душевное состояние: «Листья ореха/ навели на меня грусть/ запахом ясного неба;/ мне хотелось вырваться из кокона/ монотонной жизни к их небу/ волшебному, ясному...»; «Глаза, утратившие цвет,/ следят за последней игрой/ опадающих на землю листьев./ Крики улетающих птиц/ звучат среди голых ветвей» («Кукушечка»).

* * *

Для лирического мира Леонарда Тукилату характерна удивительная гармония звучания, достигающая кульминации в музыке высших сфер. Этот аспект лирики был отмечен Георгием Менюком в предисловии к диску «Посланник», озаглавленному «Звучащий мир»: «Поэт не только видит землю, но и слышит и слушает ее. Музыка земли, повторяясь в нем, возрождается».

Мир звуков поглощает поэта в тиши. Хотя поэт заявляет в одном из своих стихотворений, что «Моя родина – это море красок», он, все же, является носителем обостренной сенсительности, и, скорее, аудио-музыкален, чем визуально-пластичен; краски, насыщающие его поэзию, включают в себя элементы музыки, они «поют день тех, кто придет за мной» («Вкушаю от этого огромного солнца»).

Окружающий мир озвучивается, и поэт определяет по звукам составные его элементы; скрытая музыка вещей пронизывает и поглощает все, ярче раскрывая язык ощущений, которые невозможно выразить словами.

Поэт осознает огромное пространство ощущений и впечатлений, которое находится за пределами языковых возможностей, и поэтому его вера предельно искренна: «Я произнес слова,/ как мог,/ чтобы передать музыку». Там, за пределами музыки, там, где она кончается, «берет начало жизнь источников радости,/ еще никем не познанных» («Поэма»).

* * *

Хотя это не единственная основа поэтического новаторства, и в этом смысле мы не можем согласиться с утверждением Малларме

о том, что «поэзия создается не идеями, а словами», языковые возможности не являются второстепенной проблемой тогда, когда мы говорим о поэтическом творчестве, но представляют собой одно из главных условий любой поэтической формы, которая, в какой-то мере, определяет как ее художественное воплощение, так и способ, каким поэт отражает современную ему действительность.

Обновление поэтического языка, его экспрессивных средств является неоспоримым достоинством поэзии Леонарда Тукилату, который вместе с братьями по перу своего поколения сделал бессарбскую поэзию самым важным явлением 70-х годов.

Леонард Тукилату создал для себя собственный мир слова и, владея этим волшебным инструментом, оставил нам жемчужины поэзии редкой красоты. В его стихах слова отличаются особой выразительностью, так как их эмоциональная насыщенность предельна и необычна, поэт умеет «одевать» слова «в самые простые/ и самые красивые облачения/ поэзии», умножая их силу и богатство, придавая им самые разнообразные функции и значения, так что его поэтические миниатюры приобретают неожиданные ритмические свойства: «Хлопья/ с твоими сплетаются/ белыми прядями,/ Снежным/ потоком/ уносятся/ годы/ твои./ К счастью/ какому/ глядят/ эти очи/ заплаканные,/ Сквозь/ покрывало/ прозрачное/ старой/ луны» («Вечность»); «Пронизанный вами,/ ветры, поющие в песках,/ Остановился я у края земли/ в ожидании дня грядущего» («Дрожь»).

Так же, как и в произведениях современных великих лириков, главным является не поэтическая экспрессия, а сама поэтическая субстанция, что не означает, что Леонард Тукилату избегает редко используемую, необычную лексику, он умеет очень органично сочетать ее в глубоко личной гармонии, не отвлекая внимания от сути. Экспрессивные средства отличаются безыскусностью и естественностью: создается видимость полного отсутствия поэтической техники, и возникает иллюзия воплощения поэзии в прозе и простейшей индивидуализации впечатлений. Это ложное представление вызвано тем фактом, что поэтическая техника Леонарда Тукилату во многих случаях далека от какой-либо стилизации, однако художественное чутье помогает поэту определить соответствие между формой и содержанием.

В стихотворениях, написанных в классическом стиле («Барбу», «Сорокская крепость», «Воспоминания», «Помнишь ли ты еще дом...», «Ах, не ласкай меня водой своей стоячей, редкий дождь...», «Поэт» и др.), встречаем все же разнообразные поэтические приемы, достигающие кульминации в стихотворении «Так, как в Брязе». Мощная стилистическая конфигурация характеризуется широким применением повторов: «Могла ты не придти./ Могла ты не вернуться./ Могла остаться жить./ Могла и смерть избрать».

Собственно говоря, искусство слова и поэтической выразительности в обычном понимании не доминируют в поэтике Тукилату. Он концентрирует впечатления, создает уникальную атмосферу чистой и открытой поэтической веры с четкими элементами прозы, атмосферу, исходящую из крайнего ограничения эмоциональных средств, экспрессии, устоявшегося поэтического спектра с четкими глубинными акцентами и интенсивностью, где господствуют идеи смерти и ухода, и, в тоже время, безграничной веры в извечное продолжение природы и жизни в духовных их формах.

* * *

В поэзии Леонарда Тукилату прошлое часто актуализируется, становится одним из самых важных показателей личности поэта, «прошедшего через судьбу», часто, возвращаясь к истокам жизни, он спрашивал для себя «непрожитые дни детства» («Крик»). Мучимый болезнью, поэт проживал каждое событие в максимальной его амплитуде, он жил не только в настоящем, которое, зачастую, было для него источником страданий и грусти, но и во всех возрастах одновременно. Ведь настоящий талант по Бодлеру не способен утратить детство, он вновь и вновь возвращается к нему в любой момент жизни.

В одной из своих поэм в прозе Леонард Тукилату пишет: «Кто может пройти мимо склепов собственных лет без того, чтобы у них не остановиться? Я бы не смог. Сколько их, у которых я должен постоять» («Если бы вы меня обрядили, чтобы я отсюда вышел...»).

Детство возрождается в образах родного села, этого «волшебного мира мечты»: сельская мельница, «привыкшая к доброму понуканию крестьянина,/ к ленивому мычанию волов» («Мельница»); родительский дом, «где собиралось все в незабываемой гармонии./

Там, где в травах я проводил свои беззаботные дни./ ощущая себя величайшим существом на свете./ Там, где я оставил половину своей души» («Дом»); в «диалоге холмов», ограждавших дом («Осеннее»).

В представлении поэта детство – это абсолютная естественность и простота, одна из первичных форм гармонии, к которой он стремился, это музыка непередаваемого, вселенная «хрустальных голосов», потому что она «говорит... языком, который никогда не будет осмеян» («Бег в полях»). Одновременно, – это убежище для поэта, измученного страданиями: «Безумство детства./ Я укрывался/ меж гигантскими/ валами моря./ как пустынный» («Поэма»), источник, из которого поэт утоляет жажду забвения несчастий и теснящей душу грусти.

Даже, если человек лишен всякого контакта с миром, у него все равно остаются воспоминания, мечты, огромный внутренний мир, остается детство с его тайнами: «Я гонялся за ветрами./ собирая твои симфонии, детство./ я устал от слепых дождей./ босой, с непокрытой головой/ я несся за тобой, чтобы достичь тебя./ я жаждал вырасти, чтобы тебя коснуться» («Как я жажду, о Боже...»), «Огромным полем было мое детство./ и, колыхаясь./ цветы ласкали/ начало моей жизни./ Хотел я стать ребенком./ стал им./ и теперь меня охватывает грусть./ И так как я дитя./ тоскую я/ по миру/ брошенному, что укатило колесо времен» («Деревья так красиво пели...»); «Дано единожды нам детство./ и там, где нет детей./ седые старики – самые большие мечтатели» («Образ истинной суровости»).

Воспоминания о детских играх лечат боль: «Я вижу над собой./ в солнечной башне./ играют незнакомые мне дети./ Их веселье лечит все мои недуги» («Поэма»), а вся наша жизнь – ничто иное, как расточительство сокровищ детства: «Брожу./ отщипывая по кусочку/ от всего, что ты мне дал./ отец./ державший на руках меня когда-то...» («Стихи одиночества»).

Воспоминания детства и красот родного края, непреодолимое стремление поэта, изведенного тоской вновь увидеть землю предков, является одновременно и раздирающим душу желанием самоидентификации, потому что поэт осознает, что является носителем черт человека, обойденного судьбой. Эта идея предопределенности судьбы, которая тянется от античных греков, имеет в творчестве

поэта двойственное значение – трагическое – осознание неизбежности конца и сожаления о жизни: «Я не верил./ что все чудеса жизни/ сводятся к нулю тогда./ когда ослепший свет/ попрошайничает, требуя своей доли...» («Я никогда не ожидал...»); «Грохот дверей раздается вблизи.../ Закрылся дом души моей./ и она оставила меня за порогом» («Стучался в дом души...»); «Как страшно слышать мне/ о собственной кончине/ по замыслу природы» («Крики, повисшие с верхушек елей...»); «Я ощущаю муть потока./ залившего дорогу мне./ и не спросясь./ шаги меня несут к финалу./ Я стар, как лист./ припавший к матери-земле/ и ветром унесенный/ в пустыню теней...», и другое – пророческое, неземное, переход в другие сферы сознания, где жизнь и смерть являются не более чем одной из сторон вселенной в вечном движении, потому что в понятии поэта смерть – это не небытие, а Великий Сон, всеохватывающая, всевластная тишина, это возвращение «к началам всех начал» («Не ожидал я никогда...»).

Желание самоидентификации исходит не только, и не столько из осознания неизбежности конца, сколько из веры поэта в том, что там, за видимостью вещей, существует бесконечный мир в вечном движении и общении, мир тождества, к которому он стремится.

Вопросы, поставленные поэтом: «Свет великий! Какая, все же, кровь во мне?» («День старого солдата»), «Разве не ты зывал к себе/сегодня/целый день?» («Лето»), «Возможно ль, что есть я, которого еще не знаю?» («Я преждевременно пришел к тебе...») мне кажется, являются в этом смысле решающими, так как это вопрос творческого духа, который непрестанно борется с самим собой; это желание самоутверждения точь-в-точь выражено молодым Еминеску в поэме «На Буковине»: «Представились в мечтах судьбы величье, имя гордое и свет звезды».

Желает ли поэт быть равным самому себе, стремится ли он к песне, равноценной дарованному ему свыше таланту? – парабола стихотворения «Кукушка» – это образ самого поэта? – в этом смысле перед нами убедительный пример. Отсюда и постоянная тревога, стремление к самоидентификации «не из невозможности, но из желания быть человеком...» («Мне»), осознанные поэтом столько раз... «Если я обивал пороги души моей./ я делал это из безумного желанья/ узнать, откуда восходит мое солнце/ с редкой отарой снов»

(«Я обивал пороги души...»); «Я пилигрим. Пилигрим в душе» («Амфора для тела моего»).

Поэт искал самого себя всю свою короткую жизнь, эти поиски часто приобретают трагические оттенки в его поэзии: «Легко шагаешь по траве,/ по твоей земле/ столь далеким от тебя» («Из забытья...»); «Как глупы эти поиски себя, как беспощадна эта игра/ без пользы и без завершенья...» («Срезанные ветви»); «Кричу, что до предела я дошел,/ что так далек от самого себя,/ что не дойти мне,/ сколь мне света ни давай...» («Четыре угла, и все разные...»), или поиск ответа на драматические вопросы человеческого бытия, поиск истинного Я и есть главнейшее условие любого творения: «Если б не было/ ослепительной болезни неба/ – общей нашей болезни,/ быть может,/ ты на своем пути/ не оставил бы никакого следа» («Поэма»).

Точь-в-точь, как пастух из «Миорицы», поэт не сдастся перед лицом смерти, а пытается превратить это личное событие в космическую мистерию: «Раскрылись огромные ворота Вселенной,/ мама...» («Рапсодия»); «Бьют небесные часы/ вдали,/ вдали!... По ту сторону ночи/ падают тени с высоты/ белая пена облаков поглощает небесный свод./ – Сумятица в душе моей!/. . . Зовет нас бесконечность» («Добрый вечер, мама»); «Меченое небо умрет в молниеносном сцеплении ресниц./ Стихнут проливные дожди, необычно затяжные дожди» («Посланец»). «Уйти бы мне туда, где рвут листву олени,/ уйти туда, где жаждет топь времен меня/ и где душа моя повиснет у дороги, в порывах ветра...» («Ты, город, проводил меня...») – давая жизнеутверждающий ответ несчастью, тяжким проблемам бытия и оставляя миру свое волнующее послание: «Мир вам, люди!» («Не нарушая покоя мой...»).

Назначение поэта состоит в том, чтобы открыть посвященным неизведанные глубины их собственной души, эти «тайные закоулки», по высказыванию Федерико Гарсиа Лорки, где господствуют воспоминания и мечты, переживания и извечно светлые надежды.

Леонард Тукилату своей жизнью и творчеством остался верен этим принципам, являя собой удивительный пример моральной чистоты и высшей этики. Он нашел в себе силы противостоять превратностям судьбы, не оставляя пера до последней минуты жизни, создавая произведения волнующей красоты, в которых

воспевал человеческое достоинство, свет и любовь детства и его тайн. Несмотря на то, что за свою короткую жизнь он написал сравнительно мало и не успел довести все до конца, – поэт свидетельствует нам в одном из своих стихотворений в прозе, написанном в последние месяцы жизни: «Никогда я не чувствовал так близко и остро необходимость писать, цену слова, радость его и теплоту... – Но я еще не все успел» – Леонард Тукилату создал собственный, ни с чем не схожий величественный мир, который обеспечивает ему особое место в современном контексте нашей литературы. Под его пером каждое произведение приобретало волнующий блеск искусства, становясь поэтическим образом, так же, как обычные вещи превращались в золото от прикосновения руки царя Мидаса.

Творчество Леонарда Тукилату подобно древнему храму, который по мере того, как мы его открываем, представляет нам неожиданные сокровища гармонии и недосягаемого совершенства.

Настало время, чтобы его творческое наследие стало достоянием всех любителей прекрасного, потому что на могиле поэта в Бурсучень все еще сверкают искорками редких самоцветов скромные полевые цветы.

Октябрь 1977г. – ноябрь 1981г.

P.S. Представленная ныне статья о поэзии Леонарда Тукилату, написанная мной еще в студенческие годы, как предисловие к запланированному изданию стихов и прозы поэта, была предана мной на долгие годы забвению. Это издание появилось лишь в 1989 году («Фата Моргана», издательство «Литература артистикэ») и, так как литературная жизнь Кишинева была и остается насыщенной более фантомами обстоятельств, чем истинным творчеством, эта статья оказалась за бортом.

Я был крайне удивлен, когда в июне 2000 года бесспорно талантливая русская поэтесса Мирослава Метляева предложила мне представить данную статью в качестве предисловия к двуязычному румыно-русскому изданию поэзии Леонарда Тукилату, которое должно было бы появиться в канун пятидесятилетия со дня рождения поэта. Конечно, сегодня, в контексте возвращения, пусть частичного, к нормальному состоянию литературы на румынском языке в Бессарабии, я бы написал совсем по-иному о поэзии Леонарда Тукилату.

Я внимательно прочитал эти переводы и отмечаю тонкость стиля, точность передачи на русский язык смыслового содержания, особого ритма и атмосферы, преобладающих в каждом стихотворении Леонарда Тукилату. Издание этой книги стало бы особой данью поэту, «обойденному судьбой».

В то же время, не могу не отметить необходимость критического анализа прежних изданий поэзии и прозы Леонарда Тукилату, так как две книги, известные до настоящего времени – «Фата Моргана» (Издательство «Литература артистикэ», 1989) и «Посланник. Фата Моргана» (Кишинэу. Издательство «Гласул», без указания года) – изобилуют целым рядом неточностей и упущений, которые следует исключить из будущих изданий общими усилиями тех, кто сохраняет еще рукописи или копии рукописей поэта.

Такое издание могло бы ускорить и литературно-критические исследования, в которых столь нуждается творчество поэта из Бурсучень.

3 мая 2001г.

Леонард Тукилату
РАЗЛЕТЕЛОСЬ ОСКОЛКАМИ
БЕЛОЕ НЕБО...

* * *

Возможно, вам захочется однажды
равновесье обрести,
читая строгие стихи,
и скупно улыбнувшись, вы произнесете,
что уж ничто не остановит вас...
И если б не было мудрей кого-то,
не знал бы мир ни зависти, ни злости,
и если б не был кто-то лучше и добрей,
не преступались б заповеди,
а вокруг
не встретилось бы ни души...
И идеально простиралась бы земля
в рядах могильных...

Разлетелось осколками белое небо...

Если бы исчезли те,
кто издалека кличет нас,
кровь в жилах зажигая,
все б кануло на дно вселенской тиши,
что ни единого плода не даст вовек.

ВОЙНА

Покой мысли,
равноценный жизни нашей,
канул в никуда,
затерялся в смерчах времени...
Благодатный покой –
ответ на извечный вопль
белых городов –
уже не сподобит нас
лаской далекой тишины.
Колокол тревоги
разрывает нарождающиеся мысли.
О, как недолог был покой!
Джунгли кипят в лучах солнца
под натиском огненных стрел.
Приветствуя нас мертвой улыбкой,
проходят мимо призраки,
прибирая к себе нашу крохотную тишину
и с ней – кого-то из нас.

РАПСОДИЯ

Послушай,
Отпели дневные петухи,
Мама.
Давно унялась их тревога.
Лишь кое-где
еще вспыхивает их одинокий выкрик,
Зависнув в ночной тьме...
Широко распахнулись ворота Вселенной,
Мама!

Леонард Тукилату

ВСЕГДА ДРУГИЕ

Призраки виноградников
 в свете дряхлых сумерек...
 Ты, что прошел,
 спрятав лицо в воротник,
 я открываю тебе ныне
 двери, двери,
 ныне и присно.
 И во веки веков
 цвести нашей доброте,
 хоть и не навещают нас дожди
 И понапрасну сгорают
 голубые одуванчики,
 и дети притворяются,
 что плачут,
 не ведая страха голода.
 А зной так мучителен,
 и одуванчики горят,
 и серебряными цветами
 спадают солнечные пряди,
 обжигая обнаженные плечи дев,
 которым давно пора рожать.
 Сдавленная
 горькая песнь опускается,
 отчуждая деревья...
 Ты, что прошел,
 хочу поднять тебя высоко
 в колыбель из цветов,
 стряхиваемых солнечным шумом,
 чтобы другим казалось,
 что тебя не было никогда,
 что не был ты возможен
 в краткие мгновения покоя
 огромной жизни;
 но лишь тогда ты есть,

когда тот, кто ищет тебя,
 более тебя не желает,
 но лишь тогда ты есть,
 когда немощной руке
 уже не подняться для защиты.

ИСКУССТВО

К простоте этих радостей
 кто приобщает тебя?
 Бесплотным кажусь себе
 в дрожи свечи,
 истаявшей наполовину,
 и пишу о свете, о радостях часа...
 Но глухой стон так бесстыдно лжет...
 И я медленно, медленно наклоняюсь,
 собирая зерна истинной горечи.

СТАРЫЙ ЛЕС

Над тобой
 Курится дым племени,
 Древнего, как сама земля.
 Отчего же лик твой не зарделся
 Отблеском нависающего над тобой свода,
 Старый лес?
 Ты – обзорное пространство,
 Выросшее под сенью горы,
 Созерцающей тебя, Старый лес.
 Если в тебе дремлют мглистые чащобы,
 Не тесни их беспредельно,
 Ибо в них затаились страсти племени,
 Подернутые пеплом слез.
 И если солнце шлет тебе свет
 Всего лишь для одного-единственного листка,
 Прими его
 И знай,

Что это – твое сердце,
Которое доселе ты не ощущал,
Старый лес.

НА СМЕРТЬ БАБУШКИ

В поздний час
погас огонь в одном из домов,
не дожидаясь рассвета.
Молитва ни о чем
и последняя дрожь лампы...
Маленькие стены
собирали скромные осиротевшие одежды,
отсветы которых исчезли под пеплом.
Печь, таинственная мать Фэт Фрумосов,
остыла, унося с собой запах жизни.
Бабушка проводила в дорогу последних журавлей.
Маленький домик грезил,
и чудный ларец сказок открывал свои окошки,
чтобы вошли в него мир и покой человека,
отправившегося в долгий путь памяти.
Девочка с длинными косицами вдоль спины,
укутавшись в старую бабушкину шаль,
все твердила последнюю сказку,
окропляя ее чистыми детскими слезами.

СПИЛЕННЫЙ ЛЕС

Крик смертельно раненных жаворонков
Покинуло эхо,
Кукушка, которой некуда прислониться, улетает.
Опускается вечер,
равный для всех в своем одиночестве,
Вой волков уже никого не страшит,
Обнажилось без зарослей безмолвие,
И снова убийственная тишина затопляет поле,

Разлетелось осколками белое небо...

Только едва слышен шелест усохших листьев,
Раны деревьев изливаются в слезах...
Лежит поверженный лес –
Обнищала песня души нашей.

ГДЕ-ТО В НОЧИ

Где-то в ночи
Сон звезды
Потревожен жалким лаем.
Где-то в ночи
Пальцы луны
Коснулись певца,
Разбудив трепетные струны.
Где-то в ночи
Тьма отдается окну,
Дарящему свет поздним петухам.
Это дом большой реки,
Где мама поет песнь печали,
Переданную птицам для меня
Туда, где я блуждаю,
Пытаясь заглушить суровый звон
Одинокого колокола.

ФАТА МОРГАНА

От медного звона
разлетелось осколками белое небо:
– Как прекрасна ты, Fata Morgana!
Говорили мне, чтоб не бранил я тебя,
затем увещевали, чтоб отвязался, –
таковы люди.
Носился я за тобой по свету,
чтобы настигнуть,
и устал от слепых дождей;
босой, с непокрытой головой,

Леонард Тукилату

оставлял я на коре деревьев
 слова-зарубки.
 Сухи мои губы и печальны глаза;
 лишился я всего,
 моя Fata Morgana...
 Этим хмурым утром
 легких воздушных хлопьев
 я не хочу,
 чтобы хоть кто-то
 попрекнул тебя в час,
 когда я, землянин,
 отхожу к Великому сну.

ЦВЕТ

Может, я стою на пороге радости?
 Рождение наше – мгновенье вечности,
 чем еще отзовется?
 На деревяшке,
 как аист,
 стоит калека большой войны.
 Жизнь его нанизана
 жемчужинами белой горечи,
 а палящее солнце
 нетерпеливо, до безумия,
 одаряет его семицветьем
 и дразнит щипками дней.
 Здесь покоятся голуби,
 прикрытые тенью сумерек,
 здесь покоится танец,
 завершение которого
 еще вьется среди веселых тополей.
 Здесь покоится танец
 в склепе слез и боли волокущего деревяшку,
 набухшую от весенних дождей.
Перевод Мирославы Метляевой-Лукьянчиковой
Продолжение следует...

Возвышенное и земное



Элина Лефтер
**ВОСХОЖДЕНИЕ К ДУХОВНОМУ
 ЧЕРЕЗ ЧУВСТВА**

Человек – всего лишь тростник, слабейшее из творений природы, но он – тростник мыслящий. Чтобы его уничтожить, вовсе не надо всей Вселенной: достаточно дуновения ветра, капли воды. Но пусть даже его уничтожит Вселенная, человек все равно возвышеннее, чем она, ибо он сознает, что расстанется с жизнью и что слабее Вселенной, а она ничего не сознает.

Блез Паскаль

Одним из духовных мыслителей начала XXв. было сказано, что «созревший человек сам создает свою ценность». Насколько данная мысль соотносится с новым поэтическим сборником хорошо известной поэтессы, судить тем, кто будет его читать. Бесспорно то, что представленные здесь стихи вносят в восприятие читателя атмосферу яркости и духовной высоты.

Новый поэтический сборник Мирославы Метляевой «Тень галеона» дополняет несхожесть двух предыдущих. Первая книга стихов «Я живу среди вас» – событийно-локальна, легко узнаваемы вопросы и проблемы конкретного времени. Сборник «Песни ночи» выделяется своей обращенностью к миру «вечных» образов и мотивов, к системе «вечных» ценностей.

Последний поэтический сборник прослеживает новый путь авторского миропознания – восхождение к духовному через чувства. Эта поэзия чем-то созвучна идеям антропософии, духовной науки, апеллирующей к знанию и мудрости. Лирическая героиня – житель двух миров, мира физического и мира духовного, причем духовный мир более реален, чем физический.

Земное бытие человека имеет свои четко очерченные пределы, что томит и тревожит. Вместе с тем, Время – это не только выделенные каждому жизненные отрезки, это великое и вечное повторение, воплощенное в бессмертии Души.

«Душа смерти не мыслит, – было сказано мудрой Мариной Цветаевой. – Смерть страшна только телу. Героизм души – жить, героизм тела – умереть».

Затерянные в Вечности конкретные минуты и мгновения снимают пути повседневности, давая истинную свободу Духу.

Одна из основных антитез упомянутого сборника – жизнь-смерть, Божественное-земное.

Возможность Не-Бытия воспринимается лирическим героем неоднозначно: с одной стороны, Духу предоставляется истинная свобода. Ему незнакомы страх «дороги без возврата», «оргии заката», всепоглощающий быт и суета:

*И буду я глядеть спокойным взором
на муравьиный люд в низинах мглистых.
И не найду в себе того, что присно
томило дух причастности укором.*

С другой стороны, красота и совершенство мира, созданного Богом, глубокая тоска по быстротечности земного бытия, закреплены объемной по своему содержанию метафорой:

«...безбрежность синевы пронзится натяжением диких знаков».

При всей напряженности поэтического повествования в стихах нет ощущения трагического конца.

Есть великая мудрость – воспринимать как данность то, что тебе предназначено свыше:

*И час пробьет премудрости суровой:
учиться новой истине – не ждать.*

Удивительная особенность поэтического письма – трудно уловимый стержень художественного образа. Звенья метафор создают образ в образе. Каждое стихотворение – законченная мысль. А сборник в целом – единый мыслеорнамент со строго продуманными средствами художественной изобразительности. К примеру, в стихах нет цвета как такового. Преобладает светотень: «пепельных хлопьев цветы», «свинцовая волна неба», «ватно-облачная долина», «патока света», «дымовая вуаль». Неуловимость мира духовного обуславливает неуловимость цвета.

И, наконец, последнее. Существует глубокая связь между небом, землей, человеком. Это великое триединство воспевалось веками. В данных стихах утверждается следующее: если существует несовершенство, боль, грусть, ностальгия по Идеалу, то все это не является чем-то инородным по отношению к великому целому. Оно интегрируется в Гармонию.

И потому до боли понятными становятся строки:

До чего ж эта бременная жизнь так отталкивающе... прекрасна.

Мирослава Метляева **ТЕНЬ ГАЛЕОНА**

Я – путь, и странник в пути,
и все паруса на свете.
Роберт Джеймс Уоллер,
«Мосты округа Мэдисон».

* * *

Вдали струятся берега...
Ступить на них – коснуться горизонта...
Прельстилась книжным вымыслом иль сном?
Но там, на спинах волн седого Понта
Играет молодость моя,
Стремясь за кораблем.

В желаньи что-нибудь сказать –
Молчаньем к ней взываю безответно...
Лишь утра закипающий поток
Меня сплавляет с нею в слиток света,
И над сияющим лицом
Трепещет мой платок.

Потухла, пальцы опалив,
Сухая спичка. Больше не воскреснет
Шелк лепестка огня. Но лампы круг
В объятья заключил фигуру в кресле...
И галеона тень
Коснулась век и губ.

* * *

Кипит живое серебро воздушных тополей,
вздыхая облаков сухих метели,
и, выцветая, небо мягко сеет
жемчужный свет дыханием дождей.

Найти ли в странной милости изъян,
как в нимбах фонарей роенье мошек?
...Нам гимном жизни будущей и прошлой
шумит избранник пустошей – бурьян.

* * *

Под потолком застыли брызги хрусталя,
сквозь кружево гардин пробилась гроздь света
и расплескались пятнами картин,
на стенах закрепив обрывки лета.

И воздуха полотнище задул
в окно разгульный воробьиный щебет,
к упругому диванному плечу
прильнул руки сверкнувшей гибкий стебель.

...Благословенные безмолвные часы
в спокойном золоченьи струек пыли...
Лишь вкрадчивые легкие шаги
смятенье сумерек в закатный рай вносили.

* * *

Лапками летучей мыши
уцепилась штора за струну...
В вязкости густой капельной тиши
льнет безмолвие виском к афише,
нехотя отдавшейся окну.

Дня исход сокрыл навесом
вечность целую до ближнего утра...
Прель, набухшая в потугах веса,
плюхнулась за неимением места
на асфальт весеннего двора.

Шарик НЛО залетный
замигал лампадками кафе...
Очутившись в странном переплете,
две души в объятии бесплотном
над столом парили «под шафе»...

* * *

Неужто ты покинула меня,
душа моя? Мое бессильно тело.

Мир действия – зов хищного огня,
где высекатель искр – мышьяная возня,
так одряхлел... Намек на что удел мой?

Что? Снова шаткие мосты сжигать,
будить раба, вливать в желанья смелость,
дитя вскормить и на ноги поднять,
вспять время повернуть и страстью обуздать
кого коснуться даже не сумела?

Молчишь? Ушла... Но если плачу я,
Ты здесь, душа! Ты вовремя успела.

* * *

Я так ждала, что мне казалось,
в толпе мелькнут твои черты,
и теплилась пылинкой малость:
есть я – не быть не можешь ты.

И в утомительном мельканьи
бесстрастных слов и бледных лиц
кружила птица ожиданья
в неверном пламени зарниц.

И в примиреньи с этим миром –
ведь ты, незримый, рядом был
– я в топких заводях эфира
сводила нежность в звездный ил.

И на седой небесной почве
рождался первоцвет луны,
и плыл признаний легкий росчерк
на гребне световой волны.

Но дни текли скупей и строже,
и зрел в бездонности мольбы
намек прозрачный слова «позже»
на запредельный шаг судьбы.

МОЛЬБА

Мне снился сон: склонясь пред Божеством,
стояла я как нищенка с котомкой,
и Книгу бытия точили черви слов,
и из сумы валились дней обломки.

За каждый предначертанный итог,
за каждый шаг, задуманный не мною,
я каялась, и мой бессильный слог
дробился в прах пред истины стеною.

Лишь взор холодный в сердце проникал,
и скальпель ледяной членил мой разум.
– Зачем? – Дух слабый Бога вопрошал.
– Меня задумав, все Ты видел сразу.

...Оставь меня, забудь и не суди:
удел влачить свой буду, как сумею.
И взор карающий до часа отведи,
когда свой путь сама преодолею.

* * *

Из нитей дождя,
из пряжи ночных видений,
из солнечных блесток,
нырнувших в лесную траву,
я синий ковер,
задуманной мною жизни,
полетом стрижей закрепляя,
тайком торопливо сотку.
Его я украшу
букетами легких вздохов
по бронзовой сини
когда-то бежавшей волны,
по тихо упавшей
на мокрый асфальт розе,
по горько-фиалковой дымке
ночного костра у реки.
Лишь рваные нити

обмана, обид, желаний,
бутонами яви усохнувших,
я не вплету.
Им есть назначение:
давно власяницу
себе из узлов я связала
и кружево это ношу.
Но только я знаю:
незримый ковёр чудесный
из запахов моря
и дрожи разбуженных трав
просторным раскинется ложем
под кровлей небесной
для тех, кто придут вслед за мною,
путь райских изгоев избрав.

* * *

Что рассказать мне о любви
среди варварских времен?
И как в словах скупую быть
под щебет рабьих жен?

Сказать, что не было луны
и жгучих дальних звёзд,
и нежных рук, и слова «мы»,
и дрожи чёрных роз?

Что рассказать мне о любви?
Вернуть причину слёз?
О роли нищенки забыв,
налгать историй воз?

Сказать об иглах слухов злых
и зависти шипах,
увядшем ложе снов слепых,
стерев касаний прах?

Какой же демон жалит грудь
неудержной тоской?

Песком желаний устлан путь,
но впереди – покой.

* * *

Под инеем ночью мерцает трава,
как речи утраченный смысл,
и мёрзлую почвой крошатся слова
очеловеченных крыс.

В бескрайнем покое исчерпанных сил
есть мощь подневолья ума,
постигшего холод небесных светил
в значении «тюрьма» и «сума».

Знаменем двойным каждый миг осенен,
решений пустеет карман,
оркестром тревоги расплакался сон,
озноб застучал в барабан.

ЗИМНИЙ ГОРОД

Улица дымила в лицо морозом
вызывающе нахально,
с каждым – на «ты»,
и на бархат шляпок сентиментально
роняла пепельных хлопьев цветы.

Побывав под ногами,
снег скрипучий
приутих, согласившись с пройдохой-судьбой:
кто, как не он, определяет лучше
разницу между шиной и деревянной клюкой.

Отставив небрежно
мундштук многотрубный,
город-транжира нагуливал спесь:
пугало, облачившись в туманы приبلудные,
пребывало в уверенности, что будет, как есть.

Продолжение следует...

Нетленное



Уильям Шекспир
ИЗБРАННЫЕ СОНЕТЫ
В НОВЫХ ПЕРЕВОДАХ

СОНЕТ 91

Кто предками кичится меж людьми,
 Кто щегольством, кто силою телесной,
 Кто соколом, кто псом, кто лошадьми,
 А кто монетой – звонкой, полновесной.

Всяк сообразно нраву своему
 Находит в чём-то высшее блаженство.
 Но мне все эти блага ни к чему,
 Любимый друг, земное совершенство.

Твоя любовь ни с платьем, ни с казной,
 Ни с родословной пышной не сравнится.
 Прекрасный друг, покуда ты со мной,
 Вся радость мира в грудь мою стучится.

Тобой одним богат влюблённый разум.
 Покинь меня – он обнищает разом.

СОНЕТ 92

Тебе я повторяю вновь и вновь,
 Что по своей не в силах жить я воле:
 Я жив, пока жива моя любовь,
 Умри она – и я мертвец, не боле.

Но это наихудшее из зол
 Меня при жизни, верно, не унижит,
 Поскольку смерть, как меньшее из зол,
 С твоей изменой мой конец приблизит.

Капризен ты – но стоит ли тужить
 И опасаться близкого ненастья?

Талант на одну треть состоит из инстинкта, на одну
 треть – из памяти и на одну треть – из воли.

Карло Досси

Люби меня – я счастлив буду жить,
Изменишь мне – я смерть почту за счастье.

Да, красоты без пятен не сыскать.
А где ты, с кем ты нынче – как узнать?

СОНЕТ 93

Я буду жить, не чувствуя беды,
Похожий на обманутого мужа,
Когда отдашь другому сердце ты,
Неверности ничем не обнаружа.

В твоих глазах презренья не прочтёшь:
Они меня ласкают откровенно.
Другой бы рад за правду выдать ложь,
Но предаёт лицо его мгновенно.

Однако, подтвердят и небеса,
Что ты – сама любовь и безмятежность.
И что бы ни сказал ты за глаза,
Твоё лицо – сама любовь и нежность.

Твоя краса, что Евы дивный плод –
Вместилище страданий и невзгод.

СОНЕТ 94

Кто силу не использует во вред,
Кто в бурном гневе сдерживает пламень,
Кто, страсть будя, соблазну скажет нет,
Неколебимый, хладный, словно камень,

Тот, унаследовав дары творца,
Их сбережёт, как истинный рачитель.
Он – властелин прекрасного лица,
Другой же – раб красы и расточитель.

Цветок пленять способен без конца,
Всю прелесть в пору лета обнаружа.
Но если в нём коварная гнильца,
Он плевел отвратительней и хуже.

Как ни кичись он славою былой,
Сорняк терпимей лилии гнилой.

СОНЕТ 95

Тебя съедают страсти и порок,
Что черви розу – медленно и верно.
Но суд людской, увы, не слишком строг:
В тебе, мой друг, прекрасна даже скверна.

И если кто-то, возмущён тобой,
Тебя стыдит пороками твоими,
Другой готов простить порок любой,
Едва в толпе твоё услышит имя.

Грехи в тебя вселились, как в чертог,
Где всё прикрыла внешняя парадность,
Где обелила каждый твой порок
Твоя краса, твоя незаурядность.

Она – твой дар. Не смей им пренебречь:
В неправом деле тупится и меч.

*Перевод с английского Евгения Фельдмана,
г. Омск*

Продолжение следует...

Мирча Динеску¹ БУДЬ НАЧЕКУ, ГОСПОДЬ, И ОЧИ НЕ СМЫКАЙ...

От переводчика. Мирча Динеску (рожд. 11 ноября 1950 года) начинает печататься в литературных журналах в 16 лет, в 19 дебютирует в самом престижном литературном еженедельнике

«Романия литерарэ», а в 20 держит в руках свою первую книгу, «Воззвание к никому». Книга награждена премией Союза Писателей Румынии. Критика нарекает мятежного поэта «enfant terrible» румынской литературы. Динеску рассматривает это «ласковое» наименование как пушечное ядро, которое, по его словам, он вынужден был таскать на ноге до пятидесяти лет.

Попытки режима Чаушеску привить китайскую культурную революцию к стволу отечественного национализма окончательно превращают поэта в *persona non grata*, и в марте 1989 года, после опубликования интервью, которое он дает французской газете «Liberation», автор семи поэтических сборников, получивших ряд престижных премий, в том числе премию Румынской Академии (**Воззвание к никому**, 1970; **Элегии с тех пор, когда я был моложе**, 1973; **Владелец мостов**, 1976; **К вашим услугам**, 1979; **Тирания здравого смысла**, 1980; **Демократия природы**, 1981; **Рембо-торговец**, 1985) оказался под домашним арестом. Освобожденный толпой повстанцев, вышедших на улицу 22 декабря 1989 года, Мирча Динеску первым сообщает на румынском телевидении о бегстве Чаушеску и начале революции.

Стихи Мирчи Динеску, переведенные на французский, немецкий, английский, русский, венгерский, сербский и другие языки и опубликованные такими престижными издательствами, как *Suhrkamp* и *Fisher* в Германии, *Albin Michel* во Франции, *Meulen* в Голландии (в крошечную книжечку под названием «Избранное», серия «Современная зарубежная лирика», напечатанную в Москве в 1989 году издательством «Молодая гвардия», вошли лишь немногие из прекрасных переводов Льва Беринского, подготовленных для издательства «Радуга»), отмечены премиями «Poetry International» (Роттердам) «СЕТ» (Будапешт) и «Herder Preis» (Вена).

После двухгодичного «привала» на посту Председателя Союза Писателей Румынии поэт уходит в журналистику и издает пользующиеся большим успехом сатирические журналы «Академия Кацавенку», «Поле с быками» (игра слов: **Plai cu boi – Playboy**, 2001), «Аспирина бедняка».

На деньги, заработанные литературным трудом (выступления в СМИ, сборники: **Памфлеты веселые и грустные**, **Второгодник по религии** и др.) и на доходы от сельскохозяйственной

Будь начеку, господь, и очи не смыкай...

фермы и виноделия, «помещик» Мирча Динеску (как назвал его обуреваемый пролетарским гневом председатель Ион Илиеску), создаёт Фонд Поэзии, носящий его имя, с центром в дунайском порту Четате, куда приглашает художников, музыкантов и писателей всего мира.

Е.Л.

* * *

Поймав себя на том, что гляжусь нынче таким аферистом на меже, отделяющей коммунизм от капитализма, с 33 стихотворениями в сумке – причём одни из них написаны в 89 году, под домашним арестом, а другие, те, что посвежее, в туманной Германии – я решил сам отдать себя в руки полиции, чтоб не поспешили другие, указывая на меня пальцем, донести: глядите-ка, теперь он пьянствует с Марксом – после того, как сам расстрелял его тень... (Мирча Динеску. Из предисловия к румынскому изданию книги «Пьянка с Марксом»)

СОМНЕНИЯ ЖЕНИХА

У меня в полу есть дыра:
ни капиталистическая, ни коммунистическая,
это дыра, беспартийная.
Она так прозрачна, что могла бы
вступить в Академию, так невинна,
что я бы на ней женился,
если б у меня не таилось в душе подозрение,
что в конце концов она мне изменит
с мышонком.

РЕЧЬ ПРИ ВСТУПЛЕНИИ ОДНОЙ ИЗ ЦЕНТРАЛЬНО-ВОСТОЧНЫХ СТРАН В ЕВРОПУ

В церкви
застенчивый ворюга суёт руки в карманы епископу,
чтоб их не узрел Добрый Боженька.

Мирча Динеску

Крестьянин орёт на своего большелапого сына,
велит припрятать ботинки, что брошены у сарая,
потому как идут дорогие гости,
а у нас – ну а как же? – ведь и у нас есть своя
национальная гордость,
поспешают японцы-туристы на своих воробьиных лапках
– топ, топ –
поклевать зерен пшенички, подсолнечных глазок
Ван-Гога.
И тут
час нежности нисходит на городскую больницу
и алкоголик, что заперт здесь для лечения
от алкоголизма,
тихо поглаживает бутылочку медицинского спирта,
забытую на тумбочке медсестрою,
ласково его именуя: «ликёрный подснежник»,
«прощай, мама», «я увидел тебя среди могил»,
а потом вдруг распахивает окно и кричит:

– Добро пожаловать, Общество потребления,
бери нас, покуда мы свеженькие,
заваливай, не робей,
да наточи нам из почечных камушков
игральных костей на удачу.
Отныне мы к жопе обращаться не станем
со словом «товарищ»,
а исключительно только на «Вы»,
и с завтрашнего дня вам будет труднее
вытравить меня из пивной,
чем Шекспира из Британской энциклопедии.

ВСКРЫТИЕ АНГЕЛА

Ты плачешь в углу сарая,
и слёзы твои повисают на паутине,
и пауки дивятся таким горьким мухам.

Служанка из прошлого века
причёсывается, счастливая, на пороге дома,

Будь начеку, господь, и очи не смыкай...

рухнувшего вчера от землетрясения.

Ты ничем не можешь помочь
ребёнку, что, спятив, забрался в кусты шиповника
и пускает изо рта искры и сажу,
как пароход с плицами.
Он похож на яйцо
с обращённой вовнутрь аурой.
И если ты прикоснёшься к ветке шиповника,
– упадёшь, поражённый электрическим током.

БАЛЛАДА УШЕДШЕГО

Некрасивых я любил, да умных,
и красавиц сумасбродных, без ума,
первой лишь не знал любви, безумной,
не хотела ждать меня она.

Ангел, как отросток ногтя длинный,
В мое тело врос наоборот.
К колыбели вы кутью несли мне,
к гробу клюв свой аист принесет.

Дни больны здесь, как рыбешка в сетке,
годы – как поденщики на ферме.
Вы в бинокль разглядывали сперму,
где кишат цыгане, мои предки.

Что уж там! И вдоль и поперек
вы меня просвечивали вечно.
И теперь, пришедший, на столе,
Над собой смеюсь я – над ушедшим

СТОРОЖКА В ПОЛЕ

Когда луна, как брошка, сверкнёт в твоём подоле,
Ты мнишься мне сторожкой кирпичной в чистом поле,
В чей морок сладострастно вломиться поезд хочет.

Мирча Динеску

Но то ль в тебе дежурный по станции хлопочет
Иль сторож урожая в кустах на страже стал
Рукой, как в лихорадке, ты жмешь на грех-сигнал.

УЖИН БЕЗ СОЛИ

Купи себе газету и отруби правую руку,
когда они въедут бульдозером в летопись Некульчи,
или умри от скуки.
Или жди, жди, жди, пока у тебя в руках
не вырастет каравай наизнанку.
Автобусы еле тащатся спозаранку
все будто в ранах,

 будто в цинге,
 будто в коростах

днем я мечтаю о катакомбах
вечером о ладане

 утром о картошке.

Ложки в столовых звенят, подражая визгу трамвая,
дух брома святого блуждает над чаем.
Под трубами отопления хохот красавиц столичных
вбивает оторопь в солдат отпускных, кирпичных.
Онанисты вот-вот луну обрюхатят, лаская
бедра труб духовых в отечественной упаковке.
Закажи-ка и ты себе суп до следующей остановки,
приправленный чем угодно, только не болью,
такой прозрачный, что сквозь него просматривается,
даже на самом большом расстоянии,
состояние блаженства
и благосостояние.
Приди, смерть, и посыпь нас солью.

БАХ

О Иоганн Себастьян, неужели ты не устал
вот уже триста лет
извлекать бычьи туши мелодий из высоких органов?

Будь начеку, господь, и очи не смыкай...

Ты намазываешь на хлеб нашим детям
мёд церковный, мёд колокольный . . .
Неужели ты не устал верить, что ангел
вдруг явится со своими ангельскими инструментами
и починит все наши грехи ?

Из-за тебя – вот, наклюкался ключник весны
и ключи потерял.
Ну, не горе: пусть кусты так и стоят нараспашку,
Пусть летят на нас сливовые лепестки.

ВОСКРЕСЕНИЕ КЛОУНА

Мертвец уж на столе и на полу стаканы,
готовы к пляскам, зеркала все в мягких платьях,
и кошка тоже будет в их объятьях,
мертвец уж на столе и на полу стаканы.

Сточились горы. Козы приуныли,
солнце курносо, облака пьяны,
и змеи, словно скифские ножи,
свои хвосты шлифуют о могилы.

Йорик жив, жонглирует, базаря,
высоким черепом смешной паяц в заплатках.
О, оселки тех чувств отдельно взятых,
что нам отцы и деды навязали...

Еще жуем их отруби спросонья,
но вдруг все связи лопаются с треском,
и ясно слышится в моем бляеньи детском
отцовский смех – что карканье воронье

ИНТЕРВЬЮ

У нас на селе хорошо, всё прекрасно
принципы устарели немного,
но медицинский спирт,

Мирча Динеску

процеживаясь сквозь хлебную корочку,
 все омолаживает, и фельдшер рекомендует
 принимать его «внутри».
 У нас церковную паперть передали сельсовету,
 свинья схавала младенца, забытого в корыте
 (все равно оба они были государственные,
 и та и другой)

вообще у нас на селе хорошо
 малыши сидят перед телевизором с кружками:
 а вдруг дадут молоко, по радио
 мы уж давно закончили сбор урожая
 а скоро закончим и в поле
 вообще у нас на селе хорошо, всюду бетон, все прекрасно
 особенно если удастся купить яйцо из Сити,
 а колбасная фабрика не будет с вождельнем
 коситься на лошадей. У нас хорошо,
 пожарные, в общем, поджигают дома,
 все прекрасно, трактор пашет между теми и этими,
 между теми и этими проводит глубокую борозду
 все хорошо, всё прекрасно

ПИЛАТ-ЧЕЛОВЕК

Львы источились, ушли в плаценту песка,
 обезьяны иссякли в тоске обезьяньей...
 Может, они и появятся снова лет так через тысячу,
 как возникают внезапно
 тараканы под столом у пьяницы.
 Ветер будет носить семена апельсинов и фламинго,
 тайфун рассеивать пыльцу жирафов,
 мы будем есть арбузы
 и вместо семечек выплевывать саламандр и белок.
 Природа начнет вспоминать,
 сладкая амнезия её растопится,
 гидростанции будут давать рыбу и траву,
 молния сосать лампу жадно, по-телячьи,

Будь начеку, господь, и очи не смыкай...

Отец попросит прощенья
 У Сына,
 Но боюсь, очень боюсь,
 что Пилат-человек
 снова умоет руки.

КАРМАННАЯ ПЕСНЯ

Смерть была моложе меня, но нашлись добрячки,
 что заигрывали с ней, учили
 расти побыстрее.
 Я знаю, что есть общие истины,
 на которых жиреет человечество,
 я сам видел точильные мастерские,
 в которых оттачивали принципы,
 но ведь если мадам Диор размечтается о мехах и шубах,
 вся тайга неотвратимо наполнится капканами и кровью.

Вы,
 что привыкли искать хрен пустынного
 в супермаркете на углу улицы,
 похоже, что вы несёте апельсины
 к одру мертвеца,
 потому что на этой улице
 Господь возлюбил только до цифры 24,
 где начинаются мусульмане
 и люди неясного происхождения:
 румыны, болгары, албанцы,
 а то и польская кавалерия,
 с саблями **наголо**

перед магазином ALDI

Где тот учитель, что мог бы
 преподать нам звон мелкой монеты,
 чтоб мы зубрили его наизусть,

Мирча Динеску

укрывшись на самое дно карманное
в надежде, что История
никогда не считает мелочи.

К СТЕНКЕ

Будь начеку, Господь, и очи не смыкай,
не то я выпью твой закат и высу в рай,
пьянчуга, чей язык, унижен, на коленках,
зажат средь кирпичей, поставлен к стенке.

Дай этой осени везенья мне шепотку:
избавиться б от карточек на водку,
на мать и на отца, на мыло и на гроб.
Дай и глагол Свой – проспрядать мне чтоб:
Ты есть, он есть, но нет почти меня.

Таган иссякший, пламя без огня,
пузырящийся клей, глаголющий впустую,
тащи Свою громкокипящую кастрюлю,
и пусть Твой суп, небесный и лазурный,
лакают твари бешеные бурно.

КРОТЫ

Вечером пятки стариков
шелестят словно старые газеты.
А что же им делать? – обсуждают шепотом,
сколько тюрем они повидали –
кожаных, резиновых, конопляных...

Потому как не были слепы от рождения –
из-под розовых век наблюдали
инфантильную гору, подгрызаемую
гипотетическими козулями,
духовые оркестры первой довоенной поры,
пожираемые большой суповой ложкой.
В духоте, в темноте
подрыв канал возвращения.

Будь начеку, господь, и очи не смыкай...

Пять слезинок со сточенными ноготками
текут
с роговиц кротовых.

ГОВОРИЮ ВАМ: ПОДЛЕЦ ПЕРЕСТАЕТ БЫТЬ ЧЕСТНЫМ

Подлец перестает быть честным и высовывает
свой зеленый язык из листвы,
этот липкий язык, как церковь, в радаре которой
потерявший управление ангел падает,
сбитый поповским красноречием.

Дельный подлец,
порядочный подлец
говорит комплименты увечному с ногами,
завязанными восьмеркой, как знак бесконечности,
мусолит цветы под дверью вдовы,
вздымает огромное ухо над городом,
отменяет цензуру
и позволяет мертвецам говорить

будущее принадлежит вам, уверяет он,
будущее и журавли в небе,
даже если вам приходится называть «кофеем»
жареные зерна овса
даже если яйцо в витрине выглядит как экзотика
вы имеете право

вы имеете право
право и лево
право-лево право-лево
право
будущее принадлежит увечному
с ногами, завязанными восьмеркой,
как знак бесконечности.

Мирча Динеску

В конце концов, не так уж много вам не хватает
для счастья
как утопленнику глотка воздуха,
как матросу щепотки корабля.

Через семь лет после похорон кости усопшего
промывают вином, но вино укатило немного в Америку
и овца Миорица блеет сегодня в Бейруте
и наш левый носок надет немного Ивану на ногу.

Вы же пляшете сырбу во дворах скотобоен
и не слышите, как я кричу вам,
что подлец перестает быть честным,
что подлец стал парень что надо,
что подлец нынче дельный, порядочный человек

ХУДОЖНИК, ЗАБЫТЫЙ ВО ДВОРЕ ПОД ДОЖДЕМ

Существует, несомненно, грамматика стены
с дверью, расположенной посередине предложения,
в которую входит многострадальный автор
сообщить вам, что революция исчерпала крупные темы
и что ему ничего не остается, как рассказывать
о достославных приключениях хлебной корочки,
что спускается по пищеводу
как героиня античной трагедии
затравленная ядовитыми желудочными соками,
или о грусти каравая, забытого во дворе под дождем,
о том, как он набухает, растет и взрывается.

Тссс!
Попрошу тишины!
За кулисами
Критик
взвешивает
на весах ювелира

Будь начеку, господь, и очи не смыкай...

сопли
с носового платка Дездемоны.

ДИТЯ СТЕНЫ

Не думай, Боже, что тот миг настанет,
когда моя душа, погрязшая во зле,
процеженная сквозь кусочек хлеба
святым из липован, сказав «прости» земле,
перед Тобой очищенной предстанет.
Мы – просто параллельные слезинки,
что встретятся у Вечности на рынке,
когда я стану пахотной землей.
Но до тех пор Ты мне кредит открой,
от податей избавь меня совсем,
от страха быть живым, от цифры семь,
дозволь мне быть на сапоге Твоем грязинкой,
ведь – пал я низко иль взлетаю высоко –
но всякий раз, Тебя вблизи почуя,
я трусь о стену, и она дает мне молоко

БАЛЛАДА НЕУДАВШЕГОСЯ САМОУБИЙЦЫ

В 47-м голод, заботы,
я чуть было не родился,
но мама, усмехнувшись, родила моего брата, слепого.

Я чуть было не наелся ягод шелковицы,
но подул ветер, и ягоды осыпались во двор соседа

Война была холоднее пива.

Я чуть было не въехал в девушку,
но в неё въехал другой,
с правом преимущественного проезда.

Представившись один на конкурс, я вышел вторым

Мирча Динеску

А бросившись в Сену,
с некоторым смущением вспомнил,
что умею плавать.

ХОЗЯИН

В пятницу, что на святой неделе,
сурепа желтухой заболели,
под столом свернулся пес-бродяга,
из невесты заточилась влага.

Не кричите, это не к добру.
Кто-то ходит – иль не ходит – по двору.
Прячьтесь по канавам поскорее,
а не то поймает и обреет.

Это сам Вел. Гад, хозяин бывший,
нас продавший, обыгравший и купивший,
он притих, следит исподтишка,
как бы снова обыграть нас в дурака.

БУДЕТ ДЕНЬ...

Будет день – и наше великое сострадание
переместится от периферии к центру,
туда, где ангел, вынесенный на носилках
из реанимационной,
вынужден исполнять свой долг на ступенях храма.

На вас лежит моральная обязанность
игнорировать своего ближнего,
а не то вам устроят Боснию и Герцеговину под одеялом,
а не то вашу зарплату расклюют по частицам
дятлы, лишённые предрассудков,
те, что уже переварили радар из Новосибирска,
а не то вы увидите
серебристые нити с морды бешеной собаки
в венце у невесты,

и кровь очкарика-венгра,
чемпиона мира по самоубийству,
смываемую горячей струёй с морды Ориент-экспресса
за паровозным депо.

Лучше припомните, что где-то в Америке
у вас есть кривоногая тётка
и вы, стало быть, свойственник
Триумфальной Арки,
лучше засвидетельствуйте-ка тот факт, что у негра,
когда он утирает рот,
на салфетке остаются следы сажи,

но прошу вас,
умоляю,
ради Господа Бога,
не рожайте больше детей с помощью медикаментов
не рожайте больше детей с помощью медикаментов
умоляю,
не рожайте больше детей, а не то
будет день – и наше великое сострадание
переместится от периферии к центру.

КОТ МЕТАФИЗИЧЕСКИЙ

«Кота хватайте!» – регент восклицает,
того, что наш Парламент возмущает,
котяру ошалевшего с Балкан –
кота подпольного, аполитичного,
без справок и без паспорта столичного,
унылого, метафизического,
уже с рожденья не коммунистического

который генами скорее тяготел
к семье дельцов и всё ж не преуспел,
которому ни в жисть не довелось
раздеть рыбешку, заграбастать кость,

купить журнал французский, наобум,
или хоть кильку в магазине ГУМ.

Откуда он свалился, черт возьми?
Из мелкобуржуазной, что ль, среды?
Из Неандерталя? Неореализма?
И откуда у него такая харизма?

Хватайте же, бейте его по кумполу флагом,
не бойтесь, не станут старейшины Ареопага
его защищать изнутри своих сырных дыр.

А котяра и в ус не дует: он мир
измеряет зрачком, приносит сглаз,
как ряса попова,
мурлычет, стерва, когда представители масс
трудятся в поте лица. Беспечность котова
вот-вот наводнит все вещи и сглазит мифы.
Так перекуйте же на мечи станки свои и орала,
о вы, фракийцы в спецовках, и вы, достойные скифы!

ПРИСКОРБНЫЙ ВИРАЖ САМОУБИЙЦЫ

Ты позабыл, о Боже, в человеке
позвякиванье своих серебряных инструментов,
как тот рассеянный хирург, что зашил
в теле пациента скальпель и ножницы.
Иначе откуда взяться этому отчаянью без адреса,
иронии этих заемных слез?
Эпилептик, под электрическим разрядом ангела,
забеременел,
но кто будет ему повитухой и кто извлечет
мечты из его виска?

Самоубийца, охваченный грустью, бросается
вниз с колокольни Нотр-Дам
и, падая, убивает ребенка.

Будь начеку, господь, и очи не смыкай...

Кто осудил его статью в полете детоубийцей?
Недаром бродяги пишут на стенах:
«место биться головой об стенку»,
тем самым давая нам еще один шанс – проверить,
принадлежит ли нам смерть по праву,
является ли смерть нашим собственным личным делом

ОБЫСК

Они обстоятельно разобрали паркет,
отвинтили кишки у ламп,
обшарили шифоньер,
порассуждали над холодильником,
повыпустили пух из подушек,
порасстреляли стены,
но не заметили сибирской обезьянки,
весело прыгающей с полушария на полушарие
моего тропического мозга

ИСЧЕЗНОВЕНИЕ ГОРЫ

*Наши крестьяне привыкли
пить апельсиновый ликер с калийной фабрики*

И в самом деле. Когда бродяга-ветер
стрижет овец, и сам чабан карпатский
лишается, после кислотного дождя, своей красоты и гордости
- усов
и что-то вроде стаи апельсиновой плывет неспешно от села
к селу

то, по ночам, у сторожа любого
вам без труда удастся сторговать
бидон-другой метилового спирта.

Но за Дунаем, в Варне,
болгары смотрят с ужасом на наши
румынские осадки, из которых

Мирча Динеску

могильщики все чаще извлекают
 значительную прибыль,
 и с доктором здороваются нынче
 гораздо церемонней, чем вчера.

Бывало, раньше только слух о гуннах,
 тех, что, не ведая ни радостей картошки,
 ни вкуса сытной мамалыги,
 довольствовались тем, чтоб просто жарить
 на углях раскаленных малышню,
 один лишь слух о гуннах заставлял
 их собирать пожитки в короба,
 заталкивать в суму перекидную
 младенцев пухлых и бесценный лук
 и отправляться в путь, чтоб поменять
 грязь ила златоносного
 на известь
 построек горных.

А нынче, вот, им облака меняют
 всю жизнь (индустрия и химия румын),
 толкают на миграцию с горы,
 немного иллюзорной и немного
 источенной и стёртой, той горы,
 которая лишь только в старых песнях
 еще хранит высокие вершины.

КОШКА И СМЕРТЬ

Одной только кошке дано знать, о чём мурлычет камин,
 она выходит во двор и рассказывает об этом
 дребезжащей водосточной трубе,
 потом расшифровывает иероглифы мышонка,
 протяжно зевает,
 проглатывая дом, колокольню, квартал,
 открывает глаза и изобретает
 всё это снова.

Будь начеку, господь, и очи не смыкай...

И только священник задерживается взглядом
 в её желтых зрачках: проверяет,
 не запер ли он, по ошибке, в церкви
 одну из своих прихожанок.

ГИПОТЕТИЧЕСКОЕ КОЧЕВЬЕ

Отправьте меня поскорее, будьте великодушны,
 в дом престарелых ослов, что на юге Англии,
 там дают подслащенную кашу и там, несомненно,
 я смогу влачить свой бумажный скелет
 и свой хрупкий костяк
 по пахоте, не опасаясь цензуры.
 А когда престарелые миллионеры
 начнут почесывать меня за ухом да потчевать
 супом или их детки в фольге
 станут мусолить мне десна
 раскрашенными леденцами,
 не беспокойтесь – я не скажу ни слова,
 буду молчать, как я молчу и дома.

НУ ЖЕ, ПЛЯШИТЕ

Я совсем не готов
 к этому миру.
 сладкая лихорадка,
 святой отказ
 ангела с вырванным ухом, без глаз.

Крик чужой женщины – страх
 перед сыном её нерождённым, дебильным,
 и никто не вмешается –
 даже сам господин Пилат,
 директор фабрики мыльной.

Петух наакался бензину и вспыхнул,
 маги побросали ослов, промотали последний дар,

Мирча Динеску

плохи делишки твои, бедолага,
 продавай поскорее арфу –
 единственный свой товар!

Есть множество видов святых
 мужского и женского рода,
 только не напоминайте
 мне о Святейшем Нахальстве
 – совершенно новой породе.

Там, где цел бастион атеиста,
 рядом с фабрикой католической,
 что за мясо обвислое, квёлое,
 что за невеста алкоголичка!

Ну же, пляшите! – ведь это
 против паники средство отличное.
 Что за баба-мотор,
 что за женщина механическая!

ПИСЬМО ВАЦЛАВУ ГАВЕЛУ, ВЫБРОШЕННОЕ В МУСОРНУЮ КОРЗИНУ

Гавел, будь добр, уйди в монастырь.
 Не могу я привыкнуть к мысли,
 что орел
 поступил на службу в Отдел коммунальных услуг.
 Революции сожрали своих детей,
 диссиденты ходят в безработных,
 инакомыслящие выстроились в очередь
 к китовому брюху Мак Дональда,
 только ты сшил себе, из бархата истории,
 несколько шикарных костюмов,
 за что я тебе завидую.
 Я завидую тебе, потому что в Праге
 марихуана дешевле хлеба,
 и на мостах подростки

наслаждаются краком с почтовых марок.
 Завидую, что через каждые два дня на третий
 тебя посвящают в доктора
honoris causa;
 мама тоже мечтала, что я стану доктором
 филологии и вылечу ее от легких
 – не удалось.

Завидую, что ты получил назад все свои магазины;
 в свое время и Эзра Паунд мечтал о табачной лавчонке
 – не вышло.

Когда анафора заплесневает, ее надо зарыть поглубже,
 чтоб не откопали крысы и псы,
 хотя, при нынешней инфляции на ангелов,
 кому помешает
 какая-то там лишняя крыса с крыльшками
 или летающий пес?

Но у нас происходит другое, почище,
 и это меня беспокоит.

Машины по-прежнему в пять раз тяжелее, чем следует,
 и едва поднимают сами себя.

Коровыдохнут с голоду
 в трехстах шагах от вокзала,
 где зерно, забытое на запасных путях,
 дразнит прохожих сквозь крыши вагонов
 зелёными языками.

Новое общество тоже в одышке,
 гнёт спину под игом бессмертных чиновников.

Сторожа по-прежнему платят негусто,
 и они все так же крадут **до упаду**.
 У бедняка, везучего, как известно,
 по-прежнему кусок хлеба падает непременно в говно,
 член встает в церкви во время службы,
 а в ночь свадьбы на крыше
 суетятся пожарники.

Что тут можно понять, когда коммунисты

спрятались в церкви
и в порыве
буржуазного филантропизма
готовы нанять меня, чтоб я описал им
как можно художественнее
теории и законы Капитала?
Что тут можно понять, когда варвары
не могут добраться до врат Рима,
так как их останавливают на чешской границе?
Что тут понимать? Что ангел стал прозрачнее Маркса?
Странно ли, что мне хочется крикнуть,
как тому сумасшедшему в Лувре:
«Дайте мне нож, и я вырежу себе на сочельник
кусочек поджаристой шкурки
из Брейгеля Старшего, из Веласкеса или Гойи»,

дайте мне в руки страну, и скоро будете пить
полицейский чай,
предсказанный Мандельштамом...

*О лицемерный читатель, ближний мой, брат мой,
только не скисай,
не скисай,
не скисай,
не скисай и будь осторожен, когда переходишь улицу,
чтоб тебя не сбила Скорая помощь.*

ПРИГЛАШЕНИЕ СЕВЕРНЫМ ДЕРЕВЬЯМ

Год червя на дворе, бродяги-живописцы,
деревья с горя даже красок не берут,
в вокзальных сквериках, листву в карманах стиснув,
какого поезда они под богом ждут?

Или надеются, что спустится с небес
весёлый ангел, плот из них сварганить?

Будь начеку, господь, и очи не смыкай...

На что похож он будет, на орган ли
или на самый ординарный шкаф?

Я пригласил бы их сегодня в первый класс.
Золой припудрены, корней скрывая стон,
пусть отхлебнут чайку, отведают пирожных
и, может, в их ветвях засветится лимон.

ВОЗВРАЩЕНИЕ ВАРВАРОВ

Под вечер,
когда варвары возвращаются с Запада верхом на концептах
– настоящие эмиссары колбасных концернов –
не спрашивай их о конях,
а залей пламя водой,
набери в рот обугленных головёшек,
набей память золой
да поезжай на трамвае в Гималаи,
культивируй обвалы
или смени пол, имя, а то и породу,
замешайся между гусями,
говори га-га и иди ты,
а то воспользуйся случаем, притворись эскимосом
и, когда зелёный нерв в ледниках Антарктиды
начнёт медленно распускаться,
сделай предложение полненькой сладострастной моржихе,
слизывай мёд с пальцев федерального администратора
или просто стой тихо и слушай,
как мазутный рёв локомотива рождает
в чистом поле, без повитухи,
рой маленьких светлых созданий.

КОФЕ, СВАРЕННОЕ В ЗОЛЕ ИМПЕРИИ

На периферии истории, где молодое вино,
бабки, битки
да часы безъязыкие,

Мирча Динеску

там сам царь,
старикашка отживший, давно
донор не крови, а лимфы.

Ведь святы там только свинья да свинарник
да футбол августейший, Его Величество...

Свобода там – чушь, просто выдумка вздорная,
людей чтоб запутать, вконец измочалить.

Страна, пропахшая лавкой прогорклой,
шуткой-насмешкой вкрутую приправлена,
тюрьма, не пригодная лишь для печали.
– Сторгуемся, стерва? – Спрашиваешь!

Славно!

Входи в лабиринт с духовым оркестром
и выйдешь с консервами из минотавра.

Не знаешь разве, что врёт каждый миф?

Какая там Спарта? Афины? Коринф?

Давай, поспешай, облапошат отменно!

Пусть море подскочит?

Пусть!

Только б не цены.

В долг соль

и фураж.

А где же империя?

Видать, сам Нечистый с чёртовой перечницей
кишку перегрызли,

от сиськи отняли

и – выплеснули с водой из лохани.

А варвары уж по рукам да за чарку.

Взгляни, не испёкся случайно картофель?

В золе пошуруй, погляди, горяча ли,

джезик поставь

да выпьем кофе.

Перевод Елены Логиновской²

Профира Садовяну ПОКИНУТАЯ ПЛАНЕТА

От переводчика. *Когда, четверть века тому назад, я задумала перевести несколько рассказов из сборника Профиры Садовяну «Покинутаая планета», помимо портрета отца Профиры, великого писателя Михаила Садовяну, с таким мастерством увековеченного на страницах этой книги, меня привлекла тонко – и точно – воспроизведенная в ней атмосфера. Атмосфера интеллигентной семьи, какой она была всегда и всюду – даже в «коммунистической» (как здесь говорят) России – в уцелевших старых домах, которые хранили и передавали из поколения в поколение дух традиции и культуры, но и в тех новых, в которых этот дух поселился, невзирая ни на какие преграды. Ведь недаром сказано, что «дух веет, где хочет».*

Когда сегодня перечитываешь книгу, эта атмосфера впечатляет еще больше. Потому что сегодня она говорит о традиции, вновь подвергаемой угрозе – не только физической, но и новой идеологической: угрозе «культуры китча» или, точнее, субкультуры, что наступает на души и умы, уродуя и калеча их, как это уже случалось столько раз в истории – и как было еще недавно, при «советской» власти.

Ценность книг Профиры Садовяну, таким образом, не угасает, а растет – для всех, кто понимает значение традиции для формирования человека, кто хочет прорваться, сквозь угар «новых» веяний и претензий, к корням истинной культуры.

Светлой памяти Профиры Садовяну – чуткого, тонкого художника, носителя подлинного европеизма румынской цивилизации XX века, ушедшей от нас 10 октября 2003 года, посвящает свои переводы

автор

КАНИКУЛЫ НА ОСТРОВЕ



Посещение школы всегда было для меня мукой. Не то чтобы я не любила учиться, но пятичасовое заключение в застоявшемся воздухе класса, надышанном пятьюдесятью ученицами, неподвижное сидение на твердой парте и напряженное

ожидание: «Ой, сейчас вызовут!» – даже если в тот день я и знала урок на зубок – обессиливали меня совершенно.

– Ты опять как выжатый лимон! – причитала бабушка каждый раз, когда я возвращалась домой в полдень.

Так что не приходится удивляться, что в один прекрасный день у меня возникло предложение:

– Знаешь, папа, я хочу заключить с тобой договор: когда я больна, я буду ходить в школу. Зато могу оставаться дома каждый раз, когда мне этого захочется.

– Да, еще бы! – ответил мне отец. – Ведь так ты будешь отсутствовать все время: и когда тебе не захочется в школу, и когда заболеешь.

И правда, отсутствовала я много. Я даже подсчитала свои пропуски, и оказалось, что из трех дней я сидела дома два.

– О, Садовяну! Какое счастье, что я тебя вижу, хоть спросить могу! – говорила, слегка насмешливо, то одна, то другая учительница.

– Эх, если бы мы столько пропускали, нас бы сразу на второй год оставили! – возмущались некоторые соученицы.

В самом деле, из-за множества пропусков – правда, почти всегда мотивированных – я уже давно должна была вылететь из школы. Но я была хорошей ученицей, одной из первых в классе, да правда было и то, на что намекали мои злобные подружки: имя, которое я носила, оберегало меня от катастрофы.

Теперь, зная все условия задачи, вы можете легко представить себе, с какой радостью встречала я зимние сугробы, которые запирали меня – Робинзона в юбке – на затерянном белом острове Копоу. И поскольку никакие угрызения совести не нарушали для меня радости свободы, я со страстью погружалась в чтение – а в печах гудел огонь, ледяное молчание рисовало на окнах цветы, кидало через забор щепотки белых конфетти и, пробираясь в щель под дверь прямо к моей постели, заглядывало в книгу, пытаюсь понять, что в ней такого интересного и почему я не иду играть в снежки с его милостью.

– Что читаешь, Профирица? – спрашивал меня по утрам отец, подходя к термометру, висевшему на нашем окне.

– «Налог и имущество».

– В который же раз ты это читаешь?

– В третий.

Отец уходил. Но через некоторое время я снова слышала его тяжелые шаги, под которыми скрипел и постанывал дубовый паркет.

– Все читаешь?

Отвечать не было смысла, и я лишь вся сжималась под его взглядом, немо прося прощения. Однако это не мешало мне снова хвататься за книгу: *всею одну главу!* потом: *еще только одну!* – а в это время целые легионы секунд, минут и часов пролетали мимо так же стремительно, как и строчки, махая своими мягкими лапками все торопливее, все беспорядочнее.

– Смотри, если не встанешь через пять минут, получишь у меня!

– Ага! – злорадно хмыкала Лия, которая терпеть не могла беспорядка.

Отец уходил в третий раз. Я порывисто одевалась, торопливо заправляла постель и хваталась за книгу, чтобы *только кончить главу*. Я усаживалась – ушки на макушке – на краешке дивана. Теперь, кто бы ни пришел, можно сунуть книгу под подушку и, как ни в чем не бывало, вскочить на ноги.

В конце концов, думалось мне, разве отец мне не друг?! Разве мы не беседуем с ним вдвоем о литературе? Не мне ли он рассказал, как «проглатывал» в моем возрасте Тургенева, Мопассана, Флобера, Додэ, Дюма? Не мне ли признался, что не мог читать Бальзака, пока ему не исполнилось тридцать лет? А вот Екатерина Былу, которая должна была стать потом моей матерью, прочитала Бальзака, когда ей было всего шестнадцать. Помнится, когда я вопрошала:

– Кто самый великий писатель – Бальзак, Флобер или Мопассан? – отец отвечал:

– Толстой!

И потом, смеясь над моими протестами, – я не слишком ценила тогда *Войну и мир* или *Анну Каренину*, считая их лишенными стиля и несколько устаревшими – пояснял:

– Все они великие. Не можешь же ты дать одному первую премию, а другому третью или вторую! Каждый велик по-своему.

– А в румынской литературе?

– Ион Некулче, Крянга, Эминеску...

– А Александри? – спрашивала я, не скрывая своей слабости к *Кирице*, *Двум живым мертвецам*, *Камню в доме*, *Сынзьяне* и *Пепеле* или к *Фармазону из Хырлэу*.

– Александри несколько легковесен, – отвечал отец. – Ты не находишь?

– Нахожу... но он такой восхитительный! – горячо отвечала я. – А что ты думаешь о Караджале? Не правда, он совершенный художник?

– Правда, правда, – отвечал отец. – Но среди его персонажей нет ни одного приличного человека. Разве только жупын Думитраке. Да и тот рогоносец!

Так что, видите сами, отец делился со мной всем, что он думал о книгах и авторах. Так как же мне было не считать его своим лучшим другом? А лучшему другу как не сказать:

– Оставь ты меня в покое, дай мне читать, сколько душе угодно! Хоть все время, хоть день и ночь напролет, пока не пройдет метель и не растают сугробы...

Потому что и книги были для меня в те годы чем-то вроде сугробов. Я кидалась в их пушистые объятия, как пьяница, ищущий приюта, чтобы заснуть и забыться. И так, постепенно, сладкая лень все плотнее окутывала меня, заливала своими волнами... И я погружалась в сон, как в рай, в котором нерушимый покой охватывал меня со всех сторон – и из объятий этого покоя мне мечталось не выходить никогда, никогда ...

ОБЛОМОВЫ С БАШНИ КОПОУ



В те дни, когда гонимые ветром воды брали наш остров в плен, и башня-парус стонала и причитала, поскрипывая всеми своими многострадальными суставами, наш дом, как большой корабль, превращался в надежное

убежище, в теплое гнездо, укрывшись в котором, мы блаженствовали, слегка раскачиваясь – или это только казалось? – вместе с туго натянутыми гардинами высоких окон.

Зеленоватая волна внезапно, в героическом и отчаянном порыве, вздымала нас ввысь и тут же проваливалась в бездну, как фантастическая люлька, подталкиваемая обезумевшим великаном с огромными невидимыми руками. Качка не прекращалась ни на минуту, и сквозь поток мутных вод рыбы-листья, рыбы-фрукты и рыбы-цветы, подхваченные потоком, погружались глубоко на дно и, обезумевшие, отчаявшиеся, бились и металась там, не в силах зацепиться за что-либо в этом море осатаневших вспененных волн. Как в раковине, в ушах раздавался непрерывный шум, постепенно разрастаясь в грохот грома. Из своего убежища – корабля с надутыми ветром парусами – мы с наслаждением вслушивались в гул и ропот зеленого океана, отделявшего нас от мира и людей.

Устроившись в мягком гнезде постели или примостившись где-нибудь в уголке кресла, я листала последний номер журнала «Вьяца романьяскэ» – проглатывала сначала новое стихотворение Аргези или Минулеску, Филиппиде или Демостене Ботеза, а потом набрасывалась на продолжение «Обломова» или на «Леон Драй» в переводе А. Фрунзе.

– Что это вы там затеяли? – спросил однажды отец, обходя, в разгар снежной бури, дом, чтобы проверить: все ли в порядке на корабле, которым он управляет.

Мы молчали, затаившись над своими записями, и прятались в киле корабля в надежде, что нас не разоблачат.

– А, понимаю! – с хитровой благожелательной усмешкой произносил капитан. – Это заговор!

Как всегда, отец был прав. Мы задумали нечто секретное. Но разве от отца что-нибудь скроешь?

– И как же будет называться ваш журнал?

– «Полевые цветы».

– А кто редактор?

– Я, Мити и Лилика.

- Художник?
- Мити.
- Внешние сотрудники?
- Флорика Сава и Валерика.
- И сколько же будет экземпляров?
- Один!

Единственный экземпляр «Полевых цветов» циркулировал по всем комнатам нашего дома и распространялся в домах наших друзей – проза и стихи, памфлеты и советы, почта редакции... Помнится, Валерика выступила в нем со стихотворением «*Мираж*», в котором шла речь о миссионере, погибающем в пустыне, Флорика Сава – с «Распятым Христом», я с новеллой о странной, фантастической свадебной ночи на окраине Бухареста, Мити с прекрасно иллюстрированными поговорками и с таинственно-грустной пастелью, изображавшей пасущихся на холме коней, а Дидика со стихотворением «*Зима*» – я и сейчас помню его конец, который наш друг госп. 'Топырчану находил «весьма удачным»:

*Лишь медведь в свою берлогу
Листья собирает,
Да к зиме суровой, долгой,
Сон приготавливает...*

Но... по примеру всем хорошо известного, а нам так прямо родного господина Обломова наш порыв угас в самом зародыше. Второй номер садовяновского журнала не был выброшен на рынок никогда.

Напрасно бились ветры-волны о нос и киль корабля Копу, тщетно стонал и плакал парус Старинной башни, вотще поглядывал капитан, не готовится ли новый заговор.

Из огромной, укромной колыбели посреди нескончаемых бурь, пронесившихся над Копу, ленивец Обломов, как видно, вывалился в зеленые волны и, не умея плавать,... утонул.

Перевод Елены Кузнецовой

Рецензии



Марианна Фаликова
ПОРТРЕТ ЭПОХИ



Разглядываю на обороте новой книги стихов Евгении Кордзахия «Возвращение» её лицо – буйные волосы, по южному трепетные ноздри тонкого носа, много чего повидавшие удлинённые глаза – тоже очень южные.

Ассоциация – с кипарисом, пересаженным в сибирскую тайгу, где чудом прижился. И, утопая в снегах, сохранил свою стать, свой «солнечный нрав», свою южную душу.

Родина – грузинский город Потчи. Где Кордзахия была счастлива:

*Черепичные кровли и храмы –
атрибуты седой старины,
архалуки, чалмы и панамы,
чад жаровен и грохот волны.*

*В этом городе ночи с туманом,
пирс в накрапах дождинок и рос,
каждый дворик окутан дурманом
абрикосов, магнолий и роз.*

*Тесноват для литья и бетона,
но зато в нём до нынешних дней
дребезжат по камням фэтоны,
горяча тонконогих коней.*

...И ты ощущаешь этот приморский городок – где колдует аромат акаций.

И не станет поэтессе домом девятиэтажка, что у самой дороги, где привычно зачирикает лифт, громко хлопнет дверь, всё знакомо, всё – своё,

*...и ничего,
что назвать тебя домом,
я никогда не смогу, хоть убей.*

Написание рецензии занимает так много времени, что некогда прочесть саму книгу.

Граучо Маркс

Верю поэту, я точно знаю, что бывают дома, к которым нельзя привыкнуть:

Год живу в этом доме, второй...

*.....
Третий год в этом доме живу,
а на «вы» как с чужим человеком!*

Да и как ей привыкнуть к чужому дому, когда там, в Грузии, в детстве, остался тот, родной, – где «смотрит море в каждое окно» и где «вдали родник журчит так звонко».

Как привыкнуть к дому, где терзая жильцов, в ночи навязчиво и бездарно кто-то дубасит по роялю, где в людях давно иссякло уважение к чужой тишине, скорби, радости, когда, стоит только закрыть глаза:

*и увижу я дом на сваях
и обрыв над быстрой рекой.*

И – главное:

*Как свирель в предрассветной сини
запоют ступени крыльца,
в кареглазом, смуглом грузине
я тотчас узнаю отца.*

...Отец. Особая, горькая тема. Так и называются эти стихи – «Тема». Думаю, редко в нашей стране кто не поймёт ужас строк «Оправдан посмертно», как будто ими можно перечеркнуть годы, когда «тема была в нашем доме запретна» и маленькая девочка, а потом уже взрослая женщина «её, как огня, опасалась, / то смущала молва, то страшили наветы...».

Что толку, что сегодня «Москва отменила запреты», коли с пожелтевшего снимка, как укор, смотрит «тема отца» и человек, ощущающий тесную связь с истоками, чувствует себя в долгу, и сам себе говорит: «грех на сердце имею».

Две могилы – две боли. Одна об отце – в Риони, другая – о матери, уже на Иртыше, куда занесла судьба.

*Не расстаться теперь со мною,
ни Риони, ни Иртышу:
Здесь – родное и там – родное
удержу, покуда дышу.*

Потому что почти ни для кого не прошли бесследно ни война, ни грозный тридцать седьмой...

Далеко от Родины, в течение многих лет, автор, похоже, ни на миг не разрывает связи со своими истоками, со своими родными и пращурами – «сойдутся в мою их души / и станет одна душа».

Евгения Кордзахия постоянно чувствует себя звеном в непрерывной цепи поколений; пройдут десятилетия, а всё равно «Единственная на свете / для них справедливей всех – / я стану одна в ответе / за каждый их прошлый грех».

Но жизнь – есть жизнь, она состоит из очарований, счастливой и несчастной любви, из дружбы и ненависти, но автор отдаёт себе отчёт, что, как бы ни поступила, – кажется, по собственной воле и собственному решению, – «Но пращуры, не знавшие письма, / безвестные – стоят у каждой строчки».

Очень понимаю автора. Прожив полжизни на Востоке, твёрдо усвоила: в трудную минуту – вспомни предков. И они тотчас – семь поколений – встанут по правую и левую руку, и направят, и поддержат, или отвратят, от дурного шага.

Может быть, поэтому, Е. Кордзахия – человек внутренне свободный, очень «сам по себе». Даже в любви. Она о том и пишет.

Своенравна, нерасчётлива, жестока и великодушна её любовь. И отсюда – «Игра в любовь – весёлая игра!». Главное – усвоить правила этой игры: ни дать, ни ожидать, больше, чем положено; «ни одного любовного письма, / ни одного любовного свиданья». Зато сколько прелести в азарте такой любви, когда «внезапно объявившись в вашем доме, / я вашу руку на глазах у всех / надолго задержу в своей ладони». Никаких объяснений, никаких «люблю», потому что, кто знает: «что мне нужней: иль ваших пальцев дрожь, / иль ропот ваших домочадцев».

Тема любви у Е. Кордзахия удивительно тонко и акварельно разработана: отражены малейшие колебания настроения и столь многообразные оттенки отношений между любящими и разлюбившими.

Запретов – нет. Любовь свободна, её связывает лишь отпущенная ей мимолетность. Да, можно принять влюблённость несвободного человека, и даже ей поверить. Но – ... «явится к нему жена законная – / за прошлое прощения просить. // Расплачется, разуется, разденется, / притихнет: виноватая навек. / И он простит. Он никуда не денется. / Он, в общем-то, хороший человек...».

А что ж она, оставленная? А ничего. Ведь она – сама по себе: «А я пойду, куда мне взбредится, / да мало ли дорог, в конце концов!». Притом, что: «Я умерла. / Меня на свете нет... / <...> / Мир праху моему, дружок... И вот / с тех пор, приноровясь к житейской хляби, / с тобой другая женщина живёт – / износа нет ужасной этой бабе».

Она, оставленная, хорошо знает: та, другая – не из его ребра:

*Вздохнёт и станет мыть, стирать, варить,
что потрудней – привычно брать на плечи.
С ней обо всём наскучит говорить,
лишь о любви не заводи с ней речи.
Не трать впустую добрые слова,
у ней на них отменная закалка.
Она одним, быть может, и жива –
что ей тебя ни капельки ни жалко!...*

А какой видится, какой, возможно, познала любовь сама поэтесса? Любовь со всеми её взлётами и спадами, объяснениями, размолвками, ревностью, и самым страшным – одиночеством вдвоём?

*И пусть похоже это на нелепость,
но я тебя ревную к тишине,
она – твоя единственная крепость,
в которую нельзя проникнуть мне.*

Ибо «счастливая соперница» укромно бытует в этом тяжком молчании двоих, ещё связанных, но уже не единых, сосуществующих в зловещей тишине.

И как бесполезны, и тягостны объяснения, где объяснить ничего нельзя: «Мы столько лет с тобой прожили / вдвоём – и что же? / Смотри, какие мы чужие – мороз по коже!».

Потому что у каждого – свои идеалы, своя шкала ценностей: «Когда твой бог развеселится, мой бог заплачет».

Но зато какая щедрая в любви душа у женщины, которая заверяет возлюбленного: пусть грешит, пока грешится, ибо «твои грехи – моя забота».

Но эти стихи надо читать полностью:

*Тоскуй, покуда я с тобою,
твоя тоска – моя страда,
пускай тебя забудет Бог,
пускай тебя разлюбит кто-то,
а я тебя не разлюблю
и не забуду никогда!
И если вдруг случится так,
что оскудеет мир слезами
и очерствеет добрый друг,
и озверееет добрый пёс, –
ты и тогда найди меня,
мы обменяемся сердцами,
и ты возьмёшь моё – в слезах
и я возьму твоё – без слёз.*

Она знает цену времени и знает, что – всему своё время.

А потому «Ничто не обрывается само, / ничто не обрывается навечно».

Главное, – не опоздать в осознании быстротечности жизни, ибо «Когда-нибудь не будет “никогда” / и “поздно”. И не спорь, я лучше знаю...».

Этот сборник стихов кажется очень исповедальным. Впечатление, будто читаешь дневник хорошо знакомого и очень дорогого тебе человека – женщины, которой ничего земное не чуждо.

Вот, например, – бывшая подруга, в некий вьюжный вечер, «в силу странных обстоятельств / отвлеклась от злопахательств // и в клубке былых предательств / отыскала адрес мой!». И какую же отповедь получает!

*Слушай, девочка седая,
греховодница святая,
со своей любовью вкупе,
на словах – родней родни,
пожелавшая меж делом
над моим кружить пределом,
не раскачивайся в ступе,
помело не урони.*

Идут годы со всеми приметам, что нам так знакомы. И эта маленькая строптивая женщина – такая «сама по себе!» – запечатлевает в стихах-исповедях, зло и метко, всё то, что возмущало и будоражило каждого её «соколлегу» по поколению. Чего стоили только пожизненные «расписки» на все блага мира, выданные вождям и их верной идеологической и любой другой обслуге!

*Правитель с густыми бровями, алло,
отсыпь с пиджака орденов полкило
творцу эпохального стиля –
и нежно любимый вождями стилист
твой пламенный образ исполнит на «бис»,
умножив завалы утиля!
А, впрочем, я зла на него не держу, –*

заверяет поэт, –

*я просто в альбом с любопытством гляжу
и вижу: он жил не без риска,
он даже рискнул обогнать свой провал,
и всё рисковал, рисковал, рисковал...
пока позволяла расписка.*

Помнит, помнит она и «холодную эпоху», когда «Рот на замок – от выдоха до вздоха, / и далее... До самого конца». Как тяжело, наверное, гнетут поэта «Чугунной прозы центнеры и тонны, / поэзии слащавая хандра...».

И, может, поэт прав, и, на самом деле, «Мы умерли давно, и наши стоны / погребены под криками “ура”...».

Меняются времена? И что? Прав был Царь Соломон, когда на кольце написал: «И это пройдёт»? Ничего подобного:

*Перемелется – не переменится,
не окажется правдой враньё,
так уж, видно, устроена мельница,
мелет то, что ссыпает в неё.*

*Перемелем враньё своё чёрное,
ужаснёмся, и вновь его – в ком.
Потому что враньё измельчённое
Пострашнее вранья целиком...*

И сколько бы сейчас, опустив очи долу, ни стояли во храмах со свечкой в руке былые и нынешние вершители судеб, Евгения Кордзахия их уже заклемила: «Не избудут судьбы / ни кресты на погосте, / ни святейших гробы, / ни монаршие кости...».

По южному безудержная во гневе, эта женщина, что печётся, чтобы без нужды не растоптать травинку и, из досужей прихоти пресыщенных туристов лишний раз не мучить верблюда, оседлав его перед фотографом, – эта по южному горячая во гневе поэтесса спрашивает лишь одно:

*Пошли, судьба, мне сто кручин,
отправь с сумой к воротам храма,
но упаси меня от хама,
что вполз ужом в высокий чин...*

И призывает судьбу:

*Тень сострадания отринь,
когда над хамом бич засвищет –
пусть он получит то, что ищет!
Аминь!*

Но, видно, к молитве нас, сырых, судьба не очень прислушивается, потому что, – вот «Рождественский репортаж», и мерзость лжи по прежнему пронизывает всю жизнь:

*И оператор, как мудрец в тазу,
всплыв в информационной мелодраме,
снял олигарха со слезой в глазу
и бывшего партбосса в Божьем Храме...
Потом Чечня: протезы для калек,
ОМОН, спецназ, палатки и колядки...
И понял мир, вступивший в новый век, –
со святостью в России всё в порядке!*

А не хотите ли «Обыкновенную историю»? Вот счастливый обладатель всех мыслимых благ,

*Легко входя в доверие к властям,
Священникам, тусовкам и массовкам,*

теперь лежит убитый в своём «Джипе», хотя за всю жизнь «с унынием даже в мыслях не якшался». И с чего бы – уныние, когда «всё схвачено»? И «подельники – крутые пацаны – / работали без права на ошибку...». Но – ничего не помогло. Ни показное благочестие, ни искупительные «денежные жертвы». Лежит – убит.

*А крест на шее весом с килограмм,
такой не носят только из кокетства?
А радующий взор пресветлый храм,
воздвигнутый на собственные средства*

*во имя всепрощающей любви
младенцу, чьё зачатие непорочно?*

*Не зная про столичный – «На Крови» –
что этот залит кровью, – знают точно.*

Однако же, как скоро свергаются кумиры и мгновенно воздвигаются новые, – удивляется поэтесса, взирая на памятник Маяковского: «Я прокалилась в горне Ваших строк, / не претерпясь ни к одному изъяну, / когда вокруг ревели, что Вы Бог, / и гнали прочь не певших Вам осанну. // Теперь вокруг режут, что Вы холуй, / циничный шут, не брезговавший ложью / и ревностно, как некогда хвалу, / сгребают грязь к разбитому подножью».

Ловлю себя на том, что в этом то ли читательском отклике, то ли рецензии, пересказала чуть ли не всю книгу стихов «Возвращение».

Но – не могла иначе.

Ибо эта книга – портрет эпохи. Нашей с вами эпохи потрясенной, переселенной, «обескорневания», утопических мечтаний, немелких ошибок, – а отсюда и разочарований, – равно «перелицовки» старых понятий в новые, но так легко читаемые формы...

Однако же, – заверяет Е. Кордзахия, – «никто не забыт и ничто не забыто».

И потому, – рискуя утомить читателя (хотя можно ли утомить прекрасными стихами?), приведу на эту тему весьма животрепещущие строки:

*Не веровал, однако был крещён,
спешил не в храм, но оказался рядом –
печальный промах будет возмещён
церковным незатейливым обрядом.*

.....
*Но вечен ли покой в земле сырой,
сколь ни крепко у домовины днище?
И сам ушедший видел, как Госстрой
Громил Казачье старое кладбище.*

.....
*Когда добро обвенчано со злом,
вандал – прямой потомок этой пары.
Идём по черепам... Кого винить?*

*Пора усвоить (что уж тут смущаться!):
ушедшим – ничего не изменить,
оставшимся – ничем не обольщаться.*

Ибо что же ещё нам поделать? Если, всё изведав и всё поняв, жизнь идёт своим чередом, нашим нехитрым тщанием? «Над нами – Бог, но от обилья месс / он простудил свои босые ноги / и никогда не спустится с небес, / а нам – не вознестись в его чертоги...».

Куда как легче писать о так называемых «ультрасовременных» стихах без рифмы и ритма, служащих прежде всего средством для самовыражения поэта (не говорю о тех, что звучат, как притчи и близятся к поэзии Святого Писания).

О стихах Евгении Кордзахия писать трудно. Их невозможно и не нужно хвалить. Они – «втягивают» в себя читателя с первых строк, потому что в них выражена «истина истин» в такой филигранной форме, что они, эти стихи, как редкостный драгоценный камень. Они были бы немислимы в столь принятой сейчас сверхвычурной оправе.

*31 декабря 2006г.,
г. Кемерово*

Анастасия Романова
МЕМУАРНАЯ ПРОЗА МИРЧИ ЭЛИАДЕ
Предварительные заметки

В конце 90-х годов румынское издательство «Humanitas» выпустило в свет «Дневник» Мирчи Элиаде. На фоне многочисленных публикаций прежде опального автора «Дневник», возможно, не вызовет громких откликов, общественного резонанса и сенсационных заявлений. Но в этом и нуждается серьёзная, итоговая и так много значащая для самого автора (по его собственному признанию) книга. Ей нужно совсем другое – внимательный и открытый для общения читатель.

Мирча Элиаде принадлежит к числу личностей, в какой-то мере определивших облик своей эпохи. Многочисленные научные

исследования Элиаде благодаря оригинальности тем, динамизму и изяществу стиля приобрели известность далеко за пределами круга специалистов. Художественные сочинения Элиаде во многом построены в соответствии с его же научными идеями и пропитаны ими.

Исследование мемуарной прозы Элиаде, которое, по сути дела, еще не начато, является задачей столь же трудной, сколь и увлекательной. Уже само определение корпуса текста (состав, хронология, публикация, о чем см. ниже) содержит много вопросов, которые пока могут быть разрешены лишь отчасти. Но основную сложность представляет то, каким образом подступить к анализу того богатства научных идей, художественных образов, исторических событий и личностей, автобиографической хроники, исповедальной темы, – всего того, что смелый экспериментатор Элиаде объединил в своих дневниках. Жанр дневниковой (документальной и квази-документальной) прозы и его эволюция в XX веке, объединение и «соревнование» научной и художественной прозы, хронологические и пространственные сдвиги, собственно биографический момент, ориентация на интертекст – вот только некоторые из тем, к которым мы приступаем. Выбранный здесь фрагмент посвящен *пространству и времени*, основным составляющим мифопоэтического мира Элиаде, отпечатавшимся и в его научных теориях, и в художественных произведениях. Начнем, однако, с описания того, что представляет собой исследуемый нами текст.

Из более сотни книг, принадлежащих перу М. Элиаде, самым объемным является «Дневник», превосходящий даже его трёхтомную «Историю религиозных идей и верований».

Дневниковые записи Элиаде начал вести весной 1920 года и кончил за несколько дней до смерти, в апреле 1986 года. К самым ранним записям относятся «Летний дневник», «Из записок юного исследователя», «Часы, проведенные в лаборатории», запечатлевшие события школьного периода. Отдельные отрывки из этих тетрадей войдут, с небольшими изменениями, в «Роман о близоруком подростке», написанный годы спустя. Двадцатилетний Элиаде ведет дневник и во время своего пребывания в Индии в 1928-1931 годах.

Элиаде продолжает вести дневниковые записи и в начале сороковых годов. К сожалению, их судьба оказалась не очень счастливой. Часть записей того времени утеряна. Сохранившиеся были опубликованы лишь в 2006 году под названием «Португальский дневник».

Переезд Элиаде в Париж не прервал ведение почти ежедневных записей. Фрагменты этого дневника вышли (по-французски) в 1973 году в Париже; в Европе тираж издания превысил миллион экземпляров.

С 1956 года до конца жизни Элиаде живет и работает в Америке, продолжая регистрировать течение времени в образах, ситуациях, мыслях, или, как он писал по другому поводу, спасая реальное время, «замораживая его». Там же издается и английская версия публикуемых отрывков.

В конце 70-х началась работа по подготовке публикации дневника на румынском языке, т.е. на языке оригинала. Лишь в 1993 году в Румынии, уже после смерти автора, вышла самая полная (до сегодняшнего дня) версия «Дневника». Именно на этом издании мы строим свой анализ. Что же он собой представляет?

Описываемые в нем события относятся к испано-португальскому периоду жизни Элиаде (частично), французскому и американскому, его хронологические рамки – 1941-1986 гг.

«Дневник» представляет собой отдельные школьные тетради, скрепленные металлическими зажимами. Иногда некоторые страницы кажутся переписанными, потому что они слишком аккуратны; другие явно написаны сразу в окончательном варианте. Позже, обращаясь к своему дневнику вновь, Элиаде кое-что вычеркивал, добавлял на полях или на обратной стороне листа (обычно он писал только на лицевой). Но доля таких исправлений очень мала. Готовя рукопись к публикации, автор отмечал фрагменты, которые должны войти в окончательный вариант, поэтому в ряде случаев опубликованный текст несколько отличается от рукописного. В рукописи нет ни рисунков, ни иллюстраций.

«Дневник» включает в себя довольно разнородный материал и по содержанию, и по времени написания. Тем не менее, мы

можем считать «Дневник» не просто единым, но единым художественным текстом, выходящим за пределы документальной фиксации событий. Это еще один жанровый эксперимент Элиаде, представляющий собой синтез его научных и литературных произведений, объединенных мифопоэтическим видением мира. По соображениям места, мы остановимся только на одном фрагменте этого видения: на основных образах-семантемах из «мифопоэтического словаря дневника», своего рода скрепах, обеспечивающих единство описываемого мира. Нами выбраны универсалии: пространство – *дорога/путь, пейзаж, дом* – и время. Подчеркнем известное: пространство и время нередко перетекают друг в друга. Соответственно основным предикатом становится *движение*.

Движение в пространстве: *дорога/путь*

Один из ключевых образов-семантем «Дневника» – *дорога, путь*, с особым подчеркиванием *лабиринта*, т.е. не просто пространство, но движение в пространстве. На лексическом уровне это представлено прежде всего обширным набором топонимов: названия стран, городов и т. п. подчеркивают динамичность как своего рода сюжетную основу «Дневника». Так, 9 января 1950 года, в день своей свадьбы, Элиаде делает следующую запись: «Наша свадьба, сегодня; свидетелем был Н.И. Хереску, посаженными родителями Сибилла и Эмиль Чоран. Позже, по адресу улица Мигнард, дом 4 <...>. Религиозный обряд совершили в зале (румынская церковь была еще закрыта). Я снял еще одну комнату в Отель де Сюэд» (Jurnal 1993, 1, 160). Эмоциональная взволнованность вытеснена или, вернее, выражается посредством обилия топонимов и собственных имен. Их высокая концентрация в небольшом фрагменте текста создает эффект быстрой смены событий.

Но действительными вехами этого пути становятся идеи, книги, проекты, таким образом путешествие совершается не «от города к городу», а от «романа к роману», от «героя к герою». Само путешествие при этом совершается в большей степени ментально, виртуально, чем реально. Мы не найдем в «Дневнике» разнообразия глаголов движения со значениями «идти, отправляться,

прибывать» и т.п. (*a pleca, a veni, a sosi, a se duce, a trece* и т.п.); на смену им пришли *a deschide, a scrie, a termina, a intrerupe, a reintoarce* (*открывать, писать, заканчивать, прерывать, возвращаться*), обозначающие «этапы продвижения» в работе Элиаде над своими произведениями, научными или художественными.

Примечательно, что передвижение в пространстве приводит автора не в другое место, а в другое время. Так, поездка в таможенно за книгами, присланными из Англии, переносит автора дневника на шесть лет назад, в начало войны. Идя вдоль набережной Сены, он попадает в другое время. «Переживал, это слишком обобщенно сказано: вызывая, оживляя, те изолированные во времени моменты, которые связаны между собой только «предметом»: река, пароход. <...> Помню путешествие по Дунаю в 1921 году. Очутился вновь, почти без всякого перехода, в первом путешествии по Гангу. Увидел его снова с нереальной четкостью – как будто вижу его из 1932 года – <...> против вокзала в Калькутте. Потом, путешествие по Рейну, в 1937 году, из Гейдельберга в Кельн, путешествие, воспоминание о котором я пытался «спасти», записывая на месте, в записную книжку все конкретные мелочи и всё, что приходило в голову в связи с этими мелочами» (Jurnal 1993, I, 76–77). Или запись, сделанная 1 сентября 1950 года: «Даже в дождь, совершаем долгие прогулки. Находимся на высоте тысячи метров. Тирольский пейзаж – а я вспоминаю Карпаты <...> Не поднимался на румынские горы с лета 1939 года. Здесь, я вновь нахожу тот небосвод, дождь, воздух» (Jurnal 1993, I, 234). Так движение в пространстве подводит к движению во времени.

Подобные «перетекания» порождают следующую схему: точка в пространстве – время, отличное от момента, когда делается запись в дневнике – иная точка в пространстве. Много раз высказываемая Элиаде в его научных работах идея о цикличности, о «вечном возвращении» получает, таким образом, художественное воплощение.

Движение во времени

Структура *дневникового* времени у Элиаде отличается от структуры времени реального (отчасти это диктуется самим жанром,

фиксирующем события прошлого, но не хронометрирующих их с точностью до минуты). Основной чертой времени в «Дневнике» является его нелинейность. Графически его можно было бы представить не в виде отрезка прямой линии с отмеченным началом и концом, а в виде спирали с теоретически неограниченным числом витков. Другой образ – воронка, которая затягивает воспоминания все на большую и большую глубину. В этом можно видеть воплощение основной идеи Элиаде о «вечном возвращении». Она реализована в тексте разными способами. Упомянем здесь наиболее яркие:

1) постоянное (круговое) возвращение к ключевым для Элиаде мотивам: ностальгия по родной стране и по родному языку, оппозиция Восток – Запад, противопоставление и объединение науки и искусства и др.

2) многочисленные хронологические сдвиги, которые можно разделить на две основные группы:

а) возврат в собственное прошлое, в события с фиксированной датой и местом. При этом, как правило, происходит встреча не с людьми из прошлого (*внешнего* мира), а с самим собой, со своим прошлым, со своим собственным *внутренним* миром: «...Вспоминаю лето, которое я провел в Сэчеле, в одном из «Семи сел» возле Брашова. Думаю, было это в 1922 году. Мне было пятнадцать лет, и я был увлечен в частности энтомологией. На заре гулял вдоль реки, <...> читал все, что попадало в руки...» (Jurnal 1993, I, 272). «Это было в 1926 году, весной <...> Я приехал накануне ночью и, как положено, утром, прежде всего, отправился в собор Сан Марко. Мне казалось, что нужно его увидеть одному, без помощи гида, и только так можно что-то постичь. Но постичь что? Не знал, не спрашивал себя. Только чувствовал, что мне что-то откроется» (Jurnal 1993, I, 276). «Вспоминаю те утренние часы в 1925 году, когда открывал для себя «I Misteri» и когда бросился в историю религии со страстью и верой 18-летнего юноши. Вспоминаю лето 1926 года, когда, начав переписку с Петтацони, получил в дар его «Dio», и читал, подчеркивая

почти каждую страничку. Вспоминаю...» (Jurnal 1993, I, 146).

б) выход из настоящего времени во «вневременное» пространство, то, что сам Элиаде называл *in aeternum*. С каким периодом времени связать следующую запись, формально относящуюся к конкретной дате (11 января 1955 года), но не имеющую никакой поверхностной, явной связи с какой-либо точкой на временной оси? «Храм по-гречески называется паос, пеос – как и корабль. Размышлял над этим образом: храм, то есть святость, обретшая форму, понимается как корабль. Его предназначение – это возможность путешествовать (очевидно, к Небу, на Небо), возможность пересекать водное пространство (= небытие, темнота, хаос). Идея о том, что такое совершенное путешествие не может быть совершено иначе, как на корабле, то есть в некоей «закрытой форме», которая защищает от распада, разъединения, растворения (= растаивания в воде)» (Jurnal 1993, 267).

Пейзаж и погода

Перенос во времени провоцируется, как правило, сменой места, в данном случае – сменой пейзажа. О том, как это можно связать со сменой погоды и через это со временем, см. далее. Следует сказать, что описания пейзажа и погоды встречаются в «Дневнике» достаточно редко, они скупы и немногословны, что никак не уменьшает их значимости.

Наиболее простой случай – совпадение погоды с настроением, когда погода *внешняя* равна погоде *внутренней*: «День превосходный (*zi superba*), – но холодный. Какой-то золотой свет. Пошел во второй раз на выставку Гогена. Вспоминаю то чувство, с которым 4 года назад увидел первое полотно Гогена в Лувре. <...> Читаю отзывы на мой «Миф о вечном возвращении», все восторженные (*cronici excelente*)» (Jurnal 1993, I, 158).

Можно предположить, что впечатления от *золотого света* дня усилены колористикой Гогена и что это определяет общее настроение автора и выбор эпитетов *superba*, *excelente*, объединенных семантическим множителем «превосходная степень».

Написание «Дневника» становится для Элиаде обязанностью, долгом, который он сам на себя возложил, пропуски в записях он ставит себе в вину. Часто внутренним оправданием того, что за день мало сделано, мало написано, оказывается погода. «Вот уже два дня ливень, ливень стеной, ливень тропический, потоками. Невозможно сделать даже несколько шагов, даже выйти в сад. Роман продвигался довольно тяжело...» (Jurnal 1993, I, 256).

Запись от 2 апреля 1951 года открывается фразой «Первый солнечный день». И далее начинается одно из самых протяженных во всем «Дневнике» изложение событий дня, разделенное на 4 «главы» самим Элиаде с помощью типографского знака * (звездочка). В одной из них появляется следующий фрагмент, требующий внимательного прочтения: «Написал 35 почтовых открыток и 2 письма. Сегодня мшу, как могу: все время открываю эту тетрадь» (Jurnal 1993, I, 181). Что стоит за фразой «мшу» (*ma razbun*)? Возможно, это наказание самому себе, восполнение недостаточно усердного ведения дневника. Но, возможно, это «месть» ускользающему времени, что отчасти подтверждается и последующим текстом: «Я не в состоянии выразить подобные глобальные образы или – если осмелиться так сказать – подобные часы, подобные моменты конкретного времени» (Jurnal 1993, I, 182). Выстраивается цепочка: погода позволяет писать – и время «спасено», оно уже не утекает бесследно, раз оно «зарегистрировано». Элиаде, много теоретизировавший по поводу дневника как текста *in progress*, стремился следовать критериям, им самим выработанным, то есть писать по возможности каждый день, спонтанно, сразу после случившегося: «Мне кажется, что дневник (как литературный жанр) будет более реализованным <...>, если автор регистрирует, в соответствии с течением времени, разные образы, ситуации, мысли; если, как я писал по другому поводу, спасает, «замораживая их», – фрагменты конкретного времени» (Jurnal 1993, I, 98).

Зачинающий комплекс *пейзаж – погода* становится указанием на день сегодняшний, «привязкой» к конкретному времени, продолжающий его текст «записи дня», раскрывает

собственно сюжет. Вот как *пейзаж – погода* открывает сюжет: «Ужасная буря вчера после обеда. В 3 часа, небо стало черным, на станции выключили электричество, и среди раскатов грома слышалось металлическое дыхание бури, безостановочно» (Jurnal 1993, I, 321). И далее следует переход к размышлениям о религиозных корнях политических движений, переходящий в набросок научной статьи, смысл чего непосвященному читателю может быть и непонятен.

Но все же основная функция подобных «пейзажно-климатических введений в сюжет» иная: они служат мостом, возвращающим в юность, на покинутую родину: «Вчера пошел снег. Сегодня бульвар Сен-Жермен весь в сугробах. Студенты играют в снежки перед зданием Сорбонны. Я шел на занятия. Снег, которого я не видел уже шесть лет, вернул меня назад в бухарестские зимы» (Jurnal 1993, I, 86). Еще пример: «Третий день ужасная жара, после почти двух месяцев дождей. Вспоминаю первое лето в Калькутте – но там, на Рипон стрит у меня в комнате был гигантский вентилятор, и стены были каменные» (Jurnal 1993, I, 73). Что является смысловым центром дня, единственным событием, удостоенным упоминания в дневнике, связью между началом и финалом текстового эпизода? Возвращение в события, происходившие *eo loco et eo tempore*.

Первым, кто заметил и истолковал эту связь, был сам Элиаде, с его стремлением к анализу (в том числе и к самоанализу) и с его непревзойденным мифопоэтическим чутьем; он сформулировал это в записи от 28 марта 1951 года: «Почему я все откладываю толкование идеи, которая не дает мне покоя: трансформация прожитого времени через *смену* знакомого *пейзажа?*» (Jurnal 1993, I, 179).

Заклучим тем, с чего мы начали. Эти заметки – лишь подступ к неисчерпаемой теме. В определенном смысле «Дневник» является комментарием ко всему, созданному Элиаде-ученым и Элиаде-писателем. Но, возможно, не менее верно и обратное: все, написанное Элиаде, вытекает из «Дневника» и стекается в «Дневник». Круговорот времени и пространства, с вечными возвращениями и переходами друг в друга...

Кишинев – Москва, 2006 г.

Стоп-кадр



Лавиния Мятлева
ОЧАРОВАНИЕ ЗЛА
(о новом фильме
Михаила Козакова)



Только что в который раз посмотрела на DVD фильм Михаила Козакова «Очарование зла». И вспомнила: у Бодлэра есть такие стихи: «Цветы зла». Никогда не могла вникнуть в смысл этого названия.

Сейчас поняла: возможно, «очарование зла» – вольный перевод того, бодлеровского.

И тут всплывает многоплановость самого смысла не только фильма, но и названия.

Что есть зло? И сколь многообразно его очарование? Приходишь к выводу, что зло, – *великое зло*, – катаклизм, жестоко разрубивший Россию на два лагеря: белый и красный. На Россию, исходящую кровью на чужбине, и ту, что залита кровью, не на дюйм не сдвинувшись с места в своём постоянном беге в никуда.

Но ещё хуже: внутри каждого лагеря – своя борьба. Нет горше доли, чем выпала первой эмиграции в Праге, Берлине и Париже. Приличнейшие, талантливые люди, щедрые меценаты, «голубокровная» аристократия. В Петербурге – это был привычный и дружный – в меру понятия дружбы в великосветском обществе, – кружок: внук Третьякова, «того самого», что обогатил Россию художественной галереей, князь Святополк-Мирский, истинный русский патриот, в неразберихе попавший в эмиграцию.

Поэтесса Марина Цветаева, которая – поскольку современница, – всего лишь «одна из всех»: стихи её мало печатают, зато «дают писать», а там, то есть в порушенной России, «писать бы не дали». Её муж, обаятельный, легковёрный Сергей Эфрон, её дочь Ариадна – просто семья. Не очень спаянная, но очень терпящая друг к другу.

И рядом – другая, Ивана Бунина. Ему присуждают Нобелевскую премию и в подтексте поздравительной речи на парижском банкете, где собрался цвет эмиграции, сквозит: немалую роль в присуждении премии сыграли его «Окаянные дни», которые и

Спрашивать меня, о чем фильм, так же бесполезно, как спрашивать художника о вкусе яблок, которые он рисует.
Альфред Хичкок

привели русскую интеллигенцию в «Тёмные аллеи» тридцатых европейских годов. Где на двух полюсах – две диктатуры и два террора: гитлеровский фашизм и сталинские «чистки».

Террор с двух концов объял Европу и довлеет над прекраснейшим городом её – Парижем.

Сюда стеклись не только аристократия и интеллигенция, которая ранее чуть не полжизни проводила в Париже – но тогда они были беззаботные «туристы», которые знали, что у них есть Дом и Родина, куда они, «напорхавшись вдоволь», вернутся, когда захотят. Сейчас – они продолжая изо всех сил вести прежний образ жизни, – визиты друг к другу, балы, поездки к морю на юг, – для самих себя незаметно скатываются в изгойство.

Некогда известный в России скрипач, сидя на городской лестнице, зарабатывает игрой подаяние. Кто-то, некогда светский жуир, играет на пианино в русском кабачке и поёт про «Россию, которая устала». В кабачке – где русские много пьют и, утопая в воспоминаниях, вдруг по новому узнают друг друга и, ностальгируя по России, которой уже нет, веряют сокровенное: мечту о возвращении на «Родину», но на ту, какой они её помнят, – потому что сегодняшняя для них – загадочна, непонятна, и опасна.

Но в Париже собрались не только все эти люди, «унесённые ветром», но и военные. Истинные патриоты России, что сперва беззаветно сражались в первой мировой, защищая свою страну, которую знали и любили, хоть многого в ней, может быть, и не понимали. И тут, в эмиграции, став людьми «второго сорта», эти «поверженные», – таксисты и официанты, – которые некогда присягали «той» России, пытаются и далее верно служить ей. И создают военные союзы для свержения большевизма.

Бравые, честные патриоты, «белые офицеры», многие из коих связаны святым фронтовым братством, вдруг ощущают трещину, что пролегла меж ними. Одни льнут к военным союзам против нынешней России, другие, «очарованные злом», что надломило их жизнь, создают «союзы возвращения на родину». Потому что они тоже присягали не строю, а России. Россия продолжает быть, и пропаганда её успехов, прельстительные фильмы и радиопередачи о радостной жизни весёлого народа – как дивный сон, обольщает их, и они решают вернуться.

Но, чтобы вернуться, надо добиться доверия «тех». И тут, оказывается, для этого приходится служить ОГПУ и убирать политических врагов нынешней России, что оказались за границей.

Но кто сейчас эти «политические враги», столь далёкие от России? Прежде всего – троцкисты, с которыми у Сталина особый счёт. Кто может убирать этих ненавистных для Советов людей? Опытные агенты ОГПУ. К которым «прибываются» бывшие «белые офицеры».

Они желают служить России, как могут.

Некоторым открывают доступ в Москву, и они, оглушённые шумихой вокруг успехов этой новой страны, достигнутых «на костях» миллионов заключённых и замученных в лагерях, убеждают многих прогрессивных людей тоже вернуться.

Так, вдруг вступает в коммунистическую партию родовитый шотландский лорд и приезжает в Москву работать журналистом в Коминтерн.

Вдруг князь Святополк-Мирский, виновный лишь в том, что оказался, волею судеб, по ту сторону баррикады, добивается возвращения «домой» и – возвращается на свою погибель.

Сперва никто террора не чувствует или делает вид, что не замечает. Но вернувшиеся, обольщённые «очарованием зла», вскоре оказываются избитыми и униженными на допросах в НКВД, где правит бал зловещий карлик Ежов, успевший подвести под расстрел своего предшественника Ягоду.

Как спрут сидит он в своём наркомате, а его щупальца – те самые, рассеянные по Европе, в основном, в Париже, – Рейс, Кривицкий – у всех клочки, – и, наконец, уж вовсе неожиданные люди: Александр Болевич и его закадычный друг по белой армии, Сергей Эфрон, муж Цветаевой.

Основных коллизий две: Болевич, обольщённый «очарованием зла», один из виднейших агентов ОГПУ, – вот у кого руки по локоть в крови! – этаким обаятельным Саша, бывший любовник Марины Цветаевой, которая, не зная о его новом пути, в Праге в 1924 году посвятила ему восхитительные свои стихи «Попытка ревности», вопрошая «Как живёте вы с другою?», – ибо забыты им «мрамор Каррары, как живётся вам с трухой гипсовой?». Но даже такое суровое испытание выдерживает дружба Болевича и Эфрона. Эфрона –

по его незлобivosti, легкомыслию и доверчивости. Болевича – по расчёту. Он втягивает друга Сержа в агентуру, зная, что тому больше не вмоготу бытование «второсортного» жителя Парижа. И он вовлекает его обманом в устранение секретаря Троцкого, Клементя. Было сказано, что Серж должен пригласить того в квартиру, где с ним хотят побеседовать. А там – убивают.

И обезумевший Эфрон попрекает Болевича, – обман, обман, в их дружбе!

Болевич откровенничает: когда на войне 14-го года впервые убил человека, в него влили чуть не бутылку водки, чтобы пришел в себя. А потом – ничего. «Но то была война!» – не успокаивается Эфрон. «Ну и что? – а разве сейчас не война?» – трезво и цинично возражает Болевич, – ведь Эфрон хотел служить Родине? Если иначе он не умеет, значит, пусть воюет так, как ему предложено.

«Но обман, обман!», – твердит тот. . . И мчится к старинной приятельнице Вере Александровне Гучковой, дочери бывшего члена государственной Думы, лидера октябристов, которая вместе с отцом тоже в Париже, но в той, «пристойной», по петербургскому образцу, эмиграции.

Вера – особа избалованная, своенравная и вместе с тем трезвомыслящая. Её раздражают и концерты знаменитой некогда в Петербурге Надежды Васильевны Плевицкой, – та по сю пору носит брошь, некогда подаренную Николаем II, – когда была в расцвете славы и звалась «курским соловьём», – а сейчас ей рукоплещет уже по инерции и по привычке всё тот же петербургский кружок, который и представить не может, что и она – агент советской разведки.

Хотя голос уже – не тот, но она – символ «той России», к тому же жена генерала Скоблина, который впоследствии окажется связанным с фашистской Германией и одновременно поможет очередному похищению советскими агентами – генерала Миллера, возглавлявшего «Общественный Союз Спасения России».

Вера мечется в этой иллюзорной, благополучной и бестолковой парижской эмиграции «высшего сорта», прекрасно сознавая, что у неё нет никакого «завтра».

Видит, как превратности жизни сдирают лоск с давно знакомых друзей. Она по-прежнему встречается со всеми этими тускнеющими людьми, которым знает цену, и потому поддразнивает, говоря об успехах советской России, так что за глаза её называют «большевичкой»,

но всё равно – это тесно спаянный кружок, где принято держаться друг друга и торжественно посещать русскую церковь, ну, хотя бы поминая почившего в боях генерала Лавра Корнилова, который тоже тщился спасти Россию.

К ней и бросается обезумевший после своего невольного соучастия в убийстве Эфрон. И рассказывает, что он советский агент, выбалтывает всё, о чём и про себя думать не смел бы.

И что же? Вера признаётся ему, что на его месте поступила бы точно так же, лишь бы не бездействовать, лишь бы не вести никчёмную жизнь слишком задержавшихся на чужбине «туристов».

И Эфрон связывает её с агентами.

И тут – вторая коллизия. К этому времени уже успели расцвести «цветы зла». Ибо даже во зле непобедима любовь. У Веры, дочери видного и всеми почитаемого политического деятеля, бурный роман с бывшим белым офицером, а ныне агентом ЧК Александром Болевичем, причём – агентом по убеждениям.

Гучкову долго проверяют; она взбалмошна, возможно, она просто лишь ищет «острых ощущений» – и таким тоже бывает «очарование зла»... Но, в конце концов, определяют в школу НКВД, хотя всё же не доверяют...

Жизнь то сталкивает Болевича с Верой, то разъединяет их, потому что он «присягал России». Он – «исполняет свой долг». Он – убивает людей.

Болевич едет в Испанию. И попутно мы догадываемся, что та война с фашизмом тоже – удобная ловушка, чтоб под флагом интернациональной помощи посылать туда и уничтожать там тех, кто покажутся подозрительными, – будь то люди из «той» жизни или свои же агенты, не оправдавшие доверия, или дрогнувшие при совершении преступления.

Так погибает в Испании уже упомянутый шотландский лорд, успевший в Москве стать мужем Веры – по приказу агентуры: может оказаться полезен для разведки в Англии. Но – всё же лорд. И слишком непонятно его стремление в Россию, так что надёжнее – убрать... Здесь же, в Испании, в 1937г. будет убит генерал Скоблин, тоже завербованный НКВД, но в чём-то не угодивший.

И сколько же хлопот причиняет чекистам сама Вера, получившая кличку «леди». Она обворожительна, она «околдовала», как

выражаются в узком кругу чекисты, самого Ежова, и тот посылает её на ответственное задание в Париж: выследить сына Троцкого. Ей вручают бинокль и она нацеливается на противоположный дом, где около окна – намеченная жертва.

И вдруг в фокусе бинокля – его глаза.

С ужасом отшвыривает бинокль Вера: «Он посмотрел мне глаза в глаза» – говорит приставленному к ней партнёру. Вспомним, – «но это же обман, обман!» – всхлипывал некогда Сергей Эфрон. . .

Порядочные люди не могут жить под лозунгом «цель оправдывает средства». Они не могут убивать «не на войне». Они не могут признать войной откровенный вероломный терроризм агентуры ЧК за границей.

И потому – они обречены. Каждый по своему. Как не оправдавшему доверия Сергея Эфрона расстреляют в 1941 году. К этому времени в Елабуге уже покончила жизнь самоубийством от отчаяния Цветаева, которая последовала в Россию за дочерью Ариадной, «охмурённой» тем самым «очарованием зла».

Но Цветаева и здесь никому не нужна. Её, конечно же, не печатают, и «в стол» пишет «поэтесса века» строки, для признания и триумфа коих потребуется полвека.

Погибает в застенках честный патриот России Святополк-Мирский, который, встретив в Москве Веру Гучкову, успевает шепнуть ей, как бы обнимая любимую женщину – когда-то он предлагал ей руку и сердце, чтобы вместе вернуться в Россию: уезжайте из этой страны, возможно скорее уезжайте, – он-то уж всё понял. . .

Погибнут, коварно и по бандитски, уничтоженные Рейс и Кривицкий, и сколько других, которые так споро похищали бывших врагов, – генерала Кутепова, Миллера, супруга Плевицкой, генерала Скоблина: оказывается, он давно получал мзду от фашистской Германии, готовя себе загода место в другом стане – свой враг среди своих, а «курский соловей», много лет получавшая крупные суммы от Советов, арестована французской полицией, и будет приговорена к 20 годам заключения, но умерла в 1943-м.

Уцелеют двое: Вера и Болевич. Охраняемые любовью, что многие годы, с неизменным пылом, то толкает их в объятия друг друга, то безжалостно расшвыривает в разные стороны.

Их любовь – «цветок зла». Но всё же – цветок! То, что сохраняет в них единственную человеческую свободу, возможную в крутые времена, – свободу любить, переступая через все «вопреки».

В 1986 году в доме престарелых под Парижем 90-летний Болевич, по кличке Кортес, пишет письма, а иногда и звонит – редко, средств нет, – своей вечной возлюбленной «леди Вере», что живёт в Англии, на родине погибшего, доверчивого супруга шотландского лорда. Живёт в окружении кошек, с единственным новым другом – Чебурашкой, что появился недавно в её доме.

В одном из её звонков она с великой горечью спрашивает Болевича: во имя чего мы жертвовали всем, во имя чего отдали свою молодость и свою любовь? – она уж давно прозрела.

Он же в последнем своём письме-покаянии, накануне смерти, признаётся ей во всех убийствах, к которым был причастен, рассказав, что даже смерть её отца, Гучкова, тоже дело его рук, – привёл с обыском в дом старого депутата свою «банду», чтобы выкрасть документы, позволявшие Сталину уничтожить Тухачевского и прочих лучших командиров советской армии. Письмо же Болевич кончает неизменным признанием: она, Вера, была единственным человеком, которого он в жизни любил.

Письмо опоздало. Вера умерла за пару дней до его кончины. И письмо отдают её внуку, чтобы он Болевичу вернул. Но в доме престарелых он узнает, что тот умер чуть не накануне, и у него не нашлось в этой жизни ни одного близкого человека.

Так кончается эта жуткая сказка: «они любили друг друга всю жизнь и умерли в один день», или близко к тому. . .

Так во имя чего расцвел и был растоптан «цветок зла», и почему так легко поддавались «очарованию зла» те, кому удалось как будто его избежать?

Может, потому, что куда бы судьба ни закинула человека, – ему важно знать, что есть тот дом, та точка, куда он может вернуться. Если же у него эта опора отнята, он подается любому мороку, обманывая себя, лишь бы вновь её обрести.

Фильм заканчивается удивлённой констатацией журналиста, который пытался получить интервью у Веры, а потом у Болевича, перед самой кончиной той и другого, для будущего фильма.

«Странные люди эти русские», – говорит невозмутимый молодой англичанин внуку Гучковой у края могилы Болевича.

Наверное, в самом деле, – странные: импульсивные и так трагично обманутые. . .

Декабрь 2006г.

Елена Дульгеру
МИФОЛОГИЧЕСКИЕ МОТИВЫ
В ТВОРЧЕСТВЕ ЭМИРА КУСТУРИЦЫ

Югославский кинорежиссер, родившийся в Сараево (Босния-Герцеговина), свидетельствует, что чувствует себя ближе к рок-музыке, чем к любой мистической традиции. И все же его фильмы содержат богатую сеть мифологем, умело внедренную в структуры сценария и аудио-визуального языка и хорошо закамуфлированную масками праздничности и «доступного искусства».

1. Человек и мечта

Фильмы Кустурицы – это истории о выживании душевной чистоты, когда весь мир, и особенно близкие, тебя предают. Это – притчи о взрослении, «живые уроки», когда любовь к людям, надежность дружбы и способность к прощению проходят сильные испытания.

Кустурице удается сохранить чувство небесной полноты и невинности; повествуя о самых обычных и земных событиях, он оперирует так называемым *re-ligio* – восстанавливая связь человека с Богом – момент, столь редко встречающийся в мировом кино. Но больше всего его интересует **отношение человека к мечте**, к той неощутимой частице души, которая соприкасается с «Небесными Садами».

Питающиеся мечтами и иллюзиями, его герои истощают себя в «пляске жизни», любят, предают и терпят предательства, теряют и побеждают в житейском бурлении, не оставляющем им времени для экзистенциальных размышлений. Бог не участвует активно в их жизни. В конце концов, убедившись, что из-за минуты невнимания они потеряли все карты, они удивленно вопрошают себя, как же случилось, что Бог их оставил, – Бог, Которого они никогда не искали и о Котором никогда не задумывались.

«Оказалось, что Бог – это просто слепой котенок», – пишет Перхан, главный герой фильма *Дом для повешения*¹, своей бабушке, когда все пути незаконного обогащения для него закрылись. Через психологический механизм переноса собственной вины на

другого – будь то даже Сам Бог, – Перхан осознает, что вел себя наивно, как «слепой котенок»: слепой по отношению к своей душе и к Богу. Эта «слепота по отношению к Богу», игнорирование морально-юридического плана бытия – свойственна всем героям кинорежиссера; слабые мгновения просветления приходят всегда слишком поздно, после того, как жизнь рухнула из-за ошибки, непонимания, неправильного выбора. Момент просветления всегда краток (смотри трагикомические молитвы из начала и конца *Дома для повешения*) – и герои со спокойным сердцем принимают свой статус неудачников, никого не обвиняя, признавая огромную пропасть между ними и Небом, возможно, догадываясь, что именно это признание, не претендующее на возмездие, поспособствует как-то их спасению.

Одинаковая нравственная и религиозная незрелость свойственна всем героям кинорежиссера. Жизнь – это русская рулетка, в которую стоит играть до конца – утверждает как таинственная Грейс (из *Аризонской мечты*²), так и другие герои из серии поверженных борцов. Суть жизни – в интенсивности переживания собственной мечты, в очаровании, а не в достижении цели; исход не имеет значения, важно мгновение.

2. Музыка. Балканы, Карпаты, Дионисос и Кустурица

В творчестве югославского кинорежиссера музыка заслуживает особого изучения, хотя бы тогда, когда она написана его соотечественником Гораном Бреговичем. Открыто вдохновляясь болгарской, румынской, цыганской народной музыкой, включая не только отдельные мотивы, но и целые музыкальные отрывки, Брегович тем самым впитывает значительную часть балкано-карпатской архаичной духовности.

Современные этнографы и культурологи отметили духовные свойства румынской музыки, ее древнейшие сакральные корни, никогда не забываемые (связанные с так называемым «румынским чудом», о котором говорят историки), которые обеспечили ее жизнённость вплоть до наших дней. Многие ученые устанавливают ее начала в древнем гето-фракийском мире или даже в неолите. Известно, что музыка (с преобладанием ритма и инкантации) принимала участие в сценариях языческих мистерий, открывая дорогу к

модифицированным состояниям сознания и, следовательно, к сакральному.

Упоминания греческого пантеона – почти обычное явление в местных этнографических исследованиях: *«Румынские танцы, всем, что они имеют оригинального, свидетельствуют о дионисийских ритуалах наших предков... Фракийское начало Орфея и Диониса является ценным доказательством дионисийского характера румынских народных танцев»*³.

Итак, чтобы понять завораживающее очарование верениц танцующих людей из фильма *Подземелье*⁴, «взлетающих» над руинами и трупами, надо глубоко проникнуть в балкано-карпатскую духовность – вплоть до незапамятной области мифа.

Оригинальное понимание взаимодействия мифов, коллективного подсознательного, сокровенной истории и современности предлагает французская писательница-эрудит Annick de Souzenelle: *«Мифы, имеющие корни в бесконечности, хранят память исторического будущего, Того, Кто суть. Первоначальное зерно коллективного бессознательного народов и есть эта память. Начало мифов составляет тот тайный вклад, который каждая культура разработала соответственно своему гению и чей вызов реактивизирует в каждом человеке его подлинную идентичность, затаенную под вычурностями изгнанного Я»*⁵.

3. Дионис: краткая история бога от античности до Ницше и Элиаде

Ницше и позже Мирча Элиаде указали, что, помимо официального культа Диониса, распространившегося в эллинистические и римские времена во всем античном мире, вокруг бога существовала серия жестоких ритуалов посвящения, мистерии, в центре которых – опыт буйного экстаза. *«Главный акт посвящения – это ощущение присутствия бога, через музыку и танец»*⁶.

Современная культурологическая лексика употребляет термин «дионисийский» в его ницшеанском понятии (то есть как антоним «аполлоническому»), чтобы подчеркнуть иррациональное опьянение на мистической основе («Совокупление, на несколько мгновений, с богом»). Во всяком случае, как Ницше, так и Элиаде отмечают темные, разрушительные, по сути демонические исходные черты

культа. Поэтому, когда этнографы говорят о «дионисийском духе» румынского фольклора⁷, элиаде-ницшеанское понятие термина далеко не удовлетворительно. Ибо доминантные черты румынского фольклора – это **солярность** (унаследованная еще от культур неолита), сублимированная, однако, в **гармонию** и **равновесие** (как выявил Лучиан Блага⁸). При этом сам «дух бога», в восприятии (европейской) современности, потерпел серьезные сублимативные мутации (в смысле сублимирования инстинктуальности), под влиянием христианства.

Языческий смысл древнего культа, отвергающий любые нормы и пределы, то есть дух люциферический, выявленный Ницше и Элиаде, был постепенно устранен в румынском фольклоре христианством. Вообще можно говорить о постепенной христианизации слоев подсознания человека и народов с момента принятия Христа, замечаемой в фольклоре.

Итак, вокруг Карпат «Солнце, Бог Света» теряет свои стихийные свойства и первобытный витализм (прославленные кортежами Диониса), смягчается, чтобы отдать преимущество небесной гармонии Аполлона и подготовить принятие Солнца-Христа (часто в христианской гимнографии Христос сравнивается с Солнцем). Порядок заменяет хаос. Таков горизонт становления душевных ритмов, вызванных румынском народном мелосом.

4. Мотив небесной свадьбы и полета

В свете всего вышеизложенного можно заключить, что отношение героев Кустурицы к жизни – **дионисийское**. Остается определить, в каком виде (склоняясь скорее к земному или к небесному) следуют они «по стопам бога».

Жажда цельности и фатализм, безусловное принятие смерти как высшего освобождения, инкантационная музыка и танец, магическая свадьба без конца и начала – составляют конечные ценности, созвучные рифмам бесконечности. В фильмах *Дом для повешения*, *Подземелье*, *Черная кошка, белый кот*⁹, все главные герои имеют право на свадьбу – повод для обширного праздника для всей актерской группы. *Дом для повешения* начинается с **трагикомической свадьбы** эпизодических героев – карикатурное введение к итогу фильма, – кульминирует **мистической свадьбой**

Перхана и Аздры, «тренируется» в **свадьбе-поводе** для сведения **счетов** между двумя цыганскими кланами, продолжается **реальной и прозаической свадьбой** разочарованного главного героя и **кончается трагичной свадьбой** Ахмеда.

Свадьба становится ареной для испытания различных драматических стилей, театром всех человеческих чувств и взаимоотношений, заодно опережая их. Употребляя терминологию Ницше, можно говорить о **«вечном возвращении» к мистической свадьбе** почти во всех картинах боснийского кинорежиссера.

Когда отсутствует свадьба, появляется **полет** – другой путь «небесного посвящения». Счастливый Малик (из фильма *Отец в командировке*¹⁰) парит в лунатическом трансе, вероятно, в поисках отца, заблудившегося в чужих мечтах. Перхан возносится и опускается в полете – в минуты мистической свадьбы; Азра поднимается в левитации, когда умирает при родах. Стареющая Элейн (из фильма *Аризонская мечта*) упорно взлетает на старомодных аппаратах, сделанных собственными руками, чтобы не утонуть в будничной прозе; ее приемная дочь, Грейс, возвышается вместе с креслом к потолку, улыбающаяся и неземная, в свою единственную минуту счастья: когда понимает, что любит. Даже «плоско-поверхностный» Лео сворачивает к Луне, правда, не без посредничества скорой помощи, в кардинальную минуту своей жизни – смертельный инсульт, – чтобы войти в Аляскинский сон своего племянника Аксела.

Мотив небесной свадьбы и полета является самым глубоким мистическим порывом кинорежиссера, настолько же неосознанным, как и его искренняя **жажда Бога**. Эта жажда расходуется, как когда-то у древних фракийцев, в песнопениях, нескончаемых торжествах, дионисийском опьянении. Музыка, танец, празднество – это великие поводы для **прощения**, примирения¹¹ и **братания**, когда все – «добрые» и «злые», живые и мертвые, преданные и предатели (смотри замечательную притчу из конца *Подземелья*) – покидают драматургическую условность фильма, радуясь вместе не вечернему празднику космического банкета – свадьбы. Вот конкретное знамение **христианского преображения праздника**, возвращения античной дионисии к ее первоначальной сути: мистического пира воссоединения человечества с Богом. Все это происходит на синкретическом фоне, свойственном фольклору.

Мистическая свадьба Перхана – онирический момент, углубленный до пределов архаичности и сверхличного коллективного подсознательного, – намекает на языческие ритуалы очищения (ритуальные омовения, горящие факелы над водой, иератические позы героев), не свойственные цыганским жестике и обычаям. Кадр, изначально настроенный на Перхана (обнаженного до груди, обнимающего любимого индюка), медленно поднимается на фоне одинокой красной глиняной горы¹² на закате (внушая чувство мистического возвышения), потом медленно опускается¹³ в прибрежную рощу темной реки с горящими факелами, теряет Перхана из виду одновременно с углублением камеры в широкое русло реки, населенной празднующими людьми (погружение в незапамятные края счастливых предков?...). Это торжество всех. Ночь, вода, любовь, горящие факелы... Нет, это не праздник языческой любви из *Андрея Рублева* Тарковского, это не ритуал освобождения инстинктов, а **торжество святой любви**, единого обета: Азра татуирует возле сердца имя своего суженого, длинная свадебная вуаль извивается на воде, Перхан окунается в мутную воду для встречи с любимой. Безмолвные старики, отцы и дети, вся родня (живые и мертвые) пришли со свечами и гирляндами цветов, расселись по берегам или в украшенные лодки, чтобы поздравить новобрачных и присутствовать на их свадьбе.

Нельзя не отметить взаимосвязи между магической свадьбой (одна из самых эмоциональных сцен фильма) со **свадьбой мистической**¹⁴ – другим элементом коллективного балкано-карпатского, возможно, даже индоевропейского подсознательного. Перхан умирает в конце фильма как нереализовавшийся юноша, убитый врагами в результате столкновения, вызванного ссорой за имущество. Его мщение Адмеду – вопрос чести, в большей степени обязанность перед кланом, чем личная расплата. Хотя бы сейчас Перхан должен доказать свое мужество; но даже сама месть заглушена наивностью и не утраченной частицей душевной чистоты, так как Перхану продолжают сниться сны: «Цыган без сновидений – это как церковь без крыши» – пишет он своей бабушке Хатидзе. Его невинность (особенно выявленная эмпатической связью с индюком и паранормальными силами – знак принадлежности к горному миру), вместе с трагическим итогом и мифическим

фоном повести, делают Перхана героем **эпопеи** – одной из немногочисленных оригинальных киноэпопей всех времен.

5. Райские мотивы

Художник интуитивный, не имеющий явного религиозного вероисповедания, с помощью своих сценаристов (особенно Гордана Михича, Душана Ковасевича, Дэвида Эткинса) Кустурица **раскрывает великие мифы человечества** эмоциональным способом, через собственный художественный опыт. Рай его фильмов – это **рай языческих мистерий**: проникнутый очарованием, не ведающий разницы между добром и злом, дохристианский, это **первобытный рай человеческого детства**. Повергнутый судьбой, впавший в грех по неведению зла, несозревший в вере, наивный и торопливый, его герой принимает страдание безропотно (в этом – его невинность), но и без понимания его спасительного значения.

Из **таинств святости** Кустурица выбирает невинность; из Евангельских Блаженств – нищету духа, чистоту сердца, плач, кротость. Смех сквозь слезы, неупрекание ближнего, беседа с животными – это их непосредственные плоды. Где-то, к зениту, видна Земля кротких и блаженных, возвеличенная в песнопениях, ярких музыкальных звонах, танцах и веселье. Великие добродетели: терпение, воздержание, самоотверженность, здравый смысл – принадлежат зрелости, это – испытания взрослых. Будем их искать в фильмах других!

Самый явный райский мотив, одновременно брачный и загробный, это – **свадебные вуали**. Средство передвижения в другой мир, они также – знак переселения души, ее космической свадьбы, тень призрака, предвещание или эхо иного бытия. Данира, сестра-калека Перхана, видит покойную мать (умершую при родах) в свадебном платье, сопровождающую в полете автомобиль по злосчастной дороге в Италию. Прежде чем умереть (тоже при родах), невеста Перхана теряет свой свадебный венец и вуаль, которая становится все длиннее и длиннее, возвышаясь к небу под силой ночного ветра, элегически предсказывая душевный путь молодой женщины. Йелена, невеста сына Йована

из фильма *Подземелье*, «летает» в свадебном платье вокруг праздничного стола, с помощью рукодельного механического устройства; гости смотрят и благоговейно касаются ее, будто небесного существа...

Но **небесные существа**, подобно тяжелым ядрам, быстро умирают в фильмах Кустурицы, не выносят долгого пребывания на Земле, скоро «дезинтегрируются», торопясь найти свой исток (смотри миф вечного возвращения), и Йелена, в отчаянии от потери жениха, окунается в глубину колодца, чтобы пополнить ряд мечтателей-самоубийц.

Говоря о знаках кустурицкогорая, невозможно не говорить о **смерти**. В картинах боснийского кинорежиссера умирают красиво, смерть – это Великая Встреча, она происходит в звонах духовой музыки, это грандиозный или трагикомический, искусно поставленный спектакль. Неудачное самоубийство становится навязчивой идеей. Смерть ассоциируется с цирковым представлением, с пьянством, с комедией-буфф. Но это шутовство скрывает страх смерти и, тем самым, способствует отказу от Великой Встречи. Парадное самоубийство – материализация этого отказа: путем мнимой доблести, прикрывающей неудачу, незрелое существо самовлюбленно пытается сохранить свою незрелость. Вечный подросток не поймет тайну Великого Переселения, а Настоящая Встреча с Богом (повод для ужаса, а не радости для неполноценного существа) в итоге потеряна.

Группа мечтателей из фильма *Аризонская мечта* беседует с юношеским восхищением о предпочтительном виде смерти. Для бойкой и земной Элейн смерть связана с осуществлением детской мечты о полете. Эфирная Грейс (для которой невесомость – нормальное состояние), напротив, жаждет надежности земли: она мечтает перевоплотиться в черепаху, «потому что они счастливые и живут вечно». Древнейшее животное, поддерживающее Вселенную в космогонических мифах многих народов, черепаха – символ мудрости, таинственности и бессмертия¹⁵: видимо, молчаливая Грейс имеет некое предчувствие райского счастья, но спешка в стремлении его достичь ведет ее против «тайн черепахи»: нажимая на курок, Грейс лишает себя и любви, и шансов взросления на этом свете...

Василе Ловинеску цитирует сказку Петре Испиреску, в которой Фэт-Фрумос¹⁶ обручается с Черепахой – символическим существом, в котором румынский эзотерист видит Персефону, богиню смерти и преисподней¹⁷. Вспоминая краткий период глухоты в своем детстве, Аксел признается, что ему «*понравился бы немой мир*». Безмолвная «Персефона» Аризонской пустыни чувствует свое тайное сходство с Акселом, но тот, стоя на пороге входа в «соляренный возраст» (по этой причине он выбирает Элейн), не хочет возвращаться в лунные слои своего детства, которые как раз старается перебороть. Не находя своего любимого, Грейс-«Персефона» обязана возвратиться в преисподнюю, из которой явилась. Поэтому ее смерть не имеет серьезного трагического отклика в диалектике фильма, а играет только роль «опускающегося витка» постоянного становления (в смысле тех же Диониссийских Мистерий).

Смерти Азры при родах сопутствует внезапный перенос ночного фона большого города за ее спиной, под ошеломленным взглядом Перхана; световой фон начинает двигаться все быстрее и быстрее, как скорый поезд, в то время как лежащее тело Азры поднимается в воздух, наряженное в то же свадебное платье; все городские святилища сливаются в одно пятно, будто траектория кометы¹⁸... Время мчится все быстрее – знак перехода в другое измерение, вещи вокруг движутся с головокружительной скоростью, как заведенная карусель, чтобы погрузиться в бесконечность... Так же умирает чудак Бата, юродивый калека (из фильма *Подземелье*), под прищелком своей сестры Натальи, которая рассказывает ему «Приключения Алисы в Стране Чудес». Бата признается ей, что ему только что приснилась Страна Чудес, куда вела его их покойная мать; там они **разговаривали «с птицами, с бабочками и с животными»** и направлялись к **«большой свадьбе»**. «Все были там: бабка Юлка и дед Сава... Мне там будет хорошо»...

Мифы древних народов рассказывают, что до Библейского эпизода воздвижения Вавилонской Башни на земле говорили на одном языке. Традиции утверждают, что это первоначальный говор Рая, речь первобытных людей, ангелов и животных. В представлении Кустурицы, люди невинные, подобно мудрецам, трубадурам и героям сказок, владеют «птичьим» и ангельским языком. Перхан

неразлучен со своим белым индюком, которого завораживает заветными словами: «птица окрыленная и любимая!». Аксел (из *Аризонской мечты*) читает в душе рыб, которая намного глубже человеческой.

Непорочность и простота духа открывают нам общение с невинными существами – ангелами и животными. Это знак избранных Рая – говорят Св. Сергей Радонежский, старец, разговаривавший с дикими животными, Франциск Ассизский, проповедовавший птицам, и другие ведомые и не ведомые нам блаженные.

Нигде режиссер не проявляет интереса к библейской археологии или религиозной символике. И все же, на фоне элементов архаического восприятия, выявляющихся на каждом шагу в самые эмоциональные моменты (которых достаточно), нередко просвечивает **христианская идея**. Самым поразительным оказывается при этом **символ рыбы**¹⁹.

«Есть такое, что только рыбы могут нам показать, и я люблю их за это», – объясняет Аксел свое восхищение этими безмолвными существами глубин. «Иногда смотрю рыбе в глаза и вижу всю свою жизнь». Одаренная определенной буддистской мудростью, «рыба не нуждается в том, чтобы думать, потому что она ведает все»: она совершенна!

В *Аризонской мечте* загадочная рыба-камбала плывет в воздухе и в воде, переходит из ирреальности в будни, охраняемая «Аляскианской Мечтой» Аксела. После дебюта в виде ужина, рыба-идеал переходит в поэтическое измерение, чтобы подчеркнуть великие душевные победы и катастрофы, нежно входит в сон Аксела, принимает воззвания двух спящих влюбленных женщин, переплывает через пустыни и реальные техасские города, грациозно пересекает интерьер розового Кадиллака дяди Лео (одна мечта подмигивает другой!), позволяет уловить себя в проруби лжеэскимосам Акселло и Лео и вновь освобождается, чтобы продолжить свой извилистый путь к небесам: «Мечту нельзя остановить!»

Средство общения между земным и онирическим миром, рыба доставляет мечту в реальный мир, не тревожа его, помогает ей осуществиться, после чего удаляется вновь в небесные края, сохраняя свою непорочность и унося с собой в Рай мирскую тоску. Ее «премудрость» больше, чем буддистская! Пока мир вмещает в себя

парение мечты, пока он принимает обновление **благодати**, он не потерян. Подобно благодати, кроткая рыба посещает непорочные души, жаждущие идеала, и сторонится тех, кто довольствуется мирскими наслаждениями (сноба Поля Леже посещают только мухи, но никогда рыба-камбала!). Животное, ведущее души (психопомп), средство передвижения между физическим и метафизическим миром, рыба соединяет то, что человеческий рассудок и гордыня разъединяют, она охраняет мирское от провала в собственную пустоту и эгоизм, предлагая ему спасательный круг непорочной мечты, но ускользая каждый раз за пределами рассудка. Мечту невозможно поймать, Духу Божию не может воспрепятствовать человеческая воля, Он «дышит, где хочет», благодать долго не задерживается во прахе...

В поисках юношеского, поспешного переживания бытия, определения собственного *Я* по отношению к мечте – то есть, к иному миру – *бильдунгсроманы* Кустурицы (ведь речь неизменно идет о возмужании) косвенно намекают на нравственные и особенно на мистические аспекты христианского опыта, все же явно не достигая христианского догмата.

Часто в искусстве между проектом и его осуществлением – большое расстояние, а «крылья музыки» могут унести намного дальше проекта, поскольку всегда *труд – это сотрудничество*.

На первый взгляд, картины Кустурицы ведут не к церкви, а прямо в трактир! Только шумная компания бушующих гуляк внезапно ускользает в сказочный край, где сияет синее небо, где играют большую свадьбу, и солнце никогда не заходит. Все приглашены! живые и мертвые, люди всех мастей, которые только что не могли остановиться в драке, и вот уже прощают друг друга и заводят братский хоровод, радуются и танцуют, счастливые, и всему этому нет конца. Не Рай ли это?...

Румыния

От составителей. Опубликованный выше материал нашего автора Елены Дульгеру – часть её монографии «**Образ Рая в восточно-европейском кино**», которая совсем недавно была сдана в печать. С нетерпением ожидаем выхода книги!

Анатомия мифа



Леонид Лопатин**ЖИТЬ ВО ЛЖИ****Советское образование и воспитание в
пятидесятилетних наблюдениях
школьника, студента, учителя,
профессора****Вступление**

В компании друзей встречали новый 1980 год. Под очередной тост мой школьный товарищ Александр Рядинский в стиле «вот бы» помечтал о встрече с нашими одноклассниками. Однако надеяться собрать людей через 18 лет после выпуска (1962г.) было делом малоперспективным. Тем более, что мы с ним жили в Кемерово, а наша родная школа №84 находилась на железнодорожной станции Калзагай в г. Киселевске. Теперь это Красный Камень.

Было бы желание. Как ни удивительно, но мы вскоре разыскали почти всех. Чьи-то адреса знал соклассник Владимир Власов (учитель), кого-то разыскала Вера Тимченко (референт пожарной части), также жившие в Кемерово. И уже на майские праздники в Калзагай съехалось полкласса. Через два года, на двадцатилетие выпуска, нас заметно прибавилось. Потом мы ещё не раз устраивали такие встречи. А в 2004г., на 42-й годовщине нашего выпуска, решили встречаться ежегодно. Этому способствовали любезность и гостеприимство директора школы Ольги Ильиничны, работающей в этой должности с 1963г., и завуча Тамары Константиновны.

На этих встречах не было только двух человек. Светлану Фоменко не удалось разыскать. А Владимир Арыков (один из наших двух серебряных медалистов) почему-то упрямо отнекивался.

В нашем 10-м классе училось всего 15 человек. Конечно, это не очень много для того, чтобы разыскать их и поддерживать с ними постоянную связь. Но, проработав 40 лет преподавателем (2 года в школе, 38 – в вузе), прочитав или пролистав тысячи книг и даже написав почти десяток своих, я что-то не могу припомнить случая подобной школьной корпоративности.

Ложь обойдет полсвета прежде, чем правда успеет
надеть башмаки.

Английская пословица

В чем тут дело?

В ответе на этот вопрос легче всего сбиться на идеологический штамп в духе «ностальжи» о будто бы замечательной советской педагогике, как первопричине такого школьного братства. Можно пытаться объяснять и особым временем, будто бы временем советского энтузиазма, патриотизма и коммунистического строительства. Тем более, что именно нам, за полгода до нашего выпуска, КПСС торжественно обещала (на XXII съезде в октябре 1961г.), «что нынешнее поколение будет жить при коммунизме!». Объяснять отзывчивость нашего класса можно и другими словесными красотами, привычными советскому человеку наших лет.

Можно! Но почему же тогда у моего брата Геннадия и брата моего одноклассника Виктора Силиника Антона, учившихся всего на один класс старше нас, за четыре десятка лет ни разу не возникло даже позова к подобной встрече? Не было его и у одноклассников моей сестры Лидии, закончившей эту же школу в 1959г. Точно также не проявился подобный интерес и у другого моего брата Володи, выпускника 1967г. Не было его также и у самого нашего младшего брата Виталия, окончившего школу №17 в 1972г. Не уверен, что они хотя бы помнят по именам своих одноклассников.

Если нельзя однозначно ответить на вопрос о первопричинах сплоченности нашего класса, которая не померкла с годами, то не следует ли хотя бы поразмышлять о том времени и его людях?

Жить во лжи

Что это было за время? Один из организаторов последних двух наших встреч Николай Мазин (Почетный шахтер и железнодорожник) как-то сказал, мол, мы такие «взрослые», что по своей жизни знаем всех советских вождей, кроме Ленина.

Действительно, лично я запомнил даже Сталина. Своим дошкольным сознанием воспринимал его как нечто священное, грозное и нечеловечески большое. Мать внушала нам, что Сталин всех нас знает и заботится о нашей жизни. Говорила о нем почти как о Боге, который, мол, всё видит. На всякий случай, боясь неотвратимого родительского наказания, я старался не делать чего-то

запретного, памятуя о всевидящем оке Сталина. Выглядит, конечно, глупо. Но так было!

Уже ребенком я знал, что в Бога верить нельзя. Но я почему-то сомневался в том, что Сталин действительно, как говорила учительница, не справляет самый любимый нами праздник – Пасху. Ведь это был единственный день в году, когда всякую вкусную еду можно есть досыта. Не верил, что найдется тот, кто может отказаться от «стряпушек» и молока (вволю), мяса, яиц (по счету). В нашей семье хоть и была корова, но молоко мы пили только по субботам – каждому лишь по стакану. В остальные дни молоком только «забеливали» чай. Молоко сдавали либо по налогу, либо продавали, чтобы иметь прибавку к отцовской скромной зарплате железнодорожного мастера. Так что продуктам, кроме хлеба, картошки и капусты, цену мы знали великую.

Когда в марте 1953г. Сталин умер, я учился в первом классе. Семилетняя школа №17, в которой мы учились до седьмого класса, располагалась в одноэтажном бараке длиной метров 70. Коридор был настолько узким, что два человека в нем едва могли свободно разойтись. И вот по всей длине этого коридора лицом друг к другу в два ряда стояли ученики с учителями и плакали. Говорили всякие горестные речи о Сталине.

Память ребенка, конечно, не сохранила содержание тех речей. Но ощущение самого события я запомнил. Было чувство какой-то безысходности и неминуемости надвигающейся беды. Без полубога Сталина, который спас нас от немцев и спасал от ненавистных капиталистов, люди не знали, как им жить дальше. Я ощущал, что горе было всеобщим и безутешным не только лично по Сталину, но и по собственной жизни каждого, вдруг подошедшей к концу из-за неотвратимости всеобщей катастрофы.

Таково было восприятие ребенка, видевшего плачущими строгих учителей и растерянных учеников. Шестиклассники и тем более семиклассники казались мне тогда взрослыми дядьками и тетками. Кстати, многие из них таковыми и были, ибо по обычаям того времени могли оставаться на второй или третий год в одном и том же классе по нескольку раз.

Каково же было мое изумление, когда, придя домой, я увидел мать, спокойно занимающуюся домашними делами. Пришедший

с работы отец тоже почему-то не всхлипывал, как наш директор Семен Михайлович Буденный – полный тезка советской знаменитости. Родители, конечно, говорили о Сталине, но не плакали. Это помню точно. Правда, мать, делала плачущее лицо, если приходила соседка. Не помню, чтобы я видел и рыдающих соседей, которые, видимо, не считали нужным изображать вселенскую скорбь перед соседским пацаном у себя дома. Думаю, то был мой первый урок политического двуличия, вполне стандартного для социалистической системы.

Через 20 лет, учась в аспирантуре МГУ, я читал мартовские 1953г. номера газеты «Правда» в библиотеке им. Ленина (главном книгохранилище страны). И уже не очень удивился, когда обнаружил, что с конца марта газета вообще перестала писать о Сталине. Этому имени не оказалось в традиционных праздничных майских призывах и здравицах ЦК КПСС к советскому народу.

Потому-то я и задаюсь вопросами:

– А была ли действительно велика всепоглощающая скорбь народа по Сталину?

– Если была любовь к нему искренней, то почему же народ так легко позволил власть предержащим быстро забыть о своем кумире: через 20 дней – в газетах, через 3 года – официально (на XX съезде КПСС)?

– Может быть, любовь и скорбь были не столь глубокими? Что и позволило Хрущеву безбоязненно критиковать культ личности Сталина.

Думаю, представление о будто бы всепоглощающей любви современников к Сталину сильно преувеличено пропагандой. Ведь тогда добрая часть нации сформировала свое жизненное мировоззрение отнюдь не в 30-40-е годы – годы безудержного восхваления «вождя всех времен и народов». Эти люди своим природным чутьем не могли не ощущать лживости советской власти и её вождя. Похоже, такое ощущение они и проявили в первые месяцы войны, в массовом порядке сдаваясь в плен немцам. Астрономическую цифру в 3,8 млн. пленных к концу 1941г. можно интерпретировать, как нежелание людей воевать за террористическую власть и её вождей.

Трудно поверить, чтобы за какие-то 20 лет человек 30-40-х годов легко забыл и простил издевательства советской власти над собой. Забыл, как эта власть во время коллективизации лишила его родины (своей деревни) и «горбом нажитого» имущества. Забыл физическое уничтожение его близких во время массовых репрессий 30-50-х годов. Не поверю, будто бы советский человек не понимал, что именно власть заставила его жить в нищете и дважды пережить голод (1932-33гг., 1946г.). Трудно представить, чтобы человек забыл притеснения властей и вдруг за кратчайшее время стал горячим и сердечным их сторонником. Тем более в Кузбассе – крае ссыльных кулаков и бывших «зэков».

Убежден! Советский человек все эти годы просто-напросто боялся «своей» «рабоче-крестьянской» власти! Он опасался многочисленных секретных сотрудников (сокращенно – сексотов) – доносителей. Потому он и изображал вселенскую скорбь по «вождю всех времен и народов». Хотя полностью отрицать искренность горестных чувств многих людей не стану. Но и преувеличивать их не буду.

Что такое 20 лет в жизни человека? Сегодня, в 2005г., давайте вспомним себя в 1985г.? Давно ли это было: первый вменяемый глава государства, выступающий без бумажки; первые слова полуправды «Прожектора перестройки»; начало антиалкогольной компании. «Было как будто вчера», – обычно говорится о таком близком времени. Точно также и в год смерти тирана жертвы коллективизации и репрессий должны были отчетливо помнить трагедию своей жизни. Если люди не помнили, если они успели забыть свою растоптанную судьбу, то почему же власть боялась мобилизовать «спецпереселенцев» на фронт, страшилась давать им в руки оружие, использовать их против немцев?

Как историк, смею утверждать, что не могли все советские люди искренне оплакивать Сталина, несмотря на особое и специальное возвеличивание его имени во время недавно прошедшей войны. Не может быть аргументом будто бы всеобщей и всепоглощающей скорби по вождю и факт массовости шествия людей во время похорон. Конечно, там было много искренне скорбящих. Но ещё больше любопытствующих. Но самое большое число людей было согнано администрациями предприятий, домкомами и пр. советскими структурами на те похороны.

Большевики ещё в 20-е годы (не говоря о 30-х) научились проводить такие «мероприятия» «всеобщей» скорби. Яркой иллюстрацией к этому стали воспоминания Народного артиста Георгия Степановича Жженова, рассказавшего о своем старшем брате Борисе, которого репрессировали (расстреляли) за то, что он пытался «отпроситься» у комсорга своей студенческой группы с похорон С.М. Кирова в декабре 1934г.: ботинки были порваны и ноги замерзли.

Не сомневаюсь в искренности скорбных чувств многих людей по умершему Сталину. Но не сомневаюсь и в «показушности» их изъявления. Одно дело – внешне соответствовать продиктованному властью ритуалу оплакивания вождя. Другое – внутренне отвергать его памятью предков, как глубинной сутью национальной культуры. Отвергать и надеяться на перемены.

Впрочем, говоря о реакции людей на смерть Сталина, как о своем первом уроке политического двуличия, я не точен. Смерть Сталина была не первым таким уроком. До этого у меня был ещё один запомнившийся урок. И тоже связанный с вождем. Когда в сентябре 1952г. я пришел в первый класс, мне было всего 6,5 лет. Как считают психологи, в возрасте до 7 лет ребенок ещё не утратил биологической связи с матерью. Любовь к матери – это его защита, его опора, его уверенность на всю жизнь. Разрыв с нею в эти годы для него психологически травматичен. Без этой связи человек вырастает с могучими комплексами, выражающимися часто в немотивированной агрессии против окружающих.

И вот такую-то кроху учительница учила правильно отвечать на вопрос – кого он больше всего любит? Кроха-то знал, что больше всего на свете он любит папку (по-сибирски – с «ка») и мамку. Но он должен был отвечать, что больше всего любит Сталина. Это и был мой первый школьный урок «жить во лжи»? Никто в таком возрасте не может любить какого-то идола больше, чем родителей. Это противоестественно природе человека. Но в СССР ребенок с раннего детства приучался чувствовать одно, а говорить требуемое (учительницей, властью, начальством).

Такими словами «жить во лжи» писатель А.И. Солженицын исключительно точно сформулировал образ жизни советских людей, культивируемый коммунистической партией и советской

властью. И школа была, как говорится, на передовой в воспитании нового человека, человека, постепенно отрывающегося от российской национальной культуры, человека, думающего одно, говорящего другое, а делающего третье. Так и формировались люди, по выражению писателя Юрия Нагибина, с «запечатанным ртом». «Мы росли и воспитывались, – писал он, – в искусственной среде, разрываясь между молчащей правдой дома и громкой ложью школы, пионеротряда, комсомола».¹

Значительная часть россиян, убежден, пыталась сохранять человеческое лицо, собственное достоинство. Но в государственной системе террора это было исключительно опасно. Потому люди старались стать максимально незаметными. В следующем послесталинском поколении это стремление к незаметности вылилось в формирование гражданской индифферентности. Потому самой расхожей присказкой 70-х – начала 80-х была фраза – «до лампочки». И когда в 90-е годы настали времена гражданской активности, проявлять её оказалось и некому. Все сидели «по кухням». Потому-то крыловский кот Васька (власть) слушал единичных демократов и спокойно ел, смотря с ласковостью сытого зверя на этих чудом сохранившихся от растоптанности людей.

Став учителем истории в 1966г. и членом КПСС в 1968г., я сам участвовал в формировании такого образа жизни. Ах, как на своих уроках я возвеличивал Октябрьскую революцию 1917г! Не понимал, что это был лишь политический переворот по захвату власти, который положил начало 75-летней Смуты и предопределил потерю Россией XX века.² Не понимал я, что это было не «начало новой эры в истории человечества», а начало 75-летней катастрофы, из которой страна так трудно выбирается вот уже 15 лет. Разве я не врал детям о свободном и творческом труде при социализме, скрывая от них принудительный труд колхозников, спецпереселенцев, завербованных, трудармейцев, да и просто рабочих, вынужденных трудиться за паек и унижительно низкую зарплату. Не является утешением то, что делал я это искренне. В силу своей тогдашней научной и политической необразованности не понимал сути проводимого над моей страной социального эксперимента.

Почти в каждой теме по советской истории выливал своим школьникам, а с 1969г. студентам мединститута, столько вранья и идеологической глупости а ля Швондер, что стыд за себя не прошёл до сих пор. Прискорбно, но огромная часть преподавателей школ и вузов и в XXI веке сохранила свои советские идеологические стереотипы. Считающиеся профессионалами, многие учителя не стесняются своей угрюмой невежественности. В том числе и историки. Радуются тому, что в современной политической обстановке отказа от либерализма (с 2000 г.), возвращаются их любимые времена, времена циничного вранья и страха.

А возвращаются те времена потому, что «разруха в головах», о которой говорил булгаковский профессор Преображенский, не преодолена. Её преодоление возможно только на путях всеобщего покаяния за коммунизм, в котором виноваты не только вожди, но и, по сути, все советские люди. Люди могли бы, во-первых, осознать и признать собственную сопричастность к насилию, к коллективизации, репрессиям, а главное, к всеобщему вранью. Во-вторых, они могли бы своей активной гражданской позицией не допускать возвращения во вчера.

Однако покаяния не состоялось. Что и позволило власти вернуть сталинский гимн, красное знамя (в армии), военно-промышленный комплекс, мощь КГБ и даже руководящую роль партии под другим некоммунистическим названием. Теперь вопрос о либеральных реформах решит время. Пока советское поколение не уйдет из активной жизни, возвращения России к цивилизации не произойдет. А.И. Герцен в позапрошлом веке говорил, что для преодоления рабства нужно два не поротых поколения. Но и после «не поротого» поколения долго будет продолжаться оздоровление страны, так как молодежь воспитывают люди, не преодолевшие разруху в головах. Потому-то некоторые философы и относят полное выздоровление России лишь к 2080г.³

Говорю это с горечью и со знанием собственного педагогического вклада в дело коммунизма. Работать в школу я пришел после окончания Кемеровского педагогического института, когда мне только что исполнилось 20 лет (в марте). Если бы по юношескому недомыслию я врал только на уроках! Приведу характерный пример вранья и стандартной советской трусоватости. С учениками

мы осенью 1967г. копали совхозную картошку. Такова была советская традиция, устоявшаяся в поколениях из-за экономической неэффективности колхозно-совхозного производства.

Как всегда бывает при любом принудительном труде, ученики копали с ленцой. Не всегда разрывали гнезда, довольствуясь картофелинами, лишь выдернутыми с кустом. Я, разумеется, делал своим восьмиклассникам положенные замечания и говорил им правильные слова о трудовой чести, бережливости и пр. Но сам-то знал, что в подобной ситуации и я недобросовестно работал. Так же работали и родители учеников, которых постоянно «гоняли в колхоз» на сев, прополку, сенокос, уборку, сортировку и пр.

В один из таких «колхозных» дней на моих детей верхом на коне налетел какой-то совхозный начальник, ругался матом, орал о народном добре, размахивал плеткой. Пришлось мне вступить с ним почти в физический конфликт. Ученики потом долго «гудели» по этому случаю. А я перед ними пытался защитить «честь мундира» того взрослого хулигана, внушая, что будто бы тот радел за общественную собственность. Это были ложь и лицемерие. Хам – он и есть хам, чем бы ни было вызвано его поведение. И об этом надо было говорить ученикам прямо, а не выкручиваться в пользу установившегося советского правила о всегдашней правоте начальства.

История эта имела неожиданное продолжение. Как-то на уроке, при изучении ленинской работы «Очередные задачи советской власти» о социалистическом учете и контроле, я говорил ребятам проникновенные слова о социалистическом добре и необходимости каждого заботиться о нем. И вдруг один неглупый ученик напомнил классу ту осеннюю историю с плеткой, сообщив, что недавно они с отцом во время охоты проходили на лыжах по тому полю и видели в кучах собранную нами, но так и не вывезенную совхозом картошку.

Разве я не знал, что приведенный учеником пример является типичным для социалистической экономики? Знал. Вот и надо было сказать о характерности этого примера бесхозяйственности в условиях социалистических производственных отношений, а не говорить будто бы об отдельных недостатках хозяйственников. Видел одно, а говорил другое. Преподавал ложь. А ученики мне

сильно верили, так как у них я считался хорошим учителем (прошу прощения за вынужденную нескромность). Какой урок гражданственности учитель преподавал ребятам? Под плетку броситься не побоялся, а перед советской системой вранья угодливо спинку прогнул. Смолчал, испугался.

Сколько подобных случаев вранья и «прогибов» было в моей педагогической практике! Особенно тогда, когда надо было пропагандировать очередное «мероприятие партии и правительства», «доказывать» преимущество социализма над капитализмом. На днях получил письмо от своего ученика Юры Юрьева, окончившего в 70-е годы Военный институт иностранных языков и полжизни проработавшего за рубежом. И вспомнил одну свою крупную, искреннюю ложь, адресованную именно ему. Юра учился в любимом мною 9«б». Этот класс почти весь состоял из таких, как он, звездочек.⁴ Кажется, по теме «загнивающего» империализма Юра высказал сомнение по поводу отставания технического прогресса при капитализме. В качестве аргумента он привел достижения западного автомобилестроения. В ответ я принес статью из журнала «Новое время», в которой автор, издеваясь над японцами, сообщал, что в начале 60-х годов они строили автомобили с нарисованной приборной доской.

Японцы действительно производили такие автомобили, находясь на самой первой ступеньке автомобилестроения. Где они сейчас? И где мы? Ученик видел тенденцию капитализма, а учитель нет. Почему? Не положено ему было говорить хорошие слова о капитализме. Во что бы то ни стало, он обязан был давать «ответь». Вряд ли ученики помнят ту мою доверчивую глупость и обман. Но я-то о них помню. Особенно тогда, когда сажусь за руль «Тойоты». Потом я не раз рассказывал своим студентам о том примере моей глупости и вранья. Страшно то, что вроде бы и не глупый человек, но искренне верил в свое вранье. И убеждал в нем своих учеников.

Поклон своим учителям

Замечал ли я такое вранье в своих собственных учителях? Не берусь говорить за других моих соклассников. Но мое детское и юношеское сознание не очень-то было способно дифференцировать

получаемую в школе информацию. Мы были воспитаны в уважительном отношении к взрослым и исключительной вере в учителя. Это, во-первых. Во-вторых, печатному слову учебника, на основе которого шло обучение, было принято верить абсолютно.

При расхождении информации, полученной от учителей и родителей, я принимал сторону учителей. Считал мнение родителей заблуждением и «пережитком мелкобуржуазной психологии». Так меня учили в школе. Борьбой с этими «пережитками» («мещанскими», «частнособственническими») была пронизана вся коммунистическая идеология. Вот этих-то «пережитков», вытравленных советской властью, как выяснилось потом, и не хватило советским людям для успеха либеральных реформ в 90-е годы.

Были ли у меня в школе любимые предметы? Любимыми – не могу назвать ни один из них. Нравилась литература, история. В 10 классе с охотой занимался физикой. Почему-то электричество и особенно оптика мне представлялись довольно увлекательными разделами знания. Не очень-то любил решать задачки по физике, но здесь они легко получались. А вот в 8 классе физику (механику) ненавидел. И всё, думаю, – из-за учительницы Ирины Рудольфовны, которая, похоже, сама физику не любила и преподавала её поразительно не творчески. Вся её физика сводилась к решению задачек и вычерчиванию графиков. Никогда не могла объяснить их пользу и назначение. По крайней мере, я не мог их понять, хотя и был из «средних» учеников. Такие учителя мне встречались, когда сам стал учителем. Это был тип преподавателя, ставшего таковым по стечению обстоятельств, тип учителя, «отрабатывающего часы».

В 9-м классе вдруг понял химию. «Виной» тому – Маргарита Ивановна⁵, которая преподнесла таблицу Менделеева так замечательно, что я потом не очень-то учил очередной параграф и запросто выкручивался (не меньше, чем на «4») в пересказе свойств элементов и решал задачи, подглядывая лишь в таблицу. В 8-м классе не любил историю. Её преподавал не то Александр Борисович, не то Юлия Семеновна, заставляя выучивать даты, главы о крестьянских восстаниях, войнах. Хотя они и считались в школе хорошими учителями, а Юлия Семеновна – очень хорошим. Видимо, поэтому, сам, став учителем истории, старался

не докучать классовыми восстаниями, датами и войнами. Как выяснилось в 90-е годы – правильно делал: история это вовсе не история классовой борьбы.

Вкус к литературе и истории привила Тамара Ивановна Белова уже в 9 классе. Преподавала она у нас всего один год, была нашим классным руководителем. Но того года, по дружному утверждению моих одноклассников, нам потом хватило на всю жизнь. Что же особенного она сделала для нас? Однозначно ответить не могу. Как не смогли ответить и мои соклассники, собравшиеся в 2004г. на 42-ую годовщину выпуска. Володя Власов предложил тост за Тамару Ивановну и напомнил, что на выпускном вечере мы договаривались свой первый тост поднимать за нашего замечательного классного руководителя.

Как помогла нам Тамара Ивановна определиться в порядочности и достоинстве? Думаю, что всё дело в её образованности и воспитанности. Для меня она была первым учителем, который не пересказывал свой предмет, а творчески преподавал его. Русская литература всегда была выражением культуры народа, его совестью, его духом. Благодаря советским писателям: Михаилу Булгакову, Андрею Платонову, Сергею Есенину, Анне Ахматовой, Борису Пастернаку, Ивану Ефремову, Александру Твардовскому, Илье Эренбургу, Александру Солженицыну, Ваарламу Шаламову, Василию Шукшину, Евгении Гинзбург, Юрию Трифонову, Борису Васильеву, Василию Быкову, Василию Аксенову, Евгению Евтушенко, Андрею Вознесенскому, Виктору Астафьеву и многим другим известным и менее известным авторам, литература сохраняла в советских людях гражданственность. Через правду жизни писатели пробивались к сердцу заидеологизированного советского человека, подрывали в его сознании коммунистическую ложь. Потому-то все советские вожди так внимательно относились к творческим людям, ограничивая их деятельность строгими рамками цензуры.

Прав писатель Анатолий Приставкин, считавший, что у хорошей литературы есть один необычайный признак – к ней надо прикоснуться.⁶ И ты уже приобщаешься к чему-то главному в жизни. А Тамара Ивановна дала нам возможность прикоснуться именно к литературе, а не литературоведению, фактически

преподаваемому в школах. И это было в то время, когда вся страна увлекалась чтением а ля «латиноамериканос» книжек типа «Сильные духом» (Медведева), «Кавалер Золотой звезды» (Бабаревского), «Белая береза» (Бубеннова).

Не думаю, что все ученики Тамары Ивановны потом всю жизнь активно общались с художественной литературой. Допускаю, что за прошедшие сорок с лишним лет не все мы уж очень часто читали хороших писателей. Но всем нам хватило и того школьного прикосновения к настоящей литературе, чтобы строить свою жизнь с позиции порядочности и ответственности, иметь вкус на хорошее, оценивать людей не по их разговорам, не быть нахлебником у родителей и общества, жить самостоятельно.

Уверен, потому на наших встречах одноклассников и нет привычного для советского застолья нытья, а есть уверенность Почетных шахтеров или просто шахтеров (Николая Мазина и Александра Рядинского, Виктора Силиника, Владимира Саперова), учителей (Зинаиды Гутник-Харитоновой и Владимира Власова), инженеров (Галины Максимец-Ерошенко, Любови Польшиковой-Золотарева, Николая Черникова, Валерия Стоянова), агронома (Валентины Горбовой-Злочевской). Есть среди нас и врач (Анатолій Жигулин) и милиционер (Николай Брагин). Да и я свое научное звание добыл отнюдь не по благу. Мои книги есть во многих библиотеках мира. За мной признается приоритет в разработке научной тематики (рабочее движение 80-90-х годов XXв.), занимаюсь разработкой нетрадиционного для России жанра исторической науки «устная история» (oral history).

И в каждом из нас (не принижая роли собственных родителей) есть гражданская частичка, воспитанная учителями нашей школы №84 станции Калзагай, в которую мы стали ходить после окончания семилетней школы. И особая частичка принадлежит Тамаре Ивановне Беловой.

Учась в годы хрущевской «оттепели» в Горьковском университете, Тамара Ивановна не могла не получить нравственного заряда эпохи постсталинского обновления. Получить и нести его своим учительством. Вот потому-то в ней и было то «настоящее» от русского учителя, учителя гимназии, интеллигентного человека. Не помню, чтобы она кому-то из нас читала нравоучения. Но

именно с её подачи мы поняли, что в жизни хорошо, а чего следует избегать как постыдного. Во всяком случае, я это понял. Уже 40 лет преподаю (в школе, училище, вузе) и, как минимум, стараюсь, по её подобию, избегать учительского занудства, чем так «славен» наш брат.

Нам только дай повод повитийствовать о «плохой молодежи». А потому молодежь и «плохая», что теряется, обнаружив своим обостренным чутьем ложь властей, родителей, учителей. Теряется и совершает эпатажные поступки, не будучи пока способной понять несправедливые и могучие корни той лжи. «Почему вы, учителя, говорили нам одно, а во взрослой жизни мы увидели другое?», – упрекала меня моя ученица Галя Жаденова на встрече одноклассников, куда они пригласили и меня через года три-четыре после окончания школы.

Нас, окончивших школу в начале 60-х, воспитывали учителя, которые были продуктом ещё сохранившихся осколков великой российской национальной культуры. Мы же, начавшие учительствовать в 60-е, были уже почти стопроцентным продуктом советской культуры. Хотя сквозь советскую культуру и в нас нет-нет да пробивалась национальная культура. Но в нас была культура не только музыки Прокофьева, литературы Есенина и Платонова, но и культура Шарикова и Швондера – культура ханжества, страха, обмана, заискивания, поклонения идеологическим идолам.

Окрик или честь?

С учетом своего 40-летнего педагогического опыта категорически утверждаю, что через правду, честь и порядочность можно добиться воспитательных целей гораздо эффективнее, чем окриками или нравоучительными сентенциями. Расскажу случай. Как-то в начале 80-годов я проводил письменный опрос студентов. Чтобы они не списывали друг у друга, задания я давал по трем вариантам. Занятие проходило в лекционной аудитории, где студенты сидели на длинных рядах. Поэтому определить, кто какой вариант пишет, было затруднительно. На что один из студентов резонно заметил, мол, разве мы Вам дали повод унижать нас недоверием и подозрением в нечестности?

Совершенно резонно. Поэтому я всем дал один вариант. Когда же проверял работы, нашел несколько «парных» работ. Объявил фамилии и поставил «двойки» списавшим друг у друга. Выразил сожаление в нечестности отдельных студентов, непорядочно нарушивших договоренность между преподавателем и студентами. Самое интересное случилось потом.

В перерыве подходили «пары», признавались в списывании, извинялись за нечестность. Студенты просили поставить двойку именно им, а не тем, у кого они списали. Лишь в одной «паре» нашелся тип, который потребовал доказательств того, что работы одинаковые. Я, было, собрался выложить доказательства (их всегда легко обнаружить), но тут же остановился, заметив напряженное внимание всего потока. Неожиданно для себя взял у студента зачетку, расписался за итог семестра. Но попросил его больше не приходить ко мне ни на лекции, ни на семинары. И не здороваться со мной, дабы я автоматически не поприветствовал и его. С презрением сказал, что он, как человек без чести, моего приветствия не заслуживает.

Студенты хихикали и, шутя, поздравляли того студента с получением зачета месяца за три до окончания семестра. Об этом случае я вскоре забыл. Но на выпускном вечере через шесть лет его сокурсники сказали мне, что все годы учебы наблюдали за тем студентом, как за человеком без чести. И относились к нему соответствующе.

Я точно знаю – как ты относишься к людям, так и они – к тебе (ответная энергетика). В этом плане показателен случай из 1978г., рассказанный в 2005г. телезвездой Еленой Малышевой (ведущая программы «Здоровье»). Как бывшая студентка нашей медицинской академии она была приглашена на наш 50-летний юбилей. В своем тосте на банкете она напомнила о моей давнишней практике борьбы с «благными» студентами путем устной публикации фамилий тех, за кого на экзаменах «просили». Среди таких студентов оказалась дочка первого секретаря Прокопьевского горкома КПСС Коноваленко, получившая у доцента «хорошо», хотя ответила на «неудовлетворительно». Экзамен я аннулировал. Но вмешательство первого секретаря обкома КПСС Л.А. Горшкова (высшая власть!!!) вынудило меня объявить студентам на факультете о

действительности выставленной «четверки».⁷ «Мы поняли про давление на Вас, – сказала Малышева, – и, считая Вас самым честным преподавателем, возненавидели ту студентку».⁸

Вспомнил тот случай. И ещё более утвердился в понимании того, что же было самым ценным в педагогике нашего классного руководителя Тамары Ивановны Беловой. У неё не было фальши. У неё была культура юноши Михаила Лермонтова, гордо бросившего власть предержавшим гневные слова, как убийцам поэта, и уверенность в каре, которую те понесут на Божьем суде. Тамара Ивановна была искренним учителем. Отличалась от тех, кто говорил правильные слова, сам не веря в них. О чем она нам говорила, в то она сама верила с энтузиазмом честного человека. Потому она и многие её коллеги тех лет могли с достоинством и полным на то основанием говорить «Честь имею!». Хотя это приветствие уже не культивировалось со времени уничтожения царских офицеров и русской интеллигенции.

Могли ли мы, следующее поколение учителей, с такой же основательностью говорить эти гордые и достойные слова? Мы, которых приучили черпать кладезь мудрости в последнем выступлении Генерального секретаря ЦК КПСС? Мы, которых заставляли пресмыкаться перед каждой строчкой министерской методички? Мы, которых ни школьное начальство, ни горком с гороно ни во что не ставили? Мы, которые, выбивая зарплату в 90-е, могли месяцами не вести уроки, обрекая тем самым на вечное незнание своих учеников? Мы, которые стали с середины 60-х годов ставить «тройку» там, где надо было ставить «двойку»? Считаю, это был не только наш непрофессионализм. Это наше учительское бесчестие!

Не будучи до конца честными, мы не могли воспитать честных людей. Кто-то же воспитал строителей армянского города Спитака, дома которого просто рассыпались или сложились во время землетрясения 1988г.? Мой одноклассник Николай Черников руководил проектными работами по восстановлению этого города. Рассказывал, что такое произошло только с домами советской постройки: строители разворовали цемент, не доложили его в бетон. Строения царской постройки, по его словам, все выстояли, дали лишь трещины.

Кто воспитал тех воров и фактических убийц десятков тысяч погибших в той катастрофе? А кто воспитал тех, кто в начале 90-х годов ринулся на Запад, и криминализировал его? Преступников воспитало советское общество, советская школа, советская власть, советская культура. Чем дальше по времени от дореволюционной культуры, тем хуже становился человек.

Нам, выпускникам начала 60-х, повезло. У нас было гораздо больше настоящих учителей, чем у последующих поколений. Например, литературу наша Тамара Ивановна преподавала как-то «неправильно». На её уроках меня почему-то интересовали не образы Екатерины как «луча в темном царстве», или Онегина как «лишнего человека», а нечто другое. Об этом «нечто» в русской литературе, помнится, и я говорил своим 10-классникам на уроках истории, когда работал учителем. Потому в сочинении об Анне Карениной мои ученики такую нетипичность выдали, что моя коллега «литераторша» (замечательная учительница Анна Георгиевна Каноркина) в ужас пришла. И было от чего. Каренин у них превратился в положительного героя, а Анна – в отрицательного. Что противоречило трактовке учебников.

Из учителей нашей 84-й школы хорошо вспоминается Василий Васильевич Яковлев (завуч, потом директор). Какой он преподавал предмет, помню смутно. Кажется, – химию. Но преподавал он своеобразно, часто делая себя соучастником рассказываемых событий (например, ему, будто, лично показывали, как работает коксохимическое производство). Был участником войны. С каким-то внутренним удивлением рассказывал о поразительных свойствах организма не болеть простудными и прочими заболеваниями в экстремальных условиях войны. Был энергичным, стройным человеком, кажется, нравился женщинам. Что-то такое смутное ходило по Калзагаю о его мужских шалостях с молоденькими учительницами.

Учительница географии Ираида Ивановна Цветницкая хотя и была директором школы, но положенного по тем временам чувства страха к себе у нас не вызывала. Это было так удивительно по сравнению с той школой, из которой мы пришли в её калзагайскую школу. На уроках Ираиды Ивановны по экономической географии я получил свой первый урок самостоятельной исследовательской

работы. Каждый из учеников должен был написать реферат об экономике определенной социалистической страны. Поскольку социалистических стран было 14, а нас в классе – 15 чел., страна мне не досталась. Подумав, она вдруг сказала, чтобы я описал мой родной город Киселевск.

Вот тогда-то меня впервые поразило, что литературы может быть недостаточно даже для такого простого дела, как реферат ученика. Потом в исследовательских делах я не раз убеждался, что даже по набившему оскомину вопросу опубликованного материала может быть слишком мало.

С трудом тогда разыскал книжицу карманного формата о Киселевске. Читая эту книгу, я впервые удивился тому, что, оказывается, можно писать ни о чем. С юношеским максимализмом я отвергал пустоватые слова книжки и жаждал выполнить задание достойно и выдать конкретный материал. Попытался найти что-то в местной газете «В бой за уголь». Пришлось самому фотографировать примечательные места Киселевска, взяв для этих целей фотоаппарат «Смена» у соклассника Володи Саперова. Тогда и получил свой первый опыт фотографии. Самая первая моя фото-пленка получилась контрастной и качественной, о чем мне поведал знаток этого дела Саша Рядинский. Он и проявлял пленку. Мне лишь доверил промыть её после закрепителя. Я зачерпнул большим ковшом из котла, стоявшего на школьной печке, и вылил воду на пленку. Вода оказалась горячей, эмульсия смылась. А реферат пришлось сдавать без иллюстраций. Но Ираида Ивановна всё равно была довольна. В тот год она уехала в Междуреченск, где вскоре случайно погибла от колеса, оторвавшегося у грузовика.

«Немка» Мария Яковлева Черникова (родная сестра матери нашего одноклассника) преподавала язык так, что я знал его в школе лучше, чем потом через три года в институте. На вступительных экзаменах в пединститут и потом на госэкзаменах мне попало, помню, примерно одно и то же задание. На госэкзаменах я с ним справился намного хуже. В вузе почему-то давали не языковую практику, а грамматику.

Потом мне пришлось учить язык для сдачи кандидатского минимума. Мог поддержать незамысловатый разговор на

обыденные темы, слегка понять без словаря смысл газетной статьи, почти дословно (с листа) перевести детскую книжку. Я, конечно, понимал, что это не владение языком. Но однажды в аспирантуре, заполняя анкету, написал, что «владею со словарем». Мой аспирантский друг Володя Пшеничников, проработавший четыре года за границей переводчиком (судя по всему, – в разведке), посоветовал впредь не заявлять об этом знании. И пояснил, что люди, владеющие языком (даже со словарем), находятся на особом учете в КГБ. Иного и быть не могло в закрытой стране, в которой иностранные радиостанции глушились, туризм не поощрялся, иностранные книжки читать можно было только по спецразрешению, да и то, если они изданы не менее десяти лет тому назад.

С тех пор мне стало абсолютно ясно, почему советский школьник и студент не знают иностранного языка. Советских людей учили так, чтобы они языки не знали и не были распространителями «буржуазной пропаганды». Такое обучение радикально отличалось от гимназического. В дореволюционной гимназии выпускники должны были знать два иностранных языка в совершенстве (плюс – латинский и древнегреческий).

Вспоминается, конечно, классный руководитель нашего 10-го класса – Шляхта Нина Тимофеевна – симпатичная хохлушка (а ля Анастасия Заворотнюк). Её прислали к нам на станцию Калзагай после окончания Киевского университета. Она была старше нас совсем не на много (особенно Вити Силиника или Володи Власова – всего на четыре года). Преподавала она физику хорошо. Но как классный руководитель, до уровня Тамары Ивановны не тянула. На родительском собрании почему-то говорила родителям о нас хуже, чем мы были на самом деле. Во всяком случае, так было со мной. После каждого собрания я обижался на её необъективность. Видимо, она считала правильными действия того цыгана из анекдота, который колотил своего цыганенка ещё до того, как тот разобьет кувшин.

Учитель и родитель

Видимо, памятуя об этой несправедливости со стороны Нины Тимофеевны, став учителем, я говорил родителям на собрании почти только хорошее об их детях. Во-первых, мне было всего

20 лет. И не считал себя вправе поучать старших себя. Во-вторых, я не очень много знал о своих 35 подшефных учениках, будучи занят в две смены. Боялся обидеть родителей неточностью своих знаний об их чадах. В-третьих, был убежден, что о «корявостях» своих детей родители знали лучше меня. В-четвертых, считал, что публично говорить плохо об ученике – выставлять с плохой стороны его родителя. Иное дело – в личной беседе. Обычно на родительском собрании я всего лишь несколько минут говорил что-то о классе вообще и конкретных учениках, а основное время отводил лекциям по педагогике. У знаменитого классика А.С. Макаренко есть соответствующий цикл. Его-то я и пересказывал родителям, добавляя собственные иллюстрации из жизни школы и класса. Результат тут же сказался. Зная, что идут не на унижительную процедуру, родители моих учеников стали охотно приходить на собрания. А по требованиям того времени, родительские собрания должны были проводиться ежемесячно. И за их посещаемостью следила администрация школы, требуя вызывать персонально в школу каждого «прогульщика».

Это, а также что-то другое, привело меня к доверительным отношениям с родителями. И уже в конце первой четверти (конец октября) они посоветовали не выпрашивать у учителей хороших оценок их детям. При этом они сослались на такой опыт предыдущего классного руководителя моего класса – Софью Ивановну. Я очень поразился такой просьбе. Святая наивность! Я не знал, что в «борьбе за всеобуч» власть требовала с учителей подтасовки успеваемости.

Родителей я заверил, что выпрашивать оценок не буду. Что и сделал. Не мог представить, как бы такую бюрократическую пакость делали мои учителя из 84 школы, которую я закончил всего лишь четыре года назад. Но этих четырех лет, оказывается, хватило, чтобы в образовании пророс бюрократический маразм и неизбежная в таком случае учительская халтура.

И как же та халтура расцвела к тому времени, когда с 1972г. я «учился» в школе с сыном Олегом, а с 1979 г. с дочерью Наталией! К концу первой четверти учительница сына почти половине класса оформила документы для обучения в школе для умственно отсталых детей. И хотя Олега в этом «дурацком» списке не было,

я установил, что эта недоучка из-за собственного незнания педагогической литературы предъявляла к первоклассникам требования, которые рекомендованы для второклассников. Через семь лет у другой учительницы и в другой школе (№45) халтурная история случилась при обучении моей дочери Наталии. В первом классе малышка написала слово «медведится». А её учительница, исправляя ошибку ученицы, поставила между «т» и «с» мягкий знак. За что наш юморной сын иногда называл свою сестренку «медведицей».

Таких плохих учителей в моей 84 школе не было. Мы бы их знали. Не было откровенно таких плохих учителей и в Прокопьевской школе №51, где я учительствовал. Но основа для появления таких учителей создавалась уже тогда. Во всяком случае, моя практика не выпрашивать и не ставить незаслуженных оценок, обернулась для меня неприглядным рейтингом у администрации школы. Мой класс оказался тогда на последнем месте по успеваемости, хотя в предыдущем году он был на первом. По итогам школьной четверти больше всех «двоек» оказалось по моему предмету «история». Но выводов, нужных школьной администрации, я не сделал и в следующей четверти. Слово, данное родителям, держал. Оценки по истории не завывшал. И за полугодие получил примерно такой же результат. Администрация получила нагоняй в горно. Завуч, кажется, писала объяснительную.

Нельзя считать несогласие подтасовывать оценки моим осознанным сопротивлением школьному бюрократизму. Это была инстинктивная позиция человека, впитавшего порядочность своих учителей из школы №84 станции Калзагай. Именно от некоторых из них я перенял привычку стыдиться своей необразованности. После почти каждой прочитанной книги, просмотренного фильма, спектакля ощущать себя недоучившимся, малознающим и ленивым.

Кстати, на театральные спектакли мы впервые попали благодаря нашей Т.И. Беловой. Ту поездку в Прокопьевский драмтеатр я до сих пор вспоминаю как одно из самых потрясающе-праздничных событий в своей жизни. Нам, почти деревенским подросткам, хрусталь театра, его мрамор, ковры, бархат, живая музыка, игра настоящих актеров, – всё это казалось фантастически

неправдоподобным. Никогда в жизни я потом не ощущал такого состояния восторга от театра и актеров. Хотя мне посчастливилось побывать во всех театрах Москвы и многих других городов страны (Ростова-на-Дону, Куйбышева, Ульяновска, Уфы, Казани, Новосибирска, Томска, Кемерово и др.). Довелось видеть на сцене или участвовать во встречах с потрясающими актерами: Юрием Яковлевым, Михаилом Ульяновым, Ростиславом Плятом, Юлией Борисовой и др., лично общаться с прекраснейшими Маргаритой Тереховой⁹, Наталией Фатеевой¹⁰.

Репрессивная педагогика

Из семилетней школы №17, в которую я ходил первые семь лет, отчетливо помню только свою первую учительницу – Екатерину Игнатьевну Павленко, учившую меня в первом и втором классах. О первой учительнице обычно вспоминают восторженно. Но у меня восторга нет. Нет, наверное, потому, что эта молодая девушка была типичным продуктом советской репрессивной педагогики. По крайней мере, только это я о ней и запомнил.

Наверное, восторг от первой учительницы у меня был бы стандартный, если бы мудрость чтения и счета узнал именно от неё. Но чтение и счет я знал до прихода в первый класс: выполнял со своим страшным братом Геннадием его уроки. Хотя брат старше меня на 1,5 года, но в шестилетнем возрасте я был уже ростом с него, и младшим себя не считал. Потому, помнится, очень удивлялся, что ему разрешали ходить в школу, а мне нет. Плакал от этой «несправедливости». Узнав значение чисел, я «доказывал», что раз число 1946 (год моего рождения) больше числа 1944 (год рождения брата), то значит, именно я и есть старший брат, а он – младший.

Потому-то меня и отправили в школу на год раньше положенного срока. С директором родители договорились, что в список класса меня включать не будут. А когда, мол, мальцу надоест его каприз, и он перестанет посещать школу, в документах это не отразится. Но учиться я стал почти на одни «пятерки».

Память выносит из детства только яркие картины. От первой учительницы таким ярким впечатлением был страх. Вряд ли это

была её личная вина. Страх сковывал всю советскую школу. Иерархия наказаний в нашей школе была такой (по восходящей): во время урока быть поставленным в покорной позе у собственной парты (команда – «встань»); быть поставленным в угол (команда – «встань в угол»); быть удаленным из класса (команда – «выйди из класса»); быть оставленным после уроков; быть вызванным в учительскую; быть вызванным с родителями в школу, быть вызванным к директору. Где-то в ряду самых жестких наказаний была разорванная учительницей тетрадь нерадивого ученика.

Я был скорее запуганным, чем послушным мальчиком. Но иногда во мне поднималось упрямое упрямство, и я, молча, делал по-своему. За что отец называл меня Битюгом.¹¹ Будучи в первых классах почти примерным учеником, мне не довелось на своем личном опыте познать всей иерархии школьных наказаний. Но некоторые из них мимо меня всё-таки не прошли. И они запомнились, как единственные.

В первом классе я испытал шок от порванной тетради в косую линейку. Если сказать, что в 1952г. тетради были дефицитом, то это значит, ничего не сказать. Тетрадей вообще не было. Где их мать доставала на трех учеников? – не знаю. Но доставала. У некоторых одноклассников тетрадей не было. И их выгоняли из класса. Потом они появлялись уже с тетрадями.

И вот, моя тетрадь по чистописанию была порвана раздраженной учительницей. Это считалось позором и большим наказанием. Да ещё предстояла выволочка от родителей за утрату такого ценного имущества. Свою промашку, из-за которой была публично разорвана моя тетрадь, я не запомнил. Но чувство обиды, стыда, страха, униженности сохранилось, как оказалось, на всю жизнь. Может быть, из-за этой памяти той униженности, я и старался не унижать ни учеников, ни студентов, ни коллег, ни, тем более, собственных детей.

Жаль, что не делают этого многие родители, а также мои коллеги как по школе, так и вузу. К сожалению, для многих из них собственный ребенок, ученик (студент) только – «тупица», «дурак», «бездарь», «идиот».

Выросший на таких уроках унижения, человек неизбежно переносит подобные характеристики на своих родителей, пациентов,

клиентов, подчиненных, соседей, сослуживцев. Хамство, порожденное родителем или учителем, возвращается к нему же самому на приеме у врача, в мастерской службы быта, жилуправлении, магазине и пр. И нашему праведному возмущению в таких случаях – нет границ. Только возмущаться надо, смотря в зеркало.

Так сложилось, что в советском обществе роль учителя могла бы быть особой. Но не стала. Научить детей считать и писать, дать им основы наук – лишь полдела. Это в естественных обществах учитель может ограничиваться только образовательными функциями. Откуда при строящемся социализме ребенок мог узнавать в 20-50-е годы стандарты порядочного общественного поведения? От родителей. Но родители признаны властью «отсталыми», имеющими «мещанские представления». Ребенок мог получать их от дедов – носителей национальных обычаев и традиций. Но они для власти и вовсе – «пережиток прошлого» с «мелкобуржуазной психологией». В нормальных обществах воспитание происходит через религию. Но в СССР она считалась «мракобесием» и «опиумом для народа». Сложившийся вакуум традиционных каналов воспитания хоть в какой-то степени мог заполнить образованный, умный, граждански равнодушный, этически воспитанный, человек с чувством чести и собственного достоинства. Много ли таких учителей мы встречали в личной практике?

Чтобы не обидеть «предметников», не стану развивать тему об их часто неглубоком знании того, что они ученикам преподают. Возможно, не к месту, но расскажу случай из 1984г. Как лектора-международника меня пригласили выступить на традиционной августовской конференции учителей г. Прокопьевска. Конференция проходила в ДК им. Артема, построенного в середине 30-х и «видевшего» всех тогдашних советских вождей (кроме Сталина). В ходе лекции я посчитал необходимым внести уточнения в рассказ одного из учителей об экспозиции в его школе, посвященной 45-летию Финской войны. В ответ я получил поучающую записку от директора школы – учителя истории. Там было сказано, что, мол, кандидат наук, тем более заведующий кафедрой истории КПСС обязан точно

формулировать свои высказывания. Иначе из Ваших слов, де, можно понять, что будто бы именно СССР виновен в развязывании войны с финнами в 1939г. Ту записку зачитал всему залу секретарь горкома КПСС – председатель конференции. Я похолодел. Понял, что терять мне нечего. Что предстоят большие разборки по поводу моей политической неблагонадежности. «Бледный от страха»¹² и злости на невежественность коллеги и его своеобразный донос¹³ я сказал, что фразу о Финской кампании мне действительно надо было сформулировать иначе. Согласился, что не следовало прозрачно намекать на небезупречность поведения сталинского МИДа. Что мне надо было прямо аттестовать ту войну как агрессивную. Но не со стороны Финляндии, как твердят учебники, а со стороны СССР. За это нашу страну исключили из Лиги Наций. Добавил, что человеку, подписывающемуся словом «историк», это следовало бы знать, а не демонстрировать перед собравшимися свою «политическую чуткость». Вот тогда-то я узнал значение слов «потрясающая тишина». Потом мне не раз доводилось слышать в своих аудиториях такую тишину, когда во второй половине 80-х выступал по «белым пятнам» истории.

Как ни странно, никаких последствий после лекции о «финской кампании» для меня не случилось. Видимо, происшедшее «разбирали» не в органах КПСС, где работали, как правило, мало осведомленные в науке догматики.¹⁴ Этим, вероятнее всего, занимался КГБ. А в правоохранительных структурах (точнее, в правоХОРОнительных) «нарушение» требовалось точно соотнести с реальными действиями, а не с эмоциями и пропагандой. А точность в определении той войны была на моей стороне. О чем только в 90-е годы стало известно всем.

По похожему поводу меня публично «отчитали» историки г. Топок и Топкинского района в ноябре 1987г., перед которыми я выступал в каком-то большом зале в десяти минутах ходьбы от горкома КПСС. Теперь уж без записок, а с выходом к трибуне и выкрикиванием с мест, учителя возмущались тем, что Троцкого, Бухарина, Зиновьева, Каменева и других знаменитых оппозиционеров 30-х годов я назвал коммунистами. Отвечая рассерженным оппонентам, мне показалось, я убедил

своих коллег. Но когда пришел в горком, меня там уже ждали. Настойчиво и холодно, но внешне деликатно, властная дама потребовала объяснений в связи с моей «реабилитацией врагов народа». В ответ я попросил принести из читального зала горкома газету с докладом М.С. Горбачева к 70-летию Октября и процитировал его слова о том, что в 20-30-е годы в руководстве ВКП(б) шла лишь идеологическая борьба за выбор путей строительства социализма. Это означало, что никаких поездов под откос троцкисты не пускали и шахты не взрывали. По тем временам, ссылка на высказывание Генерального секретаря ЦК КПСС была не только самым высоким пропагандистским, но, к сожалению, и научным аргументом.

С уверенностью утверждаю, что учителя – самая покорная перед властью людская масса с вузовскими дипломами. Именно от них коммунистическая партия требовала «с блеском в глазах» пропагандировать в народе свои решения. Инженера в этом плане не «постройшь». От него требовались, главным образом, производственные показатели. На врача тоже не очень-то надавишь, так как его профессиональные действия ориентированы не на толпу, а на отдельного человека. А на меня, как учителя, а потом и преподавателя вуза, кто только не покрикивал. Здесь и секретари обкома и райкомов КПСС. Тут и зампредседатель облисполкома (некто Корницкий), неожиданно завалившийся ко мне в кабинет с подручными и требовавший от меня ответа о причинах несовпадения коммунистического мировоззрения с бытовой практикой студентов-медиков. Нельзя мне было забывать и о завучах с директором – моими ежедневными контролёрами в школе. Какое уж тут проявление гражданственности? Не орали бы, не проверяли бы в который раз, да и – ладно. А кого может воспитать запуганный человек? Только – своё подобие. По преподаваемому предмету он и знать-то ничего не желает за пределами разрешенного властью, «чтобы ничего не вышло!».

Думаю, учителя и преподаватели вузов могли бы быть совестью нации. Какими они и были при «подлом царизме» и частично сохранялись какое-то время и в СССР. От них во многом зависит нравственное здоровье нации. Особенно в условиях

религиозной бездуховности и потери старинных национальных обычаев и традиций в годы советской власти. Увы, учителя не стали проводниками христианских добродетелей. Они были проводниками марксистской теории в народ. А марксизм, как известно, носит антигуманные, антихристианские черты. Убить – можно, если пред тобой классовый враг. Возлюбить ближнего – нельзя, ибо классовая борьба есть движущая сила истории (читай – ненависть к соотечественнику). Украсть чужое – можно, если назвать это «экспроприацией экспроприаторов» (частную собственность – отобрать и разделить). Даже жену чужую возжелать можно (см. работы «Манифест коммунистической партии», «Происхождение семьи, частной собственности и государства», фактически проповедовавшие общность жен). На всю жизнь остался в памяти урок такого антигуманного воспитания, преподанный мне учительницей, когда я учился во втором классе. Тот урок был призван воспитать в учениках моего класса предателей. Он стал для меня глубоким нравственным потрясением. Таким потрясением, которое из чувства внутреннего естественного протеста заставляет человека поступать противоположно тому, чего хотел добиться твой воспитатель.

Дело было зимой. С соседом Минькой, который в каждом классе учился непременно по два года¹⁵, мы пришли в класс к концу первого урока. Два километра дороги в школу мы превратили гораздо в большее расстояние, зайдя «по пути» в разные интересные для мальчишек места.

Учительница строго спросила о причинах столь вопиющего нарушения школьной дисциплины. Я очень испугался и сохнул про газету, за которой будто бы мне пришлось возвратиться домой.¹⁶ Я слово в слово повторил вранье, которое накануне сошло с рук одной опоздавшей девочке. Но тут неожиданно вперед шагнул Минька и сказал: «Не верьте ему, Екатерина Игнатьевна. Мы заходили покататься в обвал».¹⁷ Даже одного такого предательства достаточно для того, чтобы потрясти душу семилетнего мальчишки. Но реакция учительницы была ещё более ужасной. Потому-то я и запомнил тот случай. Запомнил, как типичный, образцово-показательный для советской педагогики.

Синдром Павлика Морозова

Учительница сказала, что Миша молодец и стала хвалить этого маленького негодяя, ставить предателя в пример всему классу. А меня поставила в угол. От душевного потрясения предательством дружка, несправедливости, позора и обиды я заревел так, что учительнице вести урок больше не пришлось. Мой отчаянный рев до самого звонка перекрывал всё, происходящее в классе. Кого на том случае она воспитывала в нас? Она воспитывала предателей и доносчиков. В 90-е годы об этом будут писать как о «синдроме Павлика Морозова» – деревенского мальчишки, «заложившего» властям родного отца.

Сколько раз в жизни мне приходилось встречаться с этими подростками-миньками! Эти миньки предавали, подличали,¹⁸ делали карьеру – в школе, вузе, на службе, в быту. Тридцать сребреников у каждого были свои. У одних это было поступление в престижные вузы, у других – право на безнаказанность во взятках, у третьих – право на прочие мерзкие дела и подленькие делишки.

Во взрослой жизни впервые меня предал учитель физики Геннадий Григорьевич М.¹⁹, платой которому за доносы директору было право халтурить на уроках. Разоблачили того физика не сразу. С учителем Юрием Алексеевичем Орловым мы заподозрили утечку информации из нашего мужского учительского сообщества. Каждому из мужиков-учителей²⁰ мы подсунили разную информацию. Та информация, которая дошла до директора Тощенко Валентины Петровны²¹ и выдала доносителя. При разоблачении физик плакал. Говорил, что директор поставила перед ним дилемму – либо доносить, либо увольняться из-за своего неумения вести уроки. Геннадий Григорьевич был действительно плохим учителем и слабым человеком. Уроки у него были какие-то рыхлые, неинтересные, сумбурные. Зато планы их ведения – примерные. Ученики и учителя его не уважали. Но проработал он до самой смерти в пенсионном возрасте. Видимо, сумел отвратить от физики тысячи молодых людей поселка Северный Маганак г. Проконьевска.

Да будь он трижды прекрасным физиком! Учителем он не мог быть по нравственным причинам. Избавилась ли школа от таких учителей, как тот директор и тот физик?

С тех пор я усвоил, что доносчиков надо искать, прежде всего, среди неудачников, халтурщиков или нарушителей нравственных норм и законности. И не ошибался. Правда, это были доносители уже не бытового уровня. Их доносы имели политический смысл. Тот смысл, за которым в 30-50-е годы вставала решетка или «стенка», а позднее – психушки или отлучение от профессии. Пример с отлучением от науки ученого Андрея Дмитриевича Сахарова – тому классическое подтверждение.

Сколько раз в моей преподавательской практике приходилось выкручиваться перед учениками и студентами, чтобы не попасть «на карандаш» доносчику! Объяснять им «в духе партии» очередной выверт властей. Говорить о «загнивании капитализма», хотя Запад давным-давно обогнал СССР как в технологии, так и в социальных вопросах. Врать о преимуществе социалистической экономики над капиталистической. Молоть чушь о борьбе СССР за мир. Одна только советская агрессия в Афганистане (1979-1989гг.) чего стоила! А Чехословакия 1968г.? А Венгрия 1956г.? А Корея (1950-53гг.)?... Преподаватели кафедр общественных наук обязаны были преподносить эти войны как выполнение нашего некоего интернационального долга. К глубочайшему сожалению, многие, слишком многие преподаватели школ и вузов до сих пор врут своим ученикам и студентам, ностальжируя по «светлому прошлому», оправдывая антинациональные дела этой мрачной террористической власти.

Не хочу предстать неким всезнайкой, якобы давным-давно раскусившим суть этой власти. Как и все советские люди, я был загипнотизирован коммунистической идеологией и искренне верил в коммунистические идеалы. Верил так, как может верить религиозно верующий человек. Вера в коммунизм вошла в меня, как говорится, с молоком матери. Поэт Владимир Высоцкий писал: «Видно, в детстве слепые щенки / Мы, волчата, сосали волчицу./ И всосали – нельзя за флажки». Эта вера могла выйти только через знания, которые, увы, оказались мне доступны не сразу.

Выкручивался «в духе партии» я, видимо, не совсем ладно и старательно. Поскольку возглавляемая мной с 1980г. кафедра истории КПСС и политэкономии Кемеровского мединститута попала под прицел могущественного и страшноватого КГБ. Почти все наши преподаватели вынуждены были «собеседовать» с институтским куратором КГБ. А некоторые – и бывать на допросах в самом Управлении КГБ по Кемеровской области. Мы должны были оправдываться за содержание своих и чужих занятий. А мне, как заведующему кафедрой, – давать объяснительные за потерю бдительности в руководстве кафедрой или отдельных сотрудников по воспитанию коммунистического мировоззрения студентов. Об этом говорилось на сессии областного совета в апреле 1990г., писали газеты, были материалы по областному телевидению и радио.²²

Наши подтексты и эзопов язык, при помощи которых мы старались, по возможности, преподносить не идеологию, а историческую и экономическую науку, легко прочитывались умными и квалифицированными работниками КГБ. Диссидентами мы, разумеется, не были. Но у большинства из нас хватало совести не плести откровенную идеологическую чушь. Потому-то почти половина состава кафедры (5 из 10) в конце 80-х – начале 90-х годов оказалась в демократических структурах. Такого не случилось ни с одной кафедрой вузов Кузбасса, будь они гуманитарными или специальными. Участие в рабочем движении, статьи и книги с либеральными идеями, депутатство, руководство региональными демократическими общественными и политическими структурами стало моим покаянием за коммунизм.

Покаяния за коммунизм ни кузбасские, ни российские ученые пройти не захотели. Точнее сказать, не доросли до этого ни граждански, ни интеллектуально. Интеллигенция сама не покалась и не привела и народ к покаянию, как это сделали немцы в 50-е и в последующие годы за свой социализм, более известный как фашизм. Потому Россия и получает сползание к прежней политической антидемократической системе. В Кузбассе, впрочем, такое началось уже давно...

Сентябрь 2006г.

Продолжение следует...

Памятки истории

